

ПРИОКСКИЕ ЗВУКИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



1

06

ПРИОКСКИЕ ЗВУКИ

ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ
РАЗА В ГОД

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В 2005 ГОДУ
[2006 — 1\(2\)](#)

СОДЕРЖАНИЕ

[ПРОЗА](#)

Сергей Куликов. Пояс шакала (детектив).....	3
Алексей Яшин. Коммуна комиссара Гоши (повесть).....	58

[ПОЭЗИЯ](#)

Виктор Пахомов.....	91
Валентин Киреев.....	98
Серафим Лавров.....	103
Владимир Тимохин.....	110
Людмила Стаханова.....	115
Анастасия Самарина.....	122
Михаил Невижин.....	125
Николай Ушаков.....	129

[АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА](#)

Дмитрий Ракитин. Грач.....	132
Геннадий Маркин. Старик и поле.....	135
Александр Хадарцев. Сэр Майкл.....	138
Анна Семироль. Из цикла «Записки городской дурочки».....	146
Мария Наумова. Артемка.....	152
Лина Бендера. Санька-вор.....	158
Лариса Гладкова. Тоська.....	160
Роман Романов. Исчезнувший избавитель.....	163

[НАШИ СОСЕДИ](#)

Олег Кочетков (г. Коломна). Причастность.....	165
---	-----

<u>ПОЭМА</u>	
Константин Струков. Отец Тихон.....	170
<u>ПУБЛИЦИСТИКА</u>	
Владислав Аникеев. Искупаться в Воронке.....	186
<u>ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КРИТИКА</u>	
Алексей Третьяков. Я пока не один.....	196
Владимир Сапожников. Рождение «Сына».....	200
<u>КРАЕВЕДЕНИЕ</u>	
Константин Кавелин. Авдотья Петровна Елагина.....	202
<u>ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ</u>	
Марина Костюкова. Стихи.....	118
Дмитрий Ткачев. Дети войны.....	221
<u>ЮБИЛЕЙ</u>	
Сергей Галкин. Он пишет жизнь.....	225
<u>ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАМЯТЬ</u>	
Николай Полетаев. Стихи.....	228
Николай Любин. Глухие завалы.....	233
<u>НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ</u>	239

Произведения публикуются преимущественно в авторской редакции; мнение «ПЗ» не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи принимаются отпечатанными с приложением файла на дискете и публикуются с фотографиями авторов. Редакция присланные материалы не рецензирует, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее одного авторского листа не возвращаются.

Вниманию читателей. Журнал распространяется только в розницу.
Адрес: 300026, Тула, а/я 1842, А. А. Яшину

Главный редактор Алексей ЯШИН

Редколлегия:

Вячеслав АЛТУНИН

Вячеслав БОТЬ

Виктор ГРЕКОВ

Николай МИНАКОВ — зам. главного редактора

Виктор ПАХОМОВ — зав. отделом поэзии

Валерий САВОСТЬЯНОВ

Константин СТРУКОВ — отв. секретарь

Александр ХАДАРЦЕВ

Наталья ХАНИНА

Учредители:

Редколлегия журнала «Приокские зори»

Тульская писательская организация Союза писателей России

Тульский государственный университет (ТулГУ)

ГУП НИИ новых медицинских технологий

Финансовая поддержка: ТулГУ, ФГУП НИИ репрографии

ПРОЗА

Сергей Куликов



ПОЯС ШАКАЛА*

(Детектив)

* * *

У входа в телецентр необходимо было предъявлять пригласительные билеты, что вызывало неоднозначную реакцию.

— Объявили бы по «ящику», что на «Фабрику» можно попасть по великому благу,— ворчал «Мастер», удаляясь от дверей,— нашли мальчика бегать туда-сюда!

Разумеется, на подобные шоу «Мастера» калачом не заманишь, но сегодня случай особенный, поскольку на «Фабрике» решили засветиться его старые знакомые — Майкл и Влад — и вполне резонно предположить, что «Донор» не упустит возможности выразить им глубокую признательность. В весьма экстравагантной манере! В какой именно?

Если бы «Мастер» о том знал! Однако уже сейчас легко предположить, что подобного рода признательность юным дарованиям популярности явно не прибавит. Впрочем, иногда только собственные похороны способны принести известность, которой не удалось достичь при жизни. И хотя жизнь юных дарований только набирает свою высоту, следует ожидать купюру с признанием: «Вы будете моими!»

Тем обиднее сознавать, что никто не разделяет озабоченности «Мастера». В противном случае впустили бы без всяких пригласительных. Ну, уж, коль все здесь такие близорукие, можно порекомендовать воспользоваться оптическими стеклами, однако никаких советов «Мастер» давать не собирается, поскольку все вокруг решат, будто после того, как исполнят его пожелание, он примется интенсивно втирать им очки, и пропасть недоверия разрастется до катастрофических размеров. Короче говоря, развод и девичья фамилия!

«Мастер» хотел уже было лечь на обратный курс, как к дверям телецентра подкатила крутая «тачка», из которой вышли широкоплечие парни, и почти тут же — Майкл собственной персоны. Накануне «Мастер» видел цветной, остросюжетный сон, события в котором разворачивались с калейдоскопической быстротой. Сон оказался в руку!

* Продолжение. Начало в ж. «Приокские зори», № 1, 2005.

— Сколько лет, сколько зим! — «Мастер» с распростертыми объятиями устремился к юному дарованию, и хотя с момента их расставания прошло не больше недели, упомянутые времена года точно отражали настроение партнера Майкла по парашютному спорту.

Но, судя по бесстрастному выражению лица, Майкл не успел истоскаться по своему спасителю.

— Разве отец недостаточно тебе заплатил? — он сунул руку в карман, выискивая мелочь.— Кажется, на ужин удастся наскрести.

— Да жрать я, в общем-то, не хочу,— «Мастер» поморщился от столь циничного поведения юного задавалы, который по-своему воспринял его мимику:

— Ну а на платный туалет — хватит и чаевых,— он протянул «Мастеру» несколько монет, от которых тот, естественно, отвернулся.

— Кажется, ты сам не знаешь, чего хочешь! — Майкл наполнил звоном свой карман и, как ни в чем ни бывало, направился к двери.

А чего, собственно, «Мастер» ожидал: за спасение сына нефтяной магнат отгрузил приличные «бабки», на чем можно поставить точку. Можно! Однако нельзя допустить того, чтобы человеческие отношения развели язвы коммерции!

— Майкл, тьфу ты, Миха! Возьми меня с собой.

— Славы захотелось? — криво усмехнулся тот, останавливаясь.— Надо было раньше заботиться об удовлетворении собственного честолюбия.

— Конечно, я уже отнюдь не подающий надежды юнец с неокрепшими голосовыми связками, но должен признаться, что мои планы не несут в себе эгоистической подоплеки.

— Только давай без закидонов и покороче!

— Короче, мне надо вот так попасть в студию «Фабрики»,— «Мастер» провел по шее ребром ладони.

— А пригласительного, значит, нет? — ухмыльнулся Майкл.— Может, это и к лучшему — «Фабрика» для молодых, или этого до сих пор не понял?

— А ты не понял, что можешь сыграть в ящик прямо на «Фабрике»? Теперь докумекал, чья бестолковость губительней?

— Не сгущай краски, старичок: знаешь, какая охрана на «Фабрике»?

— Но ведь в концертно-спортивном зале охрана также была сумасшедшей, однако это не уберегло тебя от нападения.

— Хочешь сказать, если ты займешь место среди зрителей, никакой агрессии не произойдет?

— Как раз нападения ну никак не избежать, но если я окажусь в относительной близости, агрессор снова не исполнит своего обещания.

— «Ты будешь моим»?

— Ну, наконец-то мы стали друг друга понимать!

— Конечно, я не верю, что злоумышленнику удастся проскользнуть в студию, но твоя настойчивость, старичок, не знает границ, и я все явственнее ощущаю, как моя самоуверенность уступает место благоразумию,— Майкл на секунду задумался,— короче, станешь еще одним телохранителем.

— С моей-то комплекцией? — «Мастер» не без душевного трепета посмотрел на жлоба, стоявшего у дверей.

Как это ни печально, но физиономия «Мастера» здесь уже примелькалась.

— Конечно, до культуриста старичок малость не дотягивает,— подпустил шпильку Майкл, окидывая скептическим взглядом своего собеседника,— но стать корейцем, вполне по силам. А ведь эти азиаты прирожденные каратисты.

— Здравсьте-пожалуйста! — «Мастер» сложил ладони лодочкой и сделал наклон.— Если я сорок лет был европейцем, то вряд ли успею за пять минут поменять харю.

— Уложишься в несколько секунд! Делай вот так,— Майкл растянул кожу у глаз,— чем не кореец?

Мастер последовал этому, честно сказать, сомнительному примеру, отчего Майкл пришел в неопиcуемый восторг:

— Да ты никогда не был европейцем!

— Спасибо за комплимент,— сквозь зубы выдавил «Мастер»,— однако не к тому приложенные руки выдадут во мне законченного афериста. Разве что подкорректировать собственный имидж? — он прихватил кожу большими пальцами, при этом ладони, как и подобает каратисту, оказались в полной боевой готовности.

— Чак Норрис! — не сдержал ухмылки один из телохранителей, и «Мастер» от отчаяния рассек ладонью воздух, что было воспринято за наглядную агитацию восточноазиатского искусства рукопашного боя.

— Убедительно. Может, пойдешь ко мне телохранителем? — полушутя-полу-серьезно спросил Майкл.

— Вместо Алексея? Он получил расчет?

— Алексей оказался недобросовестным человеком,— поморщился Майкл,— этот альфонс укатил в Каналу с подружкой-танцовщицей, которой предложили выгодный контракт в одном из ночных клубов Ванкувера.

— Разве Алексей был похож на альфонса? — «Мастер» с трудом удержался, чтобы не приложиться ребром ладони к бестолковому лбу собеседника.

— У альфонсов, старичок, нет ярко выраженных отличительных черт,— Майкл демонстративно развернулся и поспешил к двери.

Ну, уж, коль ничего более правдоподобного придумать не удалось, «Мастер» быстро вошел в образ готового к бою телохранителя-каратиста.

— Узкоглазый,— жлоб-охранник довольно недружелюбно схватил «азиата» за плечо,— предьяви пригласительный!

— Я сейчас предьявлю куда более весомые аргументы,— решительно пообещал «Мастер», что, впрочем, нисколько не смутило жлоба.

— Это мой телохранитель,— вступился за «Мастера» Майкл, давась от смеха.

— Да но...

— Никаких но,— нахохлился «Мастер», еще сильнее натягивая кожу у глаз.

— Кажется, этот телохранитель узкой специализации,— заключил жлоб, не отрывая взгляда от искусственно созданных щелей.

— Действительно, мой Чак Норрис делает упор на ловкость своих непоседливых конечностей,— Майкл с уважением взирал на каратиста, дав не совсем удачную характеристику его рукам.— Непоседливые. Не лучше ли неугомонные или шаловливые?

— Вероятно, оттого этот чокнутый... простите, этот Чак держит своих непосед в столь странном положении? — не без дрожи в голосе справился жлоб.

— Чтобы всегда были на глазах!

— На случай, если вздумают, куда рвануть,— «Мастер» нашел неожиданное объяснение изложенной Майклом концепции,— уж я-то успею вовремя схватить непосед за шкуру и поставить их в угол!

— Правда, ставить в угол приходится крайне редко — когда уж совсем от рук отобьются,— Майкл постарался выправить ситуацию, однако сделал это слишком неуклюже.

Действительно, как руки могут отбиться от самих же себя? Но, кажется, все нарастающий испуг не позволил жлобу трезво оценить сложившееся положение вещей:

— Ясно одно: у этого Чака чокнутые ручки, и за ними нужен глаз да глаз!

— А кое-кто препятствует воспитательному процессу,— «Мастер» плечом оттолкнул жлоба и уверенно шагнул в запретную зону.

— Право, будь моим телохранителем,— зашебетал Майкл, семена рядом.
— Спятил? Я же ни фиги не умею делать даром, что чокнутый Чак!
— Зато ты производишь на всех поистине устрашающее впечатление.
— Этим, что ли? — «Мастер» пошевелил руками, не отрывая их от лица,— но я не собираюсь ходить так до конца своих дней.

Он хотел было принять достойный вид, но решил еще немного побыть корейцем, поскольку жлоб мог устроить слежку.

— Короче, ты обмозгуй мое предложение,— произнес Майкл, входя в лифт,— ответ дашь после телеэфира.

— Эй, меня-то с собой возьмете?

Но двери лифта уже закрылись, и вопрос так и повис в воздухе.

Спрашивать же у всех подряд, где находится «Фабрика», было верхом легкомыслия, поскольку необходимая информация содержалась в пригласительном билете, в отсутствии которого сознаваться, понятное дело, не очень-то и хотелось. Впрочем, кто не рискует, тот получает с «Фабрики» увольнительное уведомление.

Однако, к кому он ни обращался, все шарахались от него, как от какого-то маньяка. Похоже, «Мастер» действительно производил устрашающее впечатление. Впрочем, в жизни везде есть место подвигу, и телецентр не стоял здесь особняком. Но когда в остановившемся поодаль человеке «Мастер» узнал Влада, радость быстро сменилась разочарованием:

— Проходи, парень, проходи,— Мастер еще больше сузил глаза, но Влад все равно узнал его, проведя параллели, далекие от облика каратиста:

— Что ты строишь из себя Чебурашку?

— Я и есть Чебурашка. Меня пригласили на съемки передачи «Ушастые и обаятельные».

— Но ты, кажется, интересовался «Фабрикой»?

— Фабрикой мягкой игрушки,— «Мастер» счел необходимым внести существенное дополнение, но Влада на мякине не проведешь:

— Признавайся, зачем тебе понадобилась «Фабрика»?

— Поболеть пришел за Мишку Кукольника.

— И коль уж тот обожает мягкие игрушки, ты принял образ Чебурашки? — усмехнулся Влад, не скрывая своего скепсиса.

— Вот пристал со своими игрушками! — «Мастер» напряг уши-ладони, пытаясь подчеркнуть свою принадлежность к обладателям черного пояса,— да у Чебурашки глазищи в половину морды. А у меня?

— Как раз тебе невыгодно выставлять себя в полной красе, дабы очевидцы не смогли составить твой фоторобот.

— Очевидцы чего?

— Как станешь слать мне кровавые записочки типа «Ты будешь моим!».

— Меня же проверяли, но так и не смогли установить мою причастность к донорству!

— Плохо проверяли! Короче, я тебя предупреждаю: получу хоть одну записочку, на глазах у всей страны укажу на тебя пальцем.

Влад вошел в лифт, но на сей раз «Мастер» не стал дожидаться, когда закроются двери.

— Итак, на какой нам этаж?

Влад сам нажал необходимую кнопку.

У входа на «Фабрику» стоял еще один жлоб, но уже с металлоискателем. Как законопослушный гражданин, «Мастер» не стал возражать против где-то даже унижительной процедуры, целью которой являлось разоблачение агрессивно настроенной публики под предводительством пары-другой фанатиков, коих правильней назвать

террористами. А коль скоро «Мастер» продолжал корчить из себя каратиста, больше походившего на корейскую Чебурашку, то жлоб посчитал его за суперпослушного гражданина, на чем заострил внимание обладателей пригласительных билетов, терпеливо дожидавшихся своей очереди. Возможно, «Мастер» слишком увлекся конспиративными мерами, но разумнее было перестраховаться, ибо, дежуривший у входа в телецентр жлоб посредством связи мог оповестить своего коллегу о чокнутом Чаке, который мало похож на Чебурашку. А это уже самый настоящий провал!

Как бы то ни было, а «Мастер» занял-таки место среди зрительской аудитории, в массе своей состоявшей из родных и близких «фабрикантов». В первом ряду устроились устроители — теперь понятно, откуда такое название — данного шоу, среди которых не сложно было признать Кочегара. Вполне вероятно, он являлся продюсером не только Майкла, но и кого-либо еще из фабричной братии, получившей прекрасную возможность «раскрутиться» на полную катушку. Этим избалованным мальчикам и девочкам повезло, что родились они в период наивысшего разгула телебеспредела. Впрочем, повезло им или нет, выяснится довольно скоро. Что же касается фигур уже состоявшихся, таких, как Кочегар, то его присутствие на «Фабрике» в той или степени было спрогнозировано, чего не скажешь о Тарзане и о Веронике. Однако не стоит вскидывать брови, выказывая свое полнейшее изумление, ибо и Тарзан, и Вероника — люди молодые, а отцы шоу-бизнеса ориентировались именно на эту категорию населения.

К слову сказать, если бы «Мастер» оказался куда более уравновешенным,

Тарзан ни в жизнь не разглядел бы в корейской Чебурашке своего, надо полагать, доброго знакомого.

— Что у тебя с глазами, Полярник? — крикнул он, изображая на пальцах линзы очков.

Стало ясно, что с корейской Чебурашкой придется заканчивать.

В отличие от Тарзана «Мастер» предпочел вести себя прилично, не желая давать волно глотке. Тем не менее, он демонстративно раздвинул веки, дабы все вокруг видели, что с глазами у него перекосов не наблюдается.

— Вот так лупешки! — задорно рассмеялась Вероника, продолжив политику своего дружка.

«Мастер» всем своим видом призвал сладкую парочку держать себя в руках, но та была настроена весьма игриво. Впрочем, шалопаи, повышая голос, только понижали собственный авторитет. С такими «Мастеру» не по пути! А с кем по пути? Да уж только не с «Донором»! Однако у развилки дорог «Мастер» сказал бы ему пару ласковых, а там, глядишь, одними словами дело не ограничилось, и увесистый «пенчик» явился бы серьезным дополнением к пейзажу с рабочим названием «Суровое утро набирающего темп тысячелетия». Но для реализации художественного замысла не хватает всего ничего: рассекретить ту самую задницу, готовую принести себя в жертву высокому искусству.

Разумеется, всем присутствующим в студии людям «Мастер» не мог уделить равное количество времени, потому-то взгляд задержался лишь на тех, кто в той или иной степени мог быть задействован в сфере донорства. К примеру, вон та розовощекая тетка вполне способна претендовать на звание «Почетного донора». Да-да, именно про таких говорят «Баба – кровь с молоком». Кровь! Или вон та — полная противоположность розовощекой? Вся такая прозрачная! Поди, отдала кровь до самой последней капли. Однако кажется, что истинный «Донор» есть нечто среднее между упомянутыми выше особами. Среднее? То бишь в меру упитанная, в меру худая? Если подобная шкала предусмотрена в международной системе единиц, то «Мастер» ничего против этого не имеет. И совсем необязательно, чтобы «Донор» представлял слабую половину человечества. Чем, к примеру, плох вон тот зануда, прожужжавший

своей соседке все уши? Да он всю кровь из нее выпил! Кровь! Но коль выпил, то зануда, вернее всего — вампир, а не донор. Наводит тень на плетень? Как знать!

Так или иначе, но в «Доноры» можно было записать человек двадцать, и что самое пренеприятное, все они расположились по разным полюсам студии, а ведь у «Мастера» только два глаза! Какой же выход? В массовом сокращении! Глаз? Упаси Господи! Но ведь доноров в стране и так не хватает! В стране много, чего не хватает. Как бы то ни было, но уже через минуту известное количество уменьшилось ровно наполовину, однако и того, что осталось, казалось слишком много. Несмотря на молчаливый протест, пришлось вновь прибегнуть к пятидесятипроцентному сокращению штата, зато теперь глаза не разбегаются в разные стороны, и потенциальный «Донор» не мог чувствовать себя комфортно, ловя на себе пристальные взгляды. Пусть теперь только попробует, что учудить! Однако еще предстояло выяснить, кто из сохранившихся донорское удостоверение чувствует себя в кресле не совсем уютно. Ага, вон Прозрачная как ерзает! Но это не повод к подозрению! К примеру, Баба кровь с молоком могла бы ерзать не хуже, но ее круп столь массивен, что пространства для маневра не осталось вовсе! Все это, конечно, очень замечательно, однако Зануда, хоть и не широк в бедрах, не наводит лоск на кресле. Зато это делает за него соседка! Хотелось бы посмотреть на того, кто с нордическим спокойствием перенесет не умолакающее ни на секунду брюзжание! Короче говоря, нельзя сбрасывать со счетов эту хитрозадую парочку, могущую стать настоящей ударницей в славной плеяде почетных КРОВельщиков (не путать с теми, кто кроет крыши домов!), где не последнюю роль играют уже зарекомендовавшие себя с положительной стороны Тарзан и Вероника. С положительной? Но это под каким углом смотреть! Короче, за всеми только гляди и гляди, а ведь хочется получить эстетическое удовольствие от предстоящего шоу, а какая может быть эстетика в косящих в разные стороны глазах?

Но вот действие началось, и первые «фабриканты» попытались сразу же взять целую страну на горло, и, судя по тому, как шустро замелькали цифры на мониторе — итог всенародного голосования — старания не прошли даром. Впрочем, цифры «Мастера» менее всего волновали, ибо он с неослабным вниманием следил за КРОВельщиками, которые, надо признать, вели себя раскованно, что вовсе не характерно для людей, замысливших осуществить какой-либо подвох с неизбежными человеческими жертвами. Разве что Зануда по-прежнему не давал покоя соседскому уху, которое отчего-то сделалось красным. Вероятно, Зануда слишком увлекся всякого рода пошлостями, отпуская их в адрес молоденьких «фабриканток», многие из которых действительно вели себя очень неприлично, мало чем отличаясь от прожженных шлюх. Что же касается Тарзана и Вероники, то они не проявляли бурных эмоций, но и не сидели сложа руки, поощряя конкурсантов аплодисментами. Ну, а Кочегар, как и подобает устроителю шоу, держался весьма беспристрастно, что, впрочем, не притупляло желания задать ему несколько каверзных вопросиков. Однако осуществить свою мечту «Мастеру» не удалось, поскольку на сценической площадке появился Майкл, и только затем — погрузневшие солистки некогда легендарной группы «Бони М». Уже то, что какой-то там сопляк оттеснил на задний план патриархов сцены, говорило о том, что лучшие их годы давно миновали. Сегодня они рады кости с чужого стола!

Впрочем, меню из рагу мало интересовало «Мастера», и он с повышенным вниманием принялся наблюдать за кровельщиками, чье поведение выходило за рамки общепринятых норм. Действительно, Прозрачная с такой яростью заерзала, что кресло заходило под ней ходуном. Баба кровь с молоком попыталась проделать то же самое, но кресло настолько плотно сидело на ее массивной заднице, что весь ряд ощутил на себе всю пагубность чрезмерного рвения, исходившего от выше упомянутой особы. Зануда хоть и не задевал интересы большого количества зрителей, его сосед-

ке, судя по пылающему от стыда уху, легче от этого не делалось. Да-да, то, что приходилось выслушивать, доводило ее до полуобморочного состояния, и оставалось только догадываться, каково станет Майклу, если все это занудство обрушится на его не защищенную волосами голову. Короче говоря, не избежать черепно-мозговой травмы, последствия которой могут быть самыми плачевными. Тарзан и Вероника не досаждали друг другу, но разве это гарантия того, что Майкл в полном здравии покинет сцену? Ну, а Кочегар, так тот вообще казался под стать удаву. Такой же опасный? Такой же спокойный! Что, впрочем, одно другого не исключает.

Но вот приоритеты определены, и оставалось только дожидаться, когда у «Донора» сдадут нервы, дабы вовремя перехватить его кровожадную руку. И тут стало ясно, что «Мастер» косил совсем не туда, куда надо! Говоря прямо, косить, вообще, не было нужды: смотри строго перед собой, на сцену, и делай соответствующие выводы. Или вон та чернокожая солистка не ведет себя слишком уж развязно? А ведь у нее детей, поди, на целую эскадрилью наберется, а уж внуков — на целый отряд космонавтов. Бессовестная — эх как Майкла натирает! Стоп, а не пытается ли солистка таким весьма экстравагантным образом прикончить Кукольника? Кажется, у нее совсем другие стремления! Сдается, ей не терпится внести очередной вклад в оборонно-способность неизвестно чьей страны, и не стоит удивляться, если уже в ближайшем будущем в эскадрилье появятся очередные пилоты. Так уж и в ближайшем? И нечего кривить рожу, ибо чернокожие матери слывут настоящими ударницами по части увеличения потомства, и разрешиться за один присест кучей новорожденных для них все равно, как наполнить сосуд с мочой для сдачи анализов. Значит, чернокожая солистка намерена осчастливить Кукольника шумным потомством? А иначе зачем ей так бесстыдно натираться? Это еще называется эротическим массажем. Кровь ударяет в лицо, как только представишь, что солистка сделает с неопытным юнцом, когда они окажутся за кулисами. И все же версия убийства выхолит на первый план. Никакой это не массаж, а самое что ни на есть покушение! И надо признать, искусно выполненное! Какое же это покушение, если разноцветный дуэт так нежно воркует, не забывая при том исполнять танец любви? Нежно воркует? Да эта сладкая парочка орет на всю страну! Конечно, глотки у парочки будь здоров, что, впрочем, не является поводом к беспокойству. Это для телезрителей не является, поскольку с расстояния не узреть всех тонкостей. А вот из студии прекрасно видно, что кожа Кукольника порозовела, чего не узреть из Сибири или Дальнего Востока. Да зачем далеко ходить, если даже на операторском мониторе никаких покраснений не зафиксировано. Только не надо петь убаюкивающие песенки! Конечно, все эти дерматологические изменения могли стать следствием интенсивного трения, но идти по пути наименьшего сопротивления было не в правилах «Мастера», стремившегося к куда более углубленному познанию действительности. Даже при его, не самом остром, зрении удавалось видеть то, что иной астроном не разглядит и в телескоп, микробиолог — в микроскоп. И что же «Мастер» увидел? Да то, что прорезиненные брюки солистки покрыты микрочастицами фтороцетата — летучей жидкости, яда замедленного действия. Достаточно всего 60 миллиграммов, чтобы через несколько дней человек загноился от внезапной остановки сердца. Фтороцетат в организме не распознается, так что солистка останется вне подозрения. Значит, «Донором» является солистка? Со всем необязательно. Вероятно, за нынешнее выступление ей отгрузили очень даже неплохие деньги, вот чернокожая изгаляется. Да она уже втерла двойную дозу яда! Достаточно посмотреть на Кукольника, чье лицо пылает нездоровым цветом. Но, может, оно от стыда пылает? Кажется, юному хаму незнакомо подобное чувство. Что, впрочем, вовсе не означает, будто Кукольник готов умереть без зазрения совести.

Еще какое-то время «Мастер» пребывал в нерешительности, но после того как трение грозило перерасти в возгорание, он покинул-таки свое место, желая самым актив-

нейшим образом повлиять на сложившуюся обстановку. Когда же до сценической площадки осталось всего-то с гулькин нос, в дело вмешалась служба охраны. По телевидению пустили рекламу, благо интернациональное выступление успело завершиться.

— Служивые,— взмолился «Мастер», испытывая огромные неудобства,— вы не того обезвредили, не того! Решительно советую обратить внимание на чернокожую солистку «Бони М», решительно! Не обходимо снять с нее штаны и сделать тест...

— На беременность? — заржал один из служивых, заталкивая «Мастера» в комнату милиции, где за столом сидел начальник в чине полковника.

— Ну, не тест, так экспертизу, если вам так более привычно,— «Мастер» как бы польстил высокому начальству, надеясь на снисхождение,— на штанах чернокожей вы обнаружите фтороцетат!

— Это еще что за хреновня? — полюбопытствовал полковник, не боясь показаться прапором, чья служебная деятельность ограничивается выдачей табельного оружия.

— Фтороцетат — производное фторуксусной кислоты — бывает, как в твердом, так и в жидком состоянии — выпалил «Мастер», совершенно не беспокоясь, что подобные познания в области отравляющих веществ не доведут до хорошего,— упомянутый яд без цвета, вкуса и запаха!

Полковник обменялся взглядами со служивцами, но и это обстоятельство не насторожило «Мастера».

— Ну, а еще какие яды ты знаешь? — с прищуром спросил полковник, но и после этого «Мастер» не заметил подвоха.

— На сегодняшний день в мире известны около восьми миллионов химических веществ, более ста тысяч из которых пригодны для отравления человека.

— И ты готов перечислить все сто тысяч? — знаменитый прищур уступил место пучеглазую, что говорило о крайней степени удивления.

— Если я начну бравировать знаниями, то вы еще решите, будто я заведовал «Спецлабораторией № 12 Института специальных и новых технологий КГБ», или пуще того — делал яды для нужд ЦРУ в местечке Форт-Детрис, что под Вашингтоном. Клянусь Пентагоном, к производству сакситоксина, главными компонентами которого являются морские моллюски, я не имею ни малейшего отношения.

— Верю, верю,— полковник снова обратился к прищур, что шло ему больше пучеглазия,— поскольку ты пошел еще дальше.

— Куда это дальше? — дрожащим голосом справился «Мастер», и было не совсем понятно, что его больше пугало: обвинение в разработках отравляющих веществ, или обострившееся с новой силой пучеглазие.

— Ты шустрил в подпольных лабораториях «Аль-Каиды», оказывая научно-техническую поддержку международному терроризму!

— Во загнул! — натянуто улыбнулся «Мастер», понимая, во что может вылиться его мнимая принадлежность к роду шакалов,— загнул круче поросычьего хвостика!

— А ведь я узнал тебя, профессор Арафат! — как ни в чем ни бывало полковник продолжал обнаруживать свое сумасшествие.— Узнал!

— Да обознался, касатик, как пить дать, обознался!

— Сразу назовешь адреса подпольных химических лабораторий или в карцере поголодаешь?

— Истинный крест, не Арафат я!

— Может, тогда ты Ясир?

— Полярник я! — машинально выдал «Мастер», поздно сообразив, что в подобных структурах разумней представляться несколько иначе.— В общем, у меня есть фамилия, имя и даже отчество, и все это богатство не имеет никакого отношения к Арафату и, уж тем более, к Ясиру!

— Полярник? — полковник словно не слышал всего того, что «Мастер» использовал в качестве своего оправдания,— это можно расценить за начало дачи показаний?

— Каких показаний? — простонал «Мастер», касаясь наручниками горячего лба.

— Как каких? О местонахождении секретных лабораторий. Минутой ранее мы выяснили, что все разработки ведутся в условиях крайнего севера. Я весь внимание! — полковник развернул к себе компьютер, намереваясь ввести в него показания арестованного.

— Почему непременно в условиях крайнего севера? — «Мастер» не сдержал своего удивления, хотя следовало бы попридержать эмоции.

— Вы, террористы, нас за дураков держите? — усмехнулся полковник,— коль уж профессору Арафату дали кличку Полярник, то большую часть своего времени тот проводит в обществе белых медведей,— он придвинул к себе глобус и приступил к изучению верхней его части,— как, к примеру, профессор относится к острову Шмидта?

— Прохладно,— огрызнулся «Мастер», памятуя о «северной» теме.

Конечно, было бы правильней не вступать в дискуссию, ибо своим ответом «Мастер» фактически признавал себя неотъемлемой частью научного мира.

— А что скажет профессор об острове Рудольфа?

— Ничего не скажу,— до «Мастера», наконец, дошло, как себя вести, но было уже поздно.

— Значит, искать лаборатории на островах — только зрение портить? Что ж, давай покопаемся в других географических названиях, где наиболее полно отображено политическое устройство мира в современном его состоянии. Но от Арктики не отойдем ни на шаг! — полковник чуть ли не вплотную приблизил лицо к глобусу.— А как профессор смотрит на мыс Норструннинген?

— В упор не вижу!

— Тогда, может, лучше взглянуть на проблему с мыса Моррис-Джесеп?

— Совсем ослеп!

— Придется и от мысов отказаться,— с разочарованием вздохнул полковник, не отрывая лица от глобуса,— вот тут еще есть котловины. В частности, котловина Подводников. А, профессор? 2793 метров глубиной!

— Сумасшедший дом! — только и выдохнул «Мастер», но полковник снова все понял по-своему:

— Действительно, мелковато. Но вот сейчас профессор упадет и не встанет: котловина Амундсена! Глубина 4316 метров!!!

— Идиотизм какой-то! — закачал головой «Мастер», допуская очередную тактическую промашку.— Сегодня технически невозможно осуществить размещение каких бы то ни было лабораторий в условиях вечной мерзлоты, да, ко всему прочему, на столь внушительной глубине!

— В наше время все возможно,— не поверил ему один из служивых,— врун!

— Похоже, профессор говорит правду,— не согласился со своим подчиненным полковник,— в противном случае он упал бы и не встал,— любитель географии выдвинул ящик стола, откуда достал увеличительное стекло, через которое принялся более тщательно изучать «политическое устройство Арктики в современном ее состоянии»,— остаются хребты. Как профессору хребет Ломоносова, аккуратно пролегающий через Северный полюс?

— Холодно! — съязвил «Мастер», имея в виду температурный режим, характерный для вечной мерзлоты, но полковник, вероятно, впал в детство, ибо данное открытие явилось неким сигналом, к началу известной игры.

— Холодно, говоришь? — задумчиво произнес он, припадая к лупе,— а если мы обратимся к хребту Менделеева? Уже теплее?

— Нет, неужели касатик в самом деле полагает, будто химическую лабораторию возможно разместить в ледяной горе? — шутливым тоном справился «Мастер».

— Конечно, профессура народец хлипкий: чуть что — насморк и сопли гужом, но жизнь заставляет приспособливаться к самым, казалось бы, невероятным условиям. Или есть еще пастбища, где овцы «Аль-Каиды» чувствуют себя в безопасности?

— Но и снег овцы жрать не приспособлены! — не найдя понимания, «Мастер» полез в бутылку.

— В последнее время мы много говорим о жизни, — полковник принялся раскручивать глобус, — уж если жизнь заставляет людей приспособливаться, то чем овцы-то хуже? Проклятье, куда же Антарктика запропастилась?

— Антарктика на другом конце от Арктики, — подсказал полковнику один из его подчиненных.

— Сам знаю! — вместо благодарности проревел начальник. — Но с тех пор, как я отложил в сторону учительскую указку, стал кое-что забывать.

— Полковник никогда не был учителем, — шепнул один из служивых, стоящий за спиной мастера, — а забывчивым он сделался, после того как бандитская пуля про сверлила ему голову. Учитывая былые заслуги, полковника комиссовали, так сказать, частично, переведя из следственных органов в охранники. Однако в период обострения старых болячек он хватается не за собственную голову, а за глобус, здорово напоминающий башку.

— Варшавин, — полковник грозно посмотрел на шептуна, — выучил урок — молодец, но зачем же подсказывать лодырям, прогонявшим мяч во дворе?

— Москвитин я, а не Варшавин, — обиженно отозвался служивый, — неужели трудно запомнить?

— Он еще и дерзит! — полковник принялся яростно вращать глобус, — выйди из класса, оболтус, и без родителей не возвращайся!

Москвитин не рискнул препираться: как знать, вдруг полковник захочет раскрутить и его голову?

Так или иначе, но настроение «Мастера» значительно улучшилось. Действительно, мало ли за кого принял его этот, мягко говоря, учитель? Компетентные органы сразу поймут, что «Мастер» совсем не похож на Арафата, того, который Ясир. Надо же было придумать такую кликуху! Возможно, впрочем, в прострелянную голову учителя втемяшилось имя бывшего лидера Палестинской автономии, нелюбовь к которому он и перенес на своего оппонента.

— Можно и мне выйти из класса? — осторожно справился «Мастер», мало веря в успех, что, впрочем, скоро подтвердилось:

— Профессор, а ведешь себя, как двоечник, — с укором посмотрел на него учитель.

— Но мне действительно очень нужно.

— Живот расстроился? — учитель с недоверием глядел на «Мастера», и тот не отважился солгать:

— С животом все нормально, а вот с Кукольниковом, как, впрочем, и с Владом, боюсь, уже нет,

— А это кто такие? Лаборанты?

«Мастер» не без сострадания посмотрел на учителя: обострение болезни достигло своего расцвета! Не дожидаясь ответа, бедняга жадно схватился за лупу.

— Антарктика, милая Антарктика! Да тут новые действующие лица — Шельфы! Как профессор относится к шельфовому леднику Росса? Неужели опять холодно? А к леднику Эймери? По-прежнему колотун? Тогда может, ледничок Ронне стронет дело с точки замерзания? Или вот еще...

— Горячо! — теряя самообладание закричал «Мастер», — так горячо, что нет мочи!

* * *

Несмотря на фактическое раскаяние задержанного и уверенность полковника в том, что профессор Ясир Арафат больше никогда не войдет в свою лабораторию, запрятанную в одном из шельфовых ледников, компетентные органы рассудили все несколько иначе, благодаря чему «Мастер» оказался не в душевной камере, а на свежем воздухе, что вовсе не означало, будто жизнь удалась и соткана сплошь из одних поцелуев. «Мастер» прихлопнул комара, который успел-таки прилично напакостить, сунув свой длинный нос туда, куда не просили. Однако радость была непродолжительной, поскольку брат убиенного оказался на редкость мстительным, так что «Мастеру» еще долго пришлось чесаться. Не комары, а лошади! Ну, не совсем лошади, однако и того, что есть вполне достаточно для принятия радикальных мер. Да-да, необходимо делать ноги, пока месть не приняла катастрофические масштабы и не переросла в настоящую бойню. Делать ноги? Иными словами, предстать последним трусом? Как бы не так! Если кому и надо принимать радикальные меры, то только этим кровососам. Пусть «делают крылья»! Нашлись неуловимые мстители! Еще неизвестно, на чьей стороне правда! Действительно, разве эти кровопийцы не посягают на частную собственность, к каковой без всякой натяжки можно отнести человеческое тело? Собственность, ближе которой ничего быть не может! Нашли донора! «Мастер» станет защищать свое добро до последней капли крови! Экие кровники выискались! Да он такое устроит этим мстителям, что они забудут всю свою родню!

«Мастер» перевернул бинокль обратной стороной, и от кровников и следа не осталось. Ага, обмочились! Сразу бы так! Теперь можно заняться тем, ради чего «Мастер» оказался на противоположном берегу от «Второго дыхания». Вот этот кустик может предстать великолепным пунктом наблюдения, о чем свидетельствует примятая трава: вероятно, кто-то уже полеживал здесь с биноклем. Нагретое местечко!

«Мастер» принялся фиксировать в бинокль все, что происходило на противоположном берегу. Однако безмятежное существование быстро закончилось, поскольку кровники вспомнили свое истинное предназначение. Чтобы избавиться от них раз и навсегда, необходимо было перевернуть бинокль, но тогда ни о какой фиксации говорить не придется, ибо противоположный берег отдалится на весьма конкретное расстояние. «Мастер» угодил в довольно щекотливую ситуацию, и кровники, вероятно, прекрасно это понимали. Были и такие, кто устроил, мягко говоря, бракосочетание прямо на оптике, наглядно демонстрируя свое отношение ко всему происходящему, но пуще к тому, кто предоставил им супружеское ложе. «Мастер» ощутил жгучее желание прихлопнуть этих, с позволения сказать, молодоженов, но уж очень не хотелось портить сладкой парочке настроение. К тому же, срывать зло на оптике вряд ли разумно, поскольку то могло самым негативным образом отразиться на ее состоянии. Впрочем, продиктованный правилами хорошего тона компромисс, был найден довольно быстро: «Мастер» обязался не смотреть по направлению, мягко говоря, брачующихся. Все бы ничего, да выполнить свои обязательства он не сумел, и дело тут вовсе не в морально-волевых качествах, на отсутствие которых «Мастер» не мог пожаловаться, а в том, что невозможно глядеть в бинокль и не замечать происходящих на его оптике оргий. В общем, «Мастер» оказался в роли подглядывающего, что явно не пришлось по нутру как родственникам брачующихся, так и простым радателям нравственности, обрушивших на объект своего неприятия лавину критики.

— Ох, и остры же ваши стрелы! — негодовал «Мастер», запаздывая с профилактическими действиями, — сожрали, звери, честное благородное, сожрали!

То ли родственники и простые радатели нравственности получили достойный отпор, то ли они угодили под огромное обаяние все того же объекта, обронившего

слово «благородное», но «Мастеру» был предоставлен еще один шанс утвердиться в глазах своих критиканов, предъявив им лучшие качества и, прежде всего, морально-волевые. В глубине души «Мастер» надеялся, что ничего предъявлять не придется, но, когда он поднес бинокль к глазам, вздох разочарования вырвался из его груди: брачующиеся и не думали покидать предоставленное им ложе. «Мастер» собрал волю в кулак, но не замечать бесстыдников никак не удавалось. Конечно, можно было подождать, когда они, наконец, поймут совесть, но «Мастер» даже не подозревал о существовании такой науки, как энтомология, и потому затруднялся сказать, сколь продолжительным случается бракосочетание среди одного из самых многочисленных виде насекомых. И, кроме того, солнце опустилось совсем низко, и скоро на пляже не останется ни одного человека. Так или иначе, но родственники и простые радетели нравственности заметно активизировались, после чего стало ясно, что «Мастеру» так и не удалось утвердиться в их налившихся кровью глазах. «Мастер» уже собирался сдать свои позиции, как родственники и простые радетели нравственности вдруг сами отступили, и это несмотря на то, что бракосочетание еще продолжалось! «Мастер» ощутил себя настоящим героем, отстоявшим Брестскую крепость. А укусы, то есть раны, со временем затянутся, и только память останется незабываемой, и промозглыми осенними ночами «Мастер» будет вскакивать с кровати и, приставив «приклад» стула к плечу, станет строчить из всех стволов, разбрызгивая слюни: «Врешь, кровник, не возьмешь!»

Однако уже через минуту вдруг стало ясно, что причина панического бегства родственников и радетелей нравственности крылась отнюдь не в беспримерном мужестве «Мастера», а в дыме, едкий вкус которого далеко не каждому приходится по вкусу. Вот и брачующимся пришлось прервать свои отношения, что, безусловно, понижало социальную значимость семьи — этой первичной ячейки общества. Конечно, о вкусах не спорят, но, коль скоро дым не переносит подавляющее большинство планеты, необходимо уже сейчас разработать комплекс мер по устранению очагов возгорания. И нечего надеяться на всемирный потоп, который, впрочем, может так и не наступить. Короче говоря, останется ли жизнь на земле или канет в горниле пламени, зависит только от нас, и здесь не имеет никакого значения органическая принадлежность к тому или иному виду. Если ты человек, воспользуйся противопожарным инвентарем, если ты слон — выкорчевывай деревья, дабы огонь не перекинулся на близлежащие селения, да и комару найдется, чем занять свои крылышки: направляй ветер в сторону водоемов, дабы он не способствовал распространению пламени.

«Мастер», полный решимости отстоять жизнь на земле, направился в ту сторону, откуда тянуло дымком. И пусть с противопожарным инвентарем наблюдались вполне объективные трудности, стремление вступить в схватку с огнем не только не уменьшилось, но если судить по мочевому пузырю, даже увеличилось. Короче говоря, сегодня огонь не пройдет, сколь ни был он коварен, и огромные запасы жидкости — лишнее тому подтверждение. Разумеется, «Мастер» переоценивал свои возможности, но в данную минуту он ощущал себя таким мессией в противопожарной робе, каске, с брандспойтом наперевес. В общем, конца света он не допустит, а если потребуется, то и живота своего не пощадит!

Но, кажется, в его участии никто не нуждается. «Мастер» присел за деревом, откуда было удобно наблюдать за полянкой, в центре которой дымил костерок, распространяя довольно аппетитный запах. Шашлык! А повара-то, повара — Таксист, Вероника!

— Вчера на «Фабрике», знаешь, кто был? — зло усмехнулась она, — ни за что не догадаешься!

— Элвис Пресли? — неумно пошутил Таксист, прекрасно сознавая, что с того света не возвращаются, — а может, сам Федя, который Шаляпин?

— Полярник собственной персоны!

— Велика шишка! — криво ухмыльнулся Таксист, — на подпевках, что ли, подрабатывает? Я бы таких на пушечный выстрел не подпускал к сцене.

«Мастер» еле сдержался, чтобы не задать интересующий его вопросик, и благо Вероника оказалась проворнее.

— Полярника и не подпустили к сцене, хотя он кричал на всю студию: «Эта тетка убьет пацана!»

— Я плохо разбираюсь во всей этой музыке, — Таксист выразительно посмотрел на Веронику.

— Полярнику померещилось, будто солистка «Бони М» замыслила отправить Кукольника на тот свет.

— Вероятно, тому были предпосылки?

— Отправить на тот свет?

— Не передергивай, — огрызнулся Таксист, поворачивая шампур, — вероятно, солистка дала повод к подозрениям?

— Конечно, она уж слишком откровенно терлась о Кукольника, но это, скорее, говорит об обратном.

— О жажде жизни?

— Можно назвать и так. Во всяком случае, при тесном контакте предполагается продолжение рода.

Таксист посмотрел на Веронику так, что «Мастеру» показалось, будто он станет свидетелем очередного бракосочетания, но ничего подобного, к счастью, не произошло.

— Вероятно, Полярник учуял охоту на Кукольника?

— Об инциденте в спортивно-концертном зале писала «желтая» пресса, так что особенного чутья здесь не понадобилось, — нехотя отозвалась Вероника.

— «Желтая» пресса писала об инсценировке покушения, предпринятой ради повышения к Кукольнику зрительского интереса, который за последнее время заметно снизился. Короче, ни один нормальный человек не воспринял тот случай как нечто из рук вон выходящее.

— Получается, Полярник не нормальный?

— И я ему не завидую.

— Ты этого не сделаешь! — Вероника резко поднялась с травы.

— Сделаю, — буднично откликнулся Таксист, шевеля палкой угли, — сделаю хотя бы потому, что ты слишком уж симпатизируешь этому Полярнику. Я прекрасно видел, как ты смотрела на него там, во «Втором дыхании».

— Я обещаю больше не смотреть в его сторону.

— От Полярника в любом случае надо освободиться — слишком уж он назойливый.

— Я намекну ему о том, и он изменит свое отношение к жизни.

— Вряд ли изменит. Ты обратила внимание, что Полярник всегда там, где Кукольник или Влад? Кажется, он прикипел к парням так, что без хорошего ломика не обойтись.

— Оставил бы ты парней в покое.

— И жить на то, что перепадает от утопленников? — криво усмехнулся Таксист, — я начинаю звереть от одной мысли, что сначала надо кого-то спасти, и только потом получить с него деньги. Тягомотина!

— Конечно, куда проще проломить черепушку, и вывернуть карманы.

— Иногда я работаю ломиком совершенно бескорыстно, что и готов продемонстрировать на примере с Полярником.

— Бескорыстно ты ничего не делаешь, и все необходимое возьмешь с Кукольника и Влада, подступ к которым перекрывает Полярник. Пока перекрывает.

— Как можно, девочка? Кому, как не тебе не знать, что Кочегар во Владе души не чаёт? Не могу же я идти наперекор своему хозяину!

— У тебя куча хозяев, и кто больше заплатит, тому ты и готов угождать.

— Ты снова сгущаешь краски. Ведь тебе я угождаю совершенно бесплатно! — Таксист попытался придать Веронике горизонтальное положение, но та предстала настоящей упрямницей, — понимаю: на своем месте привычнее, — он потянул девушку к зарослям, но и здесь столкнулся с активным сопротивлением, — в чем дело, милашка?

— Не хочу!

— Но это как-то не по-человечески получается: ей желают угодить, а она же еще и кочевряжится!

Таксист проявил еще большую настойчивость, и Вероника начала потихоньку сдаваться:

— Мясо подгорит.

— Угли почти совсем остыли.

— Но звери могут воспользоваться нашим отсутствием.

— Здесь одни травоядные!

...Повара прошли совсем близко, и «Мастеру» весьма повезло, что его приняли за покрытый мохом пенек. Во всяком случае он всеми силами стремился соответствовать новому для себя образу, прикрыв голову папоротником. А теперь логично вновь обратиться в двуногого, дабы не стоять на одном месте, точно пень. Действительно, Таксист может уже сегодня воплотить в жизнь свои угрозы. И что ему плохо сделали? Однако запах мяса настолько возбудил аппетит, что характерное для голода урчание могло привлечь внимание Таксиста, а кому хочется представлять таким теленком с колокольчиком на шее? Впрочем, было бы неплохо продемонстрировать, что здесь водятся не только травоядные.

Мясо оказалось несколько жестковатым, и с ним пришлось повозиться.

— Эй, совсем нюх потерял? — Таксист не очень вежливо пнул сидящего на земле «Мастера», и тому пришлось защищаться:

— Без нюха разве бы я вышел к долине «Яств и удовольствий»?

— Где ты видишь долину, обжора? — Таксист вырвал шампур из рук «Мастера», на что тот, преодолевая зевоту, отреагировал весьма сдержанно:

— Разумеется, для пастбищ долина мало пригодна, но стать постелью уставшему путнику — более чем! Короче, удовольствий, хоть отбавляй!

«Мастер» лег на спину и, подложив пол голову руки, ясно дал понять, что он собирается предпринять дальше.

— Кажется, Полярник действительно считает, будто он забрел в некое эльдорадо, — заключила Вероника, стараясь не рассмеяться.

— Послушайте, добрые путники, дайте покомарить минуточек шестьсот, — приоткрыв один глаз, попросил «Мастер», — счастливого вам пути!

— Вот хам! — Таксист устремил на Веронику растерянный взгляд, — сожрал наше мясо и вместо благодарности указывает нам на дверь!

— В долине «Яств и удовольствий» нет ничего нашего или вашего — здесь готовый коммунизм! К этому столу я подошел первым, но стоит ли отчаиваться, если подобных забегаловок тут на каждом углу по дюжине. Так что, добрые путешественники, приятного вам аппетита!

Таксист обвел взглядом совершенно круглую поляну: ни одного угла! Морочит голову Полярник, ох морочит!

— Пойдем, поищем какую-нибудь забегаловку, — давась от смеха, Вероника толкнула Таксиста в спину.

— Да где тут искать, если Поляна с гулькин нос? Забегаловка не грибы, чтобы высматривать ее в траве!

— Надо думать, это своеобразный предбанник долины, а сама она находится чуть дальше, где-нибудь за этими деревьями,— Вероника уже более решительно толкнула Таксиста, желая всеми правдами и неправдами увести его от Полярника.

— Да пошла ты в баню со своим предбанником! — отмахнулся от девушки Таксист,— Полярник, ужин тебе понравился?

— В других забегаловках кормят вкусней, но, хочется верить, добрым путникам повезет больше.

— Наверняка повезет больше,— Таксист подмигнул Веронике, но коль скоро «Мастер» лежал с закрытыми глазами, то ничего подобного отметить не мог,— поковыляла, добрая путешественница, к ближайшей забегаловке.

Как только повара скрылись за деревьями, «Мастер» вскочил на ноги, представив себя сохатым, для которого любое расстояние не расстояние. Но только он собрался ударить рогом по бездорожью, как из-за куста нарисовался Таксист, сверкая позолоченной фиксой.

— Жизнерадостный какой,— сплюнул «Мастер», прекрасно сознавая то, что сейчас ему все рога пообломают,— забыл чего?

— Взять с тебя денег за ужин.

— Да вы вовсе не добрые путешественники, а шайка грабителей! Но не на того нарвались!

— Полярник нам угрожает? — нагло усмеялся Таксист, выказывая готовность облегчить челюсть визави на парочку зубов.

— Я и не думал никому угрожать, просто откуда у пилигрима деньги?

— Это ты, что ли, пилигрим?

— А в таком разе, чего я позабыл в долине «Яств и удовольствий»?

— Да уж точно не собирался открывать счет в банке,— таксист как-то уж слишком быстро сменил гнев на милость, что, впрочем, не сулило ничего хорошего,— ладно, снимай хомут и иди себе с богом!

— У сохатых хомутов не бывает,— огрызнулся «Мастер», в чьей груди еще тлела искра надежды на удачный побег.

— А это, по-твоему, что? — Таксист поддел пальцем бинокль, висевший на шее визави.

— Это очки,— не совсем уверенно произнес «Мастер»,— очень сильные.

— Ты, кажется, жаловалась на плохое зрение? — Таксист выразительно посмотрел на Веронику,— теперь, добрая путешественница, ты не будешь разбивать лоб об углы, которых слишком много в долине «Яств и удовольствий»,— он попытался завладеть биноклем, но, встретив сопротивление, повысил тон,— более того, в столь сильных очках легко обнаружить растяжку, и добрая путешественница перестанет, наконец, подрываться на каждом шагу,— таксист повторил свой маневр, но и на этот раз его аргументы показались малоубедительными.

— Эй, здесь не благотворительный фонд! — запротестовал «Мастер», обеими руками удерживая бинокль,— к тому же, после всех подрывов очки, что мертвому припарка. Могу рекомендовать доброй путешественнице костыли из натурального дерева,— он поддел носком ботинка лежавший на траве сук,— и пусть она ковыляет ближе к кладбищу.

— Насчет кладбища Полярник верно подметил,— осознав, что биноклем возможно овладеть без лишних слов, Таксист схватил «Мастера» за грудки,— и он готов с радостью указать местечко посуше и потише.

— Какая уж тут радость? — хрипло отозвался «Мастер», понимая, что Таксист желает убить сразу двух зайцев: отправить прижимистого оппонента на тот свет, после чего проблема с биноклем разрешится сама собой,— я разделяю тревогу доброго путешественника, ибо его спутница слишком молода, чтобы оказаться в одной ком-

пании со стариками, этой основной ударной силой глубокого тыла, каковым представляется кладбище. Способно ли вынести юное создание вечное брюзжание, шамканье беззубых ртов, непрекращающееся кряхтение, усиливающееся скрипом гробов, простуженное чихание, заглушаемое выбросами газов?

— Каких еще газов?

— Точно — не выхлопных,— своим ответом «Мастер» не столько прояснил ситуацию, сколько запутал.

— По твоей теории, Полярник, жизнь продолжается и после смерти? — Таксист уже не так яростно сжимал футболку своего оппонента.

— Бесконечность жизни — не моя теория, а подавляющего большинства гомо сапиенс.

— Я слышал, что жизнь продолжается там,— Таксист ткнул пальцем в небо,— ты же утверждаешь о совершенно противоположном направлении. Между прочим, я не хотел бы колбаситься в замкнутом пространстве, и дышать при этом не понятно откуда взявшимися газами.

— К сожалению, и после смерти некоторые негативные стороны земного бытия переключаются в иное измерение. Короче, там,— «Мастер» топнул довольно строптиво, однако мягкий дерн приглушил звук, что смазало общее впечатление,— вот тут,— он снова по лосиному «копытнул», но и на этот раз выбить искры не удалось,— короче, в иной жизни люди преимущественно преклонного возраста, так что дедовщина там достигла катастрофических масштабов.

— Дедовщина? Как в армии?

— Круче!

— Деда пахать заставляют в две смены?

— В три! — «Мастер» усилил эффект выставленными вперед пальцами.

— Нечего веером махать перед моим носом! — Таксист на всякий случай оттолкнул от себя «Мастера»,— придет время, и каждый из нас станет уважать законы загробной жизни, но коль мы, слава небесам, не поменяли адресок, давайте почитать здешний кодекс, иначе докатимся до беспредела. А то ведь что получается: одним все, а другим заяц с балалайкой?

— Да заплачу я за шашлык, дай только время!

Но, кажется, деньги перестали интересовать Таксиста. Оно и понятно, ведь стоимость бинокля такова, что можно целый год сидеть на одной телятине!

— Что-то не то происходит в наших отношениях, а вот что именно, не пойму! — Таксист нервно задвигался по предбаннику долины «Яств и удовольствий».

— Ваши отношения строятся на личной выгоде,— усмехнулась Вероника, верно уловив ход его мыслей.

— Точно, на выгоде? — Таксист предпринял экстренное торможение, хотя ситуация не требовала радикальных мер,— станем считать, добрый Полярник, что этот гостинец я отдал тебе от всей души,— он указал взглядом на шампур с недоеденным кусочком мяса,— и только не уговаривай принять от тебя ответный подарок!

Вот аферист! Надо было сунуть ему столик, да и дело с концом. Куда там, с концом! Нет, деньги Таксист, конечно бы, взял, но все равно не успокоился бы, пока бинокль не оказался на его волосатой шее. Впрочем, еще не все резервы использованы.

— Добрый путешественник, в знак глубокой признательности возьми от меня вот это,— «Мастер» попытался стянуть с себя футболку, но Таксист явно не оценил его жест.

— Мы же с тобой не на стадионе,— он скептическим взглядом обвел полянку, которую добрый Полярник принял за футбольное поле,— но если мой уже не соперник увидел себя победителем несостоявшегося матча, по окончании которого и предлагает соблюсти известный ритуал, ни на секунду не сомневаясь, что я и впредь буду

следовать принципам честной игры. Но неужели моими руками он снимет с меня последнюю рубашку?

— Что-то не то происходит в наших отношениях, а вот что именно, не пойму, — теперь уже «Мастер» нервно задвигался по предбаннику, и снова Вероника обнаружила поразительную сметливость:

— Ну, обменяетесь вы футболками, и добрый путешественник все равно останется в проигрыше: по одежде счет будет равным, а вот по еде...

Мастер с пониманием посмотрел сначала на шампур, не обремененный мясом, а потом — на облегченный до одного кусочка. Счет красноречиво говорил сам за себя!

— Не грусти, добрый путешественник, — совершенно искренне произнес Мастер, — ты еще молод, физически крепок, придет время — отыграешься!

— Но я не хочу ждать! — Таксист пялился на бинокль, как на свой собственный. — Не хочу, понимаешь ты это, добрый Полярник? — он поднял с земли толстенный обрубок, оказавшийся непригодным для разведения костра, и «Мастер» сразу же вспомнил о ломике — орудии убийства, к которому Таксист, по его же собственному заверению, наиболее часто прибегает.

— Понимаю, добрый путешественник, — «Мастер» нехотя снял бинокль с шеи, но, подумав, пристроил его на плече, — а вот ты не понимаешь своего товарища по профессии. Действительно, ну как пилигриму без очков? А ведь на пастбищах не только барашки с телятами пасутся, и вместо долины «Яств и удовольствий» немудрено нарваться на тщательно замаскированное минное поле!

— Кому быть с проломленным черепом, тот не подорвется, — цинично заключил Таксист, поигрывая толстенным обрубком, похожим на бейсбольную биту.

«Кому быть с проломленной головой, тому не оторвет взрывом конечности, включая и ту, какая имеет самое непосредственное отношение к продолжению рода», — «Мастер» мысленно развил известную формулировку, поражаясь, как ненавязчиво и интеллигентно он это сделал.

Конечно, было бы правильней все высказать в бесстыжие глазенки, с позволения сказать, доброго путешественника, но коль скоро он уже позаботился о продолжении собственного рода (не по ягоды же ходил с Вероникой!), то какое ему дело до всех на земле конечностей известного содержания? «Мастер» не без искры в глазах посмотрел на «истекающую соком суку».

— Действительно, кому все, а кому заяц с балалайкой!

— О чем это добрый Полярник? — словно угадав мысли «Мастера», слегка покраснела Вероника, и тот, дабы скрыть смущение, перевел взгляд на Таксиста.

— Да все о том же, о дедовщине!

— Только не надо делать пальцы веером! — решительно предупредил Таксист, вконец обнаглев после того, как «бита» утяжелила его руку, — дедов можно так приласкать, что им и тот свет милым не покажется! Проведем репетицию?

— На моей башке?

— Боишься, звон разойдется по всей округе?

— Ну не настолько же она пустая! — обиделся «Мастер», стукнув ладонью по лбу, — никакого звона!

— Отлично, значит, обойдемся без свидетелей!

— Добрый путешественник, — вступилась Вероника за «Мастера», — не препятствуй продвижению пилигрима по долине «Яств и удовольствий», дай ему оставшиеся куски мяса, и пусть никакое минное поле не подорвет его доверие в чистое, светлое, вечное!

— Как бы не прослезиться, — шумно дернул носом Таксист, имитируя прилив искренних чувств, в которые уже было успели поверить, — как бы не прослезиться от смеха, — внес он ясность спустя мгновение, сотрясаясь от хохота.

Тем не менее, настроение «Мастера» заметно улучшилось, и дело тут вовсе не в цепной реакции, а в том, что задорный смех не способствует проявлению агрессии, и «бита», надо думать, еще не скоро войдет в тесный контакт с головой.

— А не прошвырнуться ли нам, добрые путешественники, по долине «Яств и удовольствий», где в одной из забегаловок для нас накрыт стол с молочным поросенком да с бочонком бургундского? — в пафосном тоне внес предложение «Мастер», надеясь окончательно расположить к себе Таксиста.

— Я — «за»! — оживилась Вероника.

— И я — «за»! — поднял над головой «биту» Таксист, подчеркивая свою готовность прошвырнуться по долине «Яств и удовольствий», — только... Нет, не за себя боюсь, но ведь добрый Полярник сам уверял, что немудрено нарваться на тщательно замаскированное минное поле.

— А очки для чего? — «Мастер» всего лишь на мгновение утерял бдительность, но этого оказалось достаточно, для того, чтобы бинокль поменял хозяина.

— Я не могу вручить жизнь доброго Полярника в чужие руки, — не очень внятно оправдал свое поведение Таксист, вешая бинокль себе на шею.

— Как это в чужие? — «Мастер» всмотрелся в свои отнюдь не мозолистые ладони, пытаясь осмыслить фразу доброго путешественника, — одно из двух: либо это не мои руки, либо я не Полярник.

— Да тут без бочонка бургундского ни за что не разберешься! — Вероника принялась настойчиво выталкивать «Мастера» из предбанника по направлению долины «Яств и удовольствий», а может даже, — тщательно замаскированного минного поля.

— Пусть добрые путешественники занимают места за столом, а я скоро буду.

— Понятненько, — подмигнула Вероника «Мастеру», беря под руку Таксиста, который оказался не столь сообразительным:

— А вот мне ничего не понятно!

— Добрый Полярник хочет отлить без свидетелей: стеснительный он очень, а может, попросту не желает шокировать публику размерами... Теперь, надеюсь, все ясно?

— Не совсем! Ты хочешь сказать, бита у доброго Полярника больше моей? — Таксист измерил взглядом толстенный обрубок, с которым почему-то не спешил расставаться.

— Наверняка больше! — Вероника снова подмигнула «Мастеру», увлекая Таксиста к долине «Яств и удовольствий», и тот не стал препираться, поскольку в боевом оснащении явно проигрывал Полярнику, который уже не казался добреньким.

«Мастер» подошел к вяло дымившим углям, не представлявшим угрозы для окружающей среды. Однако если верить накопленному человечеством опыту, то дыма без огня не бывает. «Мастер» расстегнул штаны и стыдливо огляделся: Вероника так страстно ему подмигивала, что не очень-то и верилось в ее стремление переключить внимание на молочного поросенка. Впрочем, пусть смотрит, если ей так хочется! Одно смушало: шока явно не произойдет, и, значит, Таксист возьмет реванш, и счет станет равным. Однако куда важнее позаботиться обо всем человечестве, а заодно и о себе любимом, поскольку мочевого пузыря распирало так, что уже через минуту-другую мать-Земля могла недосчитаться одного из лучших своих сыновей. В лице «Мастера», разумеется. В общем, промедление смерти подобно, и уже через мгновение от дыма остались одни только воспоминания.

* * *

Вполне возможно, что своевременное вмешательство не позволило возродиться пламени, которое почти наверняка переросло бы в катастрофу вселенского масштаба, однако неудовлетворенность прожитым днем, в отличие от дыма, вовсе не улетучи-

лась, и горький привкус быстрорастворимой перчинкой все ощутимей разъедал язык. «Мастер» сплюнул, однако облегчение не наступило. М-да, от неудовлетворенности за здорово живешь, не отделаешься. Вот ведь какая зараза! И все было бы по-другому, используй бинокль по назначению. Не надо было покидать свое укрытие, глядишь, чего-нибудь такого и высмотрел. К примеру, что? Ну, хотя бы, как вытаскивают утопленника. И чего же тут интересного? Только не надо ерничать, или не любопытно узреть, как утопленник оживает? Не надо было, видите ли, покидать! Все равно пришлось бы покинуть! А это еще почему? Да потому, что известное укрытие предназначено для других целей, и добрые путешественники так или иначе попросили бы наблюдателя поменять позицию. А то кустов им мало! Кустов-то много, но, верно, далеко не под каждым Вероника раскрывается в полной красе. Выходит, не такая она и сука. Только не надо заводить речь о белом платье, достаточно вспомнить, как эта, с позволения сказать, девственница похотливо подмигивала, желая раскрыться прямо в предбаннике. А вот теперь не надо мазать дегтем ворота, ибо за чистоту Вероникиной репутации говорит то, что девчонка не стала дожидаться, когда известная конечность шокирует ее до глубины души, давая ход необузданной фантазии. Ага, все они тут с незапятнанной репутацией! Особенно Таксист, Тарзан, Кочегар, Зануда, а также представительницы якобы слабой половины человечества: Баба кровь с молоком, Прозрачная, ну а о Веронике и без того было достаточно сказано. Впрочем, сколько о ней не говори, все будет мало!

Прохаживаясь неподалеку от входа в телецентр, «Мастер» прокручивал в голове варианты проникновения на территорию «Фабрики», ибо вовсе не был уверен в том, что Мишка Кукольник окажется в состоянии продолжить трудовую деятельность на благо, нет, не Отечества, а самого себя! Действительно, весьма близкие отношения с чернокожей солисткой могли вылиться для Кукольника в личную драму, трагичный финал которой было не так уж и сложно предугадать. А коль скоро никаких вариантов на ум не приходило, оставалось надеяться, что с эпитафией вполне возможно повременить. Ко всему прочему, «Мастер» не до конца раскрыл образ корейской чебурашки, которая только с виду казалась такой грозной и агрессивной, на деле являясь существом тонким и очень ранимым. В кои-то веки досталась характерная роль, которую у него фактически отбирают. И хоть бы что взамен! К примеру, роль японского крокодила Гены «Мастеру», безусловно, удалась бы. А почему непременно японского? Да потому, что борьба сумо зародилась на островах Хоккайдо или Кюсю, что, впрочем, не так уж принципиально. Да, но переквалифицироваться из каратиста в сумиста так же не просто, как накачать теннисный мяч до размеров баскетбольного. «Мастера» рукопашного боя зачастую все щупленькие и юркие, а короли татами — тяжелые и неповоротливые, и они больше похожи не на крокодилов, а на бегемотов. Да, но нет такого персонажа, как бегемот Гена! Если дело только в авторских правах, то можно считать проблему исчерпанной. Конечно, какому крокодилу охота угодить под такую тушу, выбраться живым из-под которой вряд ли представляется возможным. Все бы ничего, да в Японии нет такого имени как Гена. А какое есть? Да кто ж его знает? Неужели тупик? Как бы не так! Что там у нас с островами? Хоккайдо? Хоккайдо-Генайдо! Впечатляет. Только несколько длинновато. Высаживаемся на Кюсю! Кюсю-Гюню! Не впечатляет, зато чрезвычайно лаконично. Японский бегемот Гюню. Не очень, истинный крест, не очень. Действительно, социальный вес данной животины явно не соответствует физической массе, что может вызвать не мало вопросов, способных рассекретить резидента, каковым видел себя «Мастер» весь последний час, пока отирался около дверей телецентра. Необходимо срочно и, главное, незаметно подкинуть на чашу весов гирьку этак в пару тонн. Чушь, как можно незаметно подкинуть пару тонн, и где найти такую, с позволения сказать, гирьку? «Мастер» огляделся: ничего похожего на гирьку поблизости не наблюдалось. Что ж, нель-

зя увеличить физическое присутствие, зато раз плюнуть — эмоциональное. Значит, у нас есть японский бегемот Гюню. Что-то здесь не то. Бегемот звучит и обыденно, и мелковато. Ничего себе мелковато! Однако для пушей важности бегемота лучше прибахлить, глядишь, социальный вес возрастет. Во что прибахлить-то? В ватные штаны да в фуфайку? Лучше, в смокинг! Возможно, и лучше, но от штанов да фуфайки веса больше. Идиотизм, да и только! Почему это идиотизм? Да потому, что речь не идет о массе в изначальном понимании этого слова. Вес возможно добавить, не прибегая к каким бы то ни было усилиям. Попросту говоря, не пошевелив и пальцем? Зато пошевелив мозгами! Что если вместо набившего оскомину бегемота приплести, к примеру, гиппопотама, в силу своей врожденной скромности не стремящегося угодить на первые полосы газет, оставаясь в тени баобаба. Японский гиппопотам Гюню. А что, очень даже ничего! По крайней мере, эмоциональное присутствие весьма ощутимо

«Мастер» задержался у подъехавшей чуть ли не к самому входу машины и посмотрел на себя в зеркало заднего обзора: морда отнюдь не гиппопотамья, а где-то даже сусячья. Сусячья? Может, все-таки сусличья? У него сусячья! Неизвестно, чем «Мастер» больше остался недовольным, тем ли, что рожей не вышел или обидным сравнением с грызуном, вредителем сельскохозяйственных угодий. Сусячья... Может, сусликовая? Скорее всего! «Мастер» широко улыбнулся, и вдруг увидел в зеркале самого настоящего гиппопотама! Ну, может, не самого и не настоящего, но что не суслика — это уж как пить дать!

— Репетируешь голливудскую улыбку? — услышал он за спиной язвительный голос Тарзана.

— Кажется, нынешним вечером все телекамеры будут направлены на меня, и по тому, в каком настроении я предстану перед многомиллионной аудиторией, можно будет судить о состоянии дел в государстве. Своей белозубой улыбкой я как бы скажу наиболее продвинутой части населения: «О, кей, парни, о, кей, девчонки, этой ночью можете заниматься тем, что вам доставляет наивысшее наслаждение, и передайте своим предкам, пусть храпят спокойно: ситуация с лесными пожарами под строгим контролем, конец света отодвигается хоть и на ближайшее, но неопределенное будущее,— «Мастер» положил руку на крышу автомобиля,— твоя тачка? Классная! А я, признаться, думал, что спасатели-пляжники ездят исключительно на катерах.

— Ну, если бы мы только и делали, что загорать, то надобности в колесах, конечно же, не испытывали.

— Ты сюда работать прикатил? — насторожился «Мастер», не спуская с Тарзана пытливых глаз.

— Он сюда загорать прикатил,— пришла на выручку своему другу Вероника, выбираясь из автомобиля.

— Но, кажется, здесь нет солнца...

— А он будет нежиться в лучах моего обаяния.

— Похоже, сладкая парочка перепутала мотель с телецентром.

— А может, нам ближе экстрим, и мы на деле желаем показать наиболее продвинутой части населения, чем они должны заниматься, чтобы словить наивысшее наслаждение,— заявила Вероника, беря сигарету ярко накрашенными губами.

— А ты о предках подумала?— не на шутку рассерчал «Мастер», не желая терять многомиллионную аудиторию.— Они же сразу решат, что наступил конец света.

— Скорее, решат, что спать им нынешней ночью совсем не обязательно.

— Извращенцы! — выдохнул «Мастер», хмуря брови, и тут лицо его просветлело.— А ничего у вас не получится!

— Да ведь сколько раз получалось, и не было ни одной осечки,— язвительно заметила Вероника,— конечно, когда на тебя смотрят столько глаз, всякое может про-

изойти. Но мы постарались оградить себя от любых неожиданностей, потому прихватили с собой упаковку «Виагры».

— Все равно не получится! — «Мастер» запрыгал от радости, как ребенок.

— Почему это не получится? — вступил в диалог Тарзан. — Пожалуй, самое заинтересованное лицо, — еще как получится, и без всяких стимулирующих препаратов!

— А я говорю, готовьтесь к разочарованию! — теперь уже «Мастер» захолопал в ладоши, не забывая при том воспарять над землей. — И это не пустые слова, а вывод из личного и далеко не сладкого опыта.

— Выходит, Полярник уже пытался сотворить нечто подобное перед объективами телекамер? — уже без иронии справилась Вероника.

— А вы как будто не видели!

— Я редко смотрю «ящик», — призналась Вероника, сожалея о том, что не задержалась у предбанника долины «Яств и удовольствий», дабы в живую оценить скрытый потенциал доброго Полярника.

— «Ящик» здесь ни при чем — все возможно было узреть в натуре, — откровения «Мастера» окончательно расстроили Веронику:

— К сожалению, я не задержалась у долины «Яств и у довольствий». Дура, судя по всему, было, отчего прийти в шок!

— Что это еще за долина с таким явно библейским названием? — Тарзан устремил на подружку отнюдь не полный нежности взгляд.

— Когда-нибудь я свожу тебя туда, — вымучив улыбку, пообещала Вероника, мысленно осуждая себя за болтливость, — на экскурсию.

— Долина «Яств и удовольствий» — исторический музей?

— Что-то вроде этого, — криво усмехнулась Вероника, ибо глупее вопроса ей в жизни слышать не приходилось, — а экскурсоводом у нас будет Полярник. Давай оценим, как у него язык подвешен.

— Да чего тут рассусоливать? — огрызнулся «Мастер», которому явно не льстило предстать в новом для себя качестве, в качестве экскурсовода, — на минувшей «Фабрике» вы прекрасно видели, какое разочарование меня постигло. Я даже не успел на сцену заскочить.

— Вот кто у нас извращенец! — вернула должок «Мастеру» Вероника, до которой наконец дошло, о чем Полярник собирался сообщить.

— Сцену с бабой перепутать, — подыграл подружке Тарзан, заливаясь смехом.

— Да сдалась мне ваша сцена — я хотел спасти Мишку Кукольника, но охрана не правильно меня поняла. Вот и вас не поймет, оттого у сладкой парочки ничего не получится.

— Но мы же никого спасать не собираемся, — вконец распоясалась Вероника, — если только репутацию известного телеканала, чья популярность в последнее время упала до рекордно низкой отметки, и никакая производственная «Виагра» не сможет поднять его рейтинг.

— О своей репутации лучше бы подумали, — Мастер с упреком посмотрел на сладкую парочку, с грустью отмечая, что его белозубая улыбка, скорее всего, будет вытеснена с экранов телевизоров загорелыми задницами донельзя распущенной молодежи, — вот такое кино получается! — сделал он совсем уж безрадостное заключение.

— Полярник заядлый киноман? — Вероника не уставала демонстрировать свою веселость, — через пару часов он сможет оттянуться на полную катушку, ибо фильмы в жанре «снафф-муви», — она жадно затянулась сигаретой, — что переводится как «нюхательный табак», никого не оставляют равнодушными.

— С табаком я завязал, чего и тебе желаю, — огрызнулся «Мастер», с тревогой поглядывая на дорогу, — кажется, Кукольника уже никогда не дожждаться.

— А чего так грустно? — радостно спросил Тарзан.

— А то, что чернокожая солистка, похоже, затерла мальчишку до смерти. Вот ты видел его с прошлой «Фабрики»?

— Век бы его не видеть!

— Ты рассуждаешь как настоящий Донор,— Мастер пронзительным взглядом измерил Тарзана с головы до ног, после чего то же самое проделал с его подружкой,— а ты видела Кукольника с тех пор, как он скрылся за кулисами?

— Да сдался он мне! Юнцы вызывают у меня чувство отвращения.

— Вот и ты рассуждаешь как истинный «Донор». Я все больше склоняюсь к тому, что где-то поблизости расположено целое представительство «Красного креста», но больше «Красного полумесяца», с милосердием ничего общего не имеющих. Кстати, какое ваше мнение о Владе из «Алюминиевого солдатика»?

— Мне лично блевать хочется от всего того, в чем замешан Кочегар.

— А я уже поделилась своими мыслями о юном поколении...

— Тогда мне срочно надо попасть на «Фабрику», и коль скоро Кукольника никогда уже не дожидаться, я вынужден обратиться к представителям «Красного полумесяца» с просьбой посодействовать моему восхождению на необходимый мне этаж,— «Мастер» с такой жалостью взирал на собеседников, что они вдруг поверили в свое предназначение помогать немощным.

— Но Полярник не похож на убогого,— неуверенно произнесла Вероника, мысленно возвращаясь к долине «Яств и удовольствий».

— Конечно, на необходимый этаж, я взбегу даже на одной ноге, но взять в одиночку вон тот блокпост... — «Мастер» указал взглядом на тщательно охраняемый вход в телецентр,— конечно же, не реально.

— У Полярника нет пригласительного билета? — до Тарзана дошло, что хочет толковать им их не в меру назойливый собеседник.

— Совсем за человека меня не считают! — «Мастер» слезно пожаловался на устроителей предстоящего шоу.

— Полярник мечтает, чтобы кто-то из нас отдал ему свой пригласительный? — вот и до Вероники дошла суть явно затянувшейся беседы.

— Это моя голубая мечта,— «Мастер» закрыл глаза, словно представляя, как ему вручают пригласительный,— впрочем, я не хам, чтобы за счет чужого счастья строить собственное,— с меня достанет и половины билета.

— Полярник предлагает разорвать пригласительный? — удивился Тарзан.

— Не разорвать, а располовинить,— поправил его «Мастер»,— впрочем, я согласен и на треть.

— Полярник давно был у психиатра? — Вероника задала не совсем тактичный вопрос, на который, понятное дело, можно было не отвечать, но «Мастер» не стал строить из себя поборника морального кодекса:

— А ведь это действительно прекрасная идея: мы проникаем в телецентр, сохранив пригласительные в целости и, что более важно, в сохранности!

— Одно слово — псих,— Вероника в раздражении швырнула окурков под колесо автомобиля,— законченный псих!

— И я за то, и вы немедленно препроводите меня к психиатру.

— У нас нет времени заниматься придурками, но мы не отказываем Полярнику в содействии,— Тарзан достал из кармана мобильный телефон, собираясь вызвать соответствующую службу.

— Не станем лезть в карман налогоплательщиков, тем более психотерапевтический кабинет совсем рядом,— «Мастер» указал глазами на вход телецентра.

— Вероятно, Полярник имел в виду кабинет психолога? — ненавязчиво уточнила Вероника.

— Не важно, какой это кабинет, главное, чтобы мы были весьма убедительными.
— Полярник хочет и нас привлечь в свою команду психов, в которой он капитан? — не без насмешки справился Тарзан, — так вот: усиления не последует, — он сел в машину, намереваясь отогнать ее на стоянку.

— Кем усиливать — тобой, что ли? — не на шутку распахивая «Мастер», — ты только с виду такой рельефный, а на самом деле — сопля соплей!

Тарзан вознамерился покинуть салон машины, но Вероника упростила его не горячиться и подумать, наконец, об автомобильной стоянке.

— Вот кому надо показаться психиатру, именно психиатру, а не психологу, — с жаром выдохнул «Мастер», провожая взглядом машину, — и как только этого ненормального допустили к вождению автомобиля? Врачи, что ли, у нас сами со сдвигом? Однако подобное озарение никоим образом не повлияет на мое решение доверить свои проблемы местному эскулапу. Бери же меня, мать Тереза, под руку и веди к кабинету, где мне вернут психологическую устойчивость и с ней — надежду на светлое будущее.

Для пушей убедительности «Мастер» пошатнулся, что, впрочем, не подвигло Веронику к проявлению милосердия. Разве это не еще одно свидетельство того, что у бессердечной девчонки свой взгляд на задачи «Красного креста», но более всего — «Красного полумесяца»?

— Кажется, мать Тереза больше меня нуждается в той самой устойчивости, — «Мастер» подхватил Веронику под руку, увлекая ее к входу.

— Да пошел ты! — Вероника не очень ласково оттолкнула своего бой-френда, которым «Мастер» успел себя представить, — или меня провожать больше некому?

— Так это ты меня провожаешь, а не я тебя, — снова стал заводиться «Мастер», — несмотря на очевидное недомогание, я нашел в себе силы оставаться джентльменом, дабы не компрометировать тебя в глазах общественности. Впрочем, если тебе не по нутру моя галантность, я могу оборотиться в пролетария или даже животное! Как тебе, к примеру, японский гиппопотам Гюню?

— Шизофреник!

— По-твоему корейская Чебурашка лучше? — «Мастер» сместил акценты, устав слушать обвинения в психической несостоятельности. — Чебурашка лучше? — он приставил к голове ладони, изображая уши явно завышенной величины.

— Параноик!

— Еще лучше! — возмутился «Мастер» весьма эмоционально. — В таком случае, выбираю шизофреника. Рванули за медицинской помощью!

— Не трогай меня своими ненормальными ручонками — дороги у нас разные!

— По тебе этого не скажешь, — «Мастер» покрутил пальцем у виска, намекая на повышенную возбудимость собеседницы, — восхождение к известному кабинету предпримем в одной связке.

— Убери ручонки, — уже не столь категорично приказала Вероника, — в конце концов, у меня есть партнер по восхождению.

— Добрый путешественник? — и хотя было ясно, кого она имела в виду, Мастер вполне осознано ткнул пальцем левее.

Почему не правее? Да потому, что Вероника ходила с Таксистом налево, а не прямо и уж тем более — направо.

— Полярник отлично понимает, кого я имею в виду, — в голосе Вероники уже не угадывалось никакой категоричности, что не могло не обнадеживать.

— В таком случае, добрая путешественница должна быть заинтересована, чтобы тот, кого она имеет в виду, не прознал, что долина «Яств и удовольствий» ничего общего с музеем не имеет.

— Но это самый настоящий шантаж!

— Не настоящий. В конце концов, я не требую за сохранение тайны мешок мавританских угий, ну а помочь мне оказаться на «Фабрике», этом психотерапевтическом кабинете – грошовое дело.

Вероника, не сказав ни слова, направилась к входу, где ее пропустили без предъявления пригласительного билета.

— Этот со мной,— бросила она на ходу, кивком указав на «Мастера».

— Опять новый ухажер,— не сдержал удивления один из сотрудников службы безопасности, продолжив не без иронии,— какой красавец!

Вероника оглянулась и чуть не упала в обморок: Полярник совершенно утерял человеческий облик, фактически представ в шкуре дикого животного, чью принадлежность к тому или иному виду было не так-то просто определить. Впрочем, первое впечатление оказалось, как водится, обманчивым, и это обстоятельство сыграло Веронике на руку, поскольку наличие шкуры привело бы к эмоциональному сдвигу, и обморок стал бы объективной реальностью. Однако и без шкуры ужаса хватало: рожа словно расплющилась, откуда то взялся живот, которого до этого не было заметно... Вероятно, ложная беременность дала о себе знать.

— Неужели я не похож на гиппопотама Гюню? — сквозь зубы выдавил Мастер, с трудом удерживая на лице широкую улыбку или то, что ее заменяло.

— На кой черт тебе понадобилось строить из себя урода? — шепотом спросила Вероника, слабо сомневаясь в том, что столь «ужасная» конспирация жизненно необходима.

— На всякий случай понадобилось,— «Мастеру» все сложнее удавалось удерживать губы на максимально возможной широте,— вдруг охрана вздумает поиграть мускулами, и тогда японский гиппопотам Гюню всем своим видом призовет хулиганов к благоразумию,— он еще рельефней обнаружил ложную беременность, чем заставил Веронику проникнуться некоторыми сомнениями:

— Думаешь взять охрану на понт? — она брезгливо ткнула «Мастера» в пузо,— мне и то видно, что мышцы твои дутые!

— Вместо того чтобы настроить хулиганов на мое могущество, ты потворствуешь моему разоблачению,— дабы оградить себя от возможного провала, «Мастер» по максимуму обозначил известного рода выпуклость и пальцами попридержал губы, стремившиеся к более привычному положению,— представь меня хулиганам как чемпиона мира по борьбе сумо среди гиппопотамов.

— Теперь понятно, отчего ты пупком вытыкиваешься,— Веронике стоило огромных усилий, чтобы казаться серьезной,— можешь спокойно становиться хоть и ненормальным, но все же — человеком. Короче, твой «всякий случай» отменяется.

— И все же я еще чуток потерплю,— отправляясь за Вероникой, «Мастер» по-прежнему придерживал улыбку пальцами.

— А ну, стой! — тем не менее, понеслось ему вслед.— Тебе говорю, ширококоротый!

— Не реагируй,— шепнула «Мастеру» Вероника.— Гиппопотамы не понимают человеческого языка.

— Стой, сукин ты сын! — один из все тех же сотрудников безопасности не очень вежливо схватил «Мастера» за руку, и, если следовать законам остросюжетного жанра, борцовский захват должен был поставить хулигана на колени, но ничего подобного не произошло! Мало того, ложная беременность уже перестала бросаться в глаза, и достаточно было одного удара для того, чтобы о ней забыли раз и навсегда. Благо, Вероника поступила как опытная акушерка.

— Ты что, Славик, себе позволяешь? — она с силой оттолкнула хулигана, и он оставил «Мастера в покое»,— я же сказала, что этот тип со мной.

— Службе безопасности вменяется уделять особенное гостеприимство подозрительным личностям. Твой тип весьма подозрителен!

— Как может что-то вменяться невменяемым людям? — Вероника постучала по Славкиному лбу, — мой тип не только не подозрителен, но и невинен, как девственница

Сравнение оказалось не очень удачным, поскольку ложная беременность слишком явственно бросалась в глаза, что заставило Славика укрепиться в собственном мнении.

— А я говорю, весьма подозрителен! И, кроме пуза, где вынашиваются смертоносные планы, мне очень не нравится его рожа, на которой вот такими буквами написано, что перед тобой специалист по минированию местности.

— А разве тут просматривается криминал? Совсем даже наоборот!

— Скажи еще, что твой тип приносит одну только пользу, — невесело ухмыльнулся Славик.

— Конечно, приносит. Во всяком случае, растительность так и прет!

— Да после взрыва знаешь, что от твоей растительности останется? Одни листья да щепки!

— При чем тут взрыв? Как есть мирный атом, так есть и мирные мины. Гиппопотамы минируют местность исключительно в мирных целях.

— Гиппопотамы? Какое отношение они имеют...

— Как какое? По-твоему органические удобрения берутся из воздуха? Из задницы, Славик, из задницы! — Вероника использовала нижнюю часть спины «Мастера» за наглядное пособие, и тот вдруг испугался, что вечно сомневающийся Славик захочет получить куда более веские доказательства и, кажется, все к тому шло...

— Значит, твой тип минирует местность отходами собственного производства? — Славик смачно шлепнул «Мастера» по заднему месту.

— Точно подмечено!

— Но он не очень похож на гиппопотама.

— Да ты посмотри на его брюхо, а морда-то, морда! Рот до ушей, как у самого настоящего гиппопо!

— Так он искусственно растянул рот, наинаглейшим образом выпячивая свою принадлежность к клану армейских авторитетов, снискавших славу на установках мин-растяжек.

Вот, значит, что побудило Славика внести «Мастера» в черный список специалистов по минированию местности. Искусственно растянутый рот показался охраннику слишком уж подозрительным! Если здесь и есть психотерапевт, то «Мастера» к нему на аркане не затащишь. Действительно, зачем зря терять время, если здесь не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь своим же сотрудникам? Да этот Славик, как верно подметила Вероника, невменяемый, да и только! Конечно, «Мастер» мог бы побережь последние нервишки своего непримиримого оппонента, однако совершить «разминирование» на собственном лице по-прежнему не решался, поскольку снятие растяжки не способствовало снятию напряжения, кое ощущалось в каждом вдохе, в каждом повороте головы и даже — в падении реснички, которое не миновало проходящую мимо женщину, в чьих глазах читался ужас, неизвестно чем вызванный. В общем, «Мастер» продолжал оставаться в образе японского гиппопотама Гюню, бросая на Веронику косые взгляды: почему она не представила его как чемпиона мира по сумо? Возможно, тогда ситуация разрядилась бы сама собой, и у Славика не случилось бы ассоциаций, точнее, галлюцинаций с армейскими авторитетами. Более того, Вероника делает все, чтобы «Мастер» забыл, кто он и откуда родом. Проще говоря, ему вменяется быть гиппопотамом и отнюдь не фиктивным!

— Гюню, Гюню, — хлопывая по бедру, позвала Вероника «Мастера», словно он был не гиппопотам, а псом, — пошли же скорее на съемки передачи «Самые крупные парнокопытные млекопитающие».

Вот дает! Вряд ли стоит сомневаться, что не за горами тот день, когда главная телевышка страны обретет статус международного психоневрологического центра. Пациенты уже сейчас занимают очередь! «Мастер», в отличие от некоторых, вполне нормальный и с придурками ничего общего иметь не желает! Он приступил к экстремному «разминированию» лица, и хотя пальцы уже не удерживали улыбку или то, что ее заменяло, губы отказывались занимать исходное положение. Мастер было устремился за Вероникой, но Славика опять что-то не устраивало:

— Стой, в который уже раз говорю!

— Славик, до съемок передачи «Самые хищные парнокопытные млекопитающее» осталось чуть более четверти часа, а ведь еще надо успеть наложить грим, или ты хочешь, чтобы гиппопотам Гюню предстал перед телекамерами с морщинистой мордой?

— Я хочу проверить это животное на причастность к террористическим акциям, произошедшим как у нас в стране, так и за ее рубежами,— твердо стоял на своем Славик, чем здорово досаждал Веронике:

— У тебя для этого нет ни малейшего основания!

— Как нет? А это? — Славик едва не ткнул «Мастера» в рот,— растяжка как была, так и осталась,— невменяемый достал записную книжку, выказывая готовность сделать кое-какие пометки.— Значит, зовут тебя Гюню, фамилия...

«Мастер» хотел было позитивно отреагировать на приказ должностного лица, но Вероника изыскала способ предупредить единомышленника о негативных последствиях, которые, скорее всего, не заставят себя ждать, если, конечно, широко открыть рот.

— Где ты, Славик, встречал гиппопотама с фамилией? — усмехнулась Вероника,— ты бы еще паспорт потребовал.

— Только не надо держать меня за недоумка,— обиделся Славик, пряча записную книжку в карман,— я бы ни за что на свете не полез в бутылку, если бы ты меня не принудила это сделать.

— Я не сторонница силового давления,— Вероника пробежала глазами по полу,— и где только Славик увидел бутылку?

— Да я в переносном смысле. Ведь ты же сама сказала, что до съемок передачи «Самые хищные парнокопытные млекопитающие» осталось чуть более четверти часа.

— Уже двенадцать минут,— взглянув на часы, сказала Вероника.

— Дело не во времени, а в животных. Я даже не подозревал, что парнокопытные могут быть хищниками. Процесс эволюции идет быстрее, чем кажется!

— Вот что, значит, побудило Славика завести речь о причастности Гюню к тем или иным террористическим акциям,— Вероника приподняла верхнюю губу «Мастера», обнажая отнюдь не крупные зубы,— разве это травоядное похоже на хищника? Оговорилась я, Славик, понимаешь, оговорилась.

— Теперь понимаю,— всматриваясь в зубы, кивнул невменяемый,— а гиппопо курит! Но все равно проходите, но дымите, пожалуйста, только в отведенных для этого местах.

— Не беспокойся, Славик, я уже давно завязал с сигаретами,— Мастеру явно не понравилось, как с ним обращаются, потому и поспешил стать человеком, однако чрезмерная торопливость чаще всего выходит боком:

— Стой, в последний раз предупреждаю! — Славик расстегнул кобуру, намереваясь применить табельное оружие, и хотя единомышленники не успели сделать и шага, им пришлось встать в пол, выказывая поразительное повиновение.

— Славик недоволен, что гиппопо Гюню бросил курить? — Вероника попыталась разрядить атмосферу единственно доступным способом — обворожительной улыбкой.— Но ведь это вполне объяснимо, поскольку во всем мире развернута оголтелая борьба с никотиновой зависимостью, и животные, как неотъемлемая и наибо-

лее дисциплинированная часть нашего общества, горячо откликнулись на клич, во главу угла которого заложена концепция о здоровом образе жизни. Конечно, не все подчинились стадному инстинкту, вот и Гюню продолжал цибарить в кулак, то бишь в копыто, пока кто-то не донес на него фактическому хозяину озера Мабуту-Сесе-Секо господину Лумумбе — гиппопотаму с прочно устоявшимися консервативными взглядами, где не нашлось места даже тонюсенькой струйке дыма. Короче, бесконечные преследования достали нашего Гюню, и он был вынужден бежать из Центральной Африки и просить политического убежища в Восточной Азии. Однако, поселившись на берегу залива Исе, наш диссидент утратил вкус к жизни, и дело тут не в соленой воде — известно ведь, что жизнь на чужбине не сахар,— а в том, что некогда заядлый курильщик стал выказывать непереносимость к дыму. Его шкура покрылась белесыми пятнами, а позже — язвами, и местные ветеринары порекомендовали Гюню, причем настоятельно так,— Вероника потрясла кулаком,— завязать с пагубной привычкой, и тот с пониманием отнесся к их обеспокоенности.

«Мастер» хотел было решительно заявить, что если он к кому и обращался за медицинской помощью, то только к докторам Юго-Западного округа столицы, и ужнисколько не к ветеринарам, однако Вероника и на сей раз нашла весьма действенное средство против болтливости. Надо же так лягаться! Вот кого необходимо показать ветеринарам!

— Я только рад, что гиппопо Гюню больше не окуривает свои жабры,— произнес Славик без былого красноречия,— но, кажется, парнокопытное заговорило человеческим голосом!

— А кто утверждал, что процесс эволюции идет быстрее, чем следовало бы? Кто — Пушкин?

— Ну не Пушкин, а Пулеметов,— Славик не очень уверенно ткнул себя в грудь, понимая, что его фамилия значительно уступает в убойной силе фамилии знаменитого поэта,— но эволюция проходит достаточно неспешно, и уж за пять минут ничего существенного случиться не может.

— Современный ритм вынуждает братьев наших меньших семимильными шагами прибавлять в умственном развитии, и достаточно взглянуть на примелькавшегося уже Гюню, чтобы убедиться в пророческом изречении не помню какого естествоиспытателя, уверявшего, что эволюционный процесс протекает быстрее, чем того хотелось. Еще с минуту назад перед нами маячила гиппопотамья морда, а теперь, радуясь, Славик Пулеметов, любуясь, пусть и не достигшим своего совершенства, но уже вполне сформировавшимся лицом, способным воспроизводить не только звуки, но и отдельные слова.

— Это не естествоиспытатель уверял, а простой охранник Славик Пулеметов,— скромно изрек обладатель не слишком убойной фамилии, не спешивший, однако, застегивать кобуру,— морда действительно все больше и больше походит на харю, и я уже почти готов предоставить вам свободу передвижения, если бы не одно но...

— Ну что там еще, Славик Пулеметов? — верно, с глубокой досады Вероника повторно лягнула Мастера, и тот разогнулся в обратную сторону, окончательно утратив облик гиппопотама.

Хорошенькое дельце, изливать свою досаду на неповинного человека!

— Ты что-то сказал, Гюню? — вероятно, Вероника приняла стон за слова искренней благодарности,— кажется, я поспешила записать тебя в человеки: с таким произношением только в молчанку играть.

— Это не Гюню сказал, а простой охранник Славик Пулеметов,— теперь уже без лишней скромности заявил обладатель не столь убойной фамилии, перетянувший одеяло на себя,— так вот, что я подразумеваю под своей недосказанностью... Но, кажется, ты уже сама обо всем догадалась?

— Не тяни резину, чертов Славик Пулеметов. Нашел умницу!

— Оказывается, эволюция коснулась не всех,— хихикнул Славик и, приняв серьезный вид, добавил,— с хозяином Мабуту-Сесе-Секо неувязочка получается.

— Какая еще неувязочка?

— Имя у него не собственное.

— Как это не собственное? Ты хоть понимаешь, что буровишь, Славик Пулеметов?

— У меня-то как раз с эволюцией полное взаимопонимание! Что же касается хозяина, то Лумумба не его имя.

— А чье, чертов Славик Минометов?!— Вероника настолько распахнулась, что стала много, чего путать, однако обладатель не очень убойной фамилии предстал с наилучшей стороны.

— Пулеметов я, и повышение по службе мне не очень-то и льстит. Потому, возвращаясь все к тому же Лумумбе, с полной ответственностью заявляю, что это неодушевленный предмет.

— Я знала, что Славик Огнеметов контуженный, но чтобы до такой степени...

— Пулеметов я, и потому готов выдать целую очередь в защиту собственных доводов.

— Давай лучше одиночными! Итак, что это еще за предмет?

— Здание у нас есть такое, Лумумбой называется.

— Уже не называется! — вздохнула с облегчением Вероника, радуясь тому, что контузия собеседника не представляет угрозы для окружающих,— теперь упомянутое тобой здание является просто международным университетом Дружбы Народов, баз всякого там Лумумбы!

— Это теперь «просто», а тогда? Получается, Лумумба с одушевленными предметами ничего общего не имеет, и тлеть не собирается!

— Придется заняться с тобой, Славик Долбометов, историей,— перечислив все известные ей средства вооружения, Вероника изобрела собственную систему залпового огня, с широким радиусом поражения,— а ведь был в Заире такой политический деятель, как Патрис Лумумба, именем которого и назвали горячо обожаемое тобой здание. Мабуту-Сесе-Секо также находится на территории выше упомянутого государства, из чего не сложно прийти к выводу, что хозяин озера и популярный политик — земляки. Отчего же им не быть Лумумбами?

— Но я за все годы собственного существования не встретил ни одного Пулеметова — ни одушевленного, ни его антипода!

— С антиподом, честно говоря, трудности были, есть и будут, а вот с одушевленными предметами, все более или менее объяснимо, поскольку в наших краях гиппопотамы не обитают. В противном случае, Славик Хренометов, у тебя было бы целое озеро, а может, даже и море однофамильцев, а в Заире, куда ни плюнь, везде Лумумбы: тьфу сюда — бегемот, тьфу туда — политический деятель, снова тьфу сюда — крокодил, снова тьфу туда...

— Мое лицо! — «Мастер» понимал, что было бы правильней молча стереть слюну со щеки, но волна возмущения оказалась настолько высокой, что проблески разума тут же померкли в ее всепоглощающей мощи,— и вообще, у гиппопотамов не жабры, а легкие, как у людей, понимаешь ты это, Славик Шизометов? И я никогда не был в Центральной Африке и не снимал угол в Восточной Азии!

— Получается, Гюню — лицо без определенного места жительства или, говоря без всяких обиняков и Восточно-Азиатской идеографии, бомж? Но куда хуже, он не тот, за кого его принимали?!

— Да тот я, тот! — неимоверным усилием воли «Мастеру» удалось-таки обуздать девятибалльную волну, грозившую привести к необратимым последствиям,—

но если бы ты знал, Славик Пулеметов, как мучительно больно привыкать к лицу: морда она как-то сподручнее, ближе, удобнее.

— Пулеметов я,— Славик уловил-таки незначительное изменение при произношении его не совсем убойной фамилии, вернув ей какую-никакую значимость,— и я тебя отлично понимаю, Гюню мой Восточно-Азиатский, поскольку сам буквально на днях сменил морду на лицо. С мордой оно было как-то проще, где-то даже человечнее! — Славик застегнул кобуру и взял под козырек,— не смею больше задерживать.

— А чего так грустно, Славик Пулеметов? — «Мастер» по-дружески хлопнул охранника по плечу.

— Нет причин для радости,— тяжело выдохнул тот,— опоздал Гюню, опоздал!

— Съёмки передачи «Самые крупные парнокопытные млекопитающие» можно чуть сдвинуть, так что для переживаний нет оснований. Улыбнись же!

— Все равно опоздал,— с постной миной отозвался Славик,— теперь Гюню надо сниматься в передаче «Подставное лицо».

— Так уж и подставное,— вмешалась в диалог Вероника, чуя подвох,— мы это лицо так загримируем, что оно снова станет мордой.

— А где правда жизни? — Славик явно не спешил улыбаться.— Зачем весь животный мир обманывать?

— Люди ничего не заподозрят, а звери предпочитают не засиживаться у телеэкранов, отдавая львиную долю свободного времени своему физическому здоровью, предпочитая совершать пробежки по лесопарковой зоне,— Вероника прилагала максимум усилий для того, чтобы Славик не изменил собственное решение и не чинил препятствий для свободного перемещения по телецентру, однако в последний момент у нее окончательно сдали нервы,— впрочем, в передаче «Подставная морда» наш Гюню действительно затмил бы многих.

Рука Славика снова потянулась к кобуре, и «Мастер» согласен был получить пулю под лопатку, только бы не углубляться и без того в затянувшуюся дискуссию. Подтолкнув Веронику, он устремился за ней, всеми позвонками ощущая направленное на него дуло. Сейчас жизненно необходимо не упустить момент, когда палец-убийца станет плавно нажимать на спусковой крючок. Легко сказать, не упустить, или у него глаза на затылке? Ну, а коли на «нет» и суда нет, то надобно срочно приступить к мобилизации внутреннего потенциала вплоть до шестого чувства, которое, хочется верить, и на сей раз окажет добрую услугу. Только не нужно форсировать события, ибо прежде, чем спустить курок, должно последовать словесное предупреждение. Не последует! Это еще почему? Да потому что Славик Пулеметов уже, поди, глотку сорвал со всякими там предупреждениями. Да ведь то было, по крайней мере, с четверть часа назад, и за истекший период времени вполне реально привести головные связки в надлежащий вид. Короче, иерихонская труба возвестит о надвигающейся угрозе, а если у кого заложены уши, то их прочистит предупредительный выстрел. Не слишком ли много канители, уважаемый гиппопо Гюню? Не много, если строго следовать инструкции по задержанию. По задержанию кого? Бандитствующих элементов, разумеется! Да, но гиппопотама чрезвычайно трудно причислить к какому бы то ни было бандформированию. Для Славика Пулеметова трудностей не существует, как, впрочем, и не существует всякого рода инструкций. С первым выводом, ясное дело, не поспоришь, а вот со вторым. Это еще почему инструкций для Славика не существует? Да потому что он невменяемый, а для дураков, как известно, закон не писан. Значит, первый выстрел окажется последним? Вне всяких сомнений! О, боже, необходимо уже сейчас объявлять всеобщую мобилизацию!

«Мастер» только ему известным способом заглянул внутрь себя, где вырисовывалась такая картина: четыре чувства уже стояли под ружьем, а пятое все еще натягивало ботинки, да к тому же на босу ногу, что при марш-броске грозило вылиться в

крупные неприятности в виде кровавых мозолей. Однако самое трагичное состояло в том, что шестого чувства нигде не было видно! Может, в самоволке? Только не это! Действительно, первый и последний выстрел должен прогреметь с секунды на секунду, а без шестого чувства проследить за курком физически невозможно. Но стоит ли рвать на груди волосы? Почему не на голове? Да потому, что в голове зарождаются мысли и прочий хлам, а чувства и прочее сусю-мусю — в груди. Не очень убедительно, зато красиво! Тем не менее, хотелось бы возвратиться к еще не до конца вырванным волосам. Впрочем, не нужно задаваться повторным вопросом, если ответ яснее ясного. Действительно, когда на кону собственная жизнь, тогда уже не до риторики. Но почему непременно собственная, или другие жизни перевелись? «Мастер» вплотную приблизился к Веронике, чья сутулость, которой прежде не замечалось, стала слишком бросаться в глаза. Вероятно, девчонка, как и он, тяготилась отсутствием шестого чувства. Впрочем, горевать особенно и не стоит: пуля угодит между лопатками, что позволит расправить плечи, и от сутулости следа не останется. «Мастер» нагнулся, дабы не препятствовать оздоровительному процессу, однако кое-какие сомнения, не позволяли чувствовать себя более или менее спокойно. Все дело в том, что никогда прежде не представлялась возможность убеждаться в снайперских способностях Славика Пулеметова, могущего прицелиться чуть ниже, чем того требовалось нормами оздоровительного процесса. Но и этого «чуть» будет вполне достаточно для нанесения значительного физического ущерба, лейтмотивом которого станет известная формулировка «ни встать, ни сесть». Впрочем, первое еще возможно, а вот развалиться в кресле, пробегая глазами по заголовкам утренней газеты, никогда. Нет, пробежать, конечно, можно, но, увы, не сидя. Короче говоря, «Мастер» обеими ягодицами голосовал за здоровый образ жизни, мечтая видеть Веронику стройной и улыбчивой, похожей на манекенщицу, грациозно парящую над подиумом.

— Гюнню, не устал отбивать поклоны? — «Мастер» услышал над головой язвительный голос, и, разогнув спину, увидел расплывшееся в усмешке лицо Вероники.

— Где это мы, криворотая? — осторожно справился он, пугаясь замкнутого пространства.

— В лифте,— без намека на обиду отозвалась Вероника,— к «Седьмому небу» поднимаемся.

— К седьмому? А шестое уже миновали?

— Шестого неба не существует,— задорно рассмеялась Вероника, и отвратительная кривизна улетучилась с ее припухлых губ.

— Да я не о небе,— «Мастер» оглянулся, но, кроме плотно закрытых дверей, ничего не увидел,— как здорово, что шестого чувства не понадобилось! Но больше всего рад, что ты стройная и улыбчивая,— он ткнул пальцем в характерные для женщин выпуклости,— так вот, значит, что я принял за сутулость!

— Попрошу не распускать руки,— не зло произнесла Вероника,— или я похожа на гиппопотамиху? А, Гюнню?

— Зови меня Полярником.

— Хорошо, но только ты не должен воспринимать мою лояльность за сигнал к действию. Маньяк прямо какой-то!

— Подумаешь, пальцем дотронулся,— с обидой проговорил «Мастер»,— или пуля приятнее?

— При чем здесь пуля?

— Но ведь Славик Психометов мог открыть по нам беспорядочную пальбу!

— Из чего, из пальца?

— Только не попугайничай, пожалуйста. Или кобура то же, что и перчатки? — В кобуре Славика если что и находится, то лишь пачка сигарет да зажигалка

— Какие же они милые эти охранники! — не без иронии произнес «Мастер»,— и за что же им только деньги платят? За бесконечные перекуры?

— С остальными охранниками все, как положено, ну а для Славика было сделано исключение.

— И чем же он такой особенный?

— В свое время Славик был отменным оператором, и фильмы его о дикой природе пользовались заслуженной популярностью. В тот злополучный день наша киногруппа вела съемки в районе Гиссарского хребта, и в погоне за уникальным кадром Славик пренебрег мерами безопасности... Уже то, что Славик выжил, не иначе как чудом назвать нельзя, однако он не остановился на достигнутом, но тяжелейшая травма головы не позволила ему вернуться к любимому занятию. Но Пулеметов не мыслил себя вне телевидения, и, учитывая его былые заслуги, было принято решение выдать бедняге служебное обмундирование. Но вот с оружием побоялись экспериментировать.

— И правильно сделали! — горячо выдохнул «Мастер», которому все еще мерещилось наставленное на него дуло.

— Да нет, с виду Славик вполне нормальный малый, и «псих» навевается к нему нечасто. Когда же это все-таки происходит, он видит себя архаром, скачущим по горным тропам.

— Надеюсь, он сюда не заскачет,— «Мастер» ткнул носком ботинка в кабину лифта, проверяя ее надежность,— как высоко мы сейчас находимся над уровнем моря?

— Да чтобы гиппопотам испугался какого-то там козла?! — рассмеялась Вероника, и ее отнюдь не детская непосредственность начинала действовать «Мастеру» на нервы.— Вы же в разных весовых категориях!

— Я же просил больше не называть меня гиппопотамом. Полярник я, или в лобешник засветить, чтобы память просияла?

— Кажется, речь шла о Гюню, а не о гиппопотаме,— вероятно, жесткое предупреждение застряло в ушах Вероники, во всяком случае, она уже не ржала, как скаковая лошадь.

— Кажется ей,— верно оценив ситуацию, «Мастер» придал своему голосу, с позволения сказать, убийственную мелодичность,— как будто гиппопотам и Гюню два разных человека! Тьфу, впрочем, ты прекрасно поняла, о чем я хотел поведать миру.

— Поняла, что ты мне угрожаешь.

— А хоть бы и так! Только попробуй еще хоть раз обозвать меня гиппопотамом или Гюню. И, не приведи господи, объединить их вместе!

— И что же тогда случится?

— Да уж в задницу не поцелую.

— А поконкретней?

— По стенке размажу! — в данное откровение «Мастер» вложил всю злость, накопленную за время вынужденного молчания, которое Вероника так ловко использовала в собственных интересах, лягаясь почище иного архара.

Такое даже на том свете не забудется!

— Размажет он... Садист ты, Гю... я хотела сказать, Полярник.

— И размажу! — «Мастер» с силой ударил ногой по кабинке, заново переживая все те унижения, на которые Вероника не скупилась там, внизу, не давая, в сущности, рта открыть,— вот так размажу, вот так! Эй, куда ты все время смотришь?

«Мастер» оглянулся и увидел толпу, не решавшуюся заполнить кабину. Оказывается, лифт давно достиг необходимого этажа, и двери раздвинулись в разные стороны. Но ведь поведение человека не придерживается законов механики, и в этой связи было понятно, отчего работники телецентра пребывали в статичном положении, ста-

раясь не замечать стихийно вспыхнувшей ссоры. И кроме всего прочего, чувство такта играло не последнюю роль.

— Можете шевелиться, люди добрые,— милостиво разрешил «Мастер», покидая злосчастную кабину,— тараканам надавал пенделей, так что у них не скоро появится охота покататься в лифте,— заходите, перегруза точно не случится!

Хоть бы кто шевельнулся! Точно понимают, что если где и водятся тараканы, то не в кабине, а в голове. Тактичные — никто даже взгляда косоного не бросил! А вон тот длинноволосый усач так вообще очки темные нацепил, дабы ничего предосудительного не подумали. Вот и у проходной «Фабрики» охрана вела бы себя столь мило и непритязательно, являя собой образец высокой морали. Впрочем, если и возникнут какие недоразумения, Вероника разрешит проблему в предельно сжатые сроки. В конце концов, чувство такта отнюдь не врожденное качество, которое очень даже легко прививается. Была бы добрая воля как с одной, так и с другой стороны. А может, и не добрая. И здесь уже достаточно воли с одной стороны...

* * *

«Мастер» лишний раз убедился в том, что Вероника здесь своя в доску. На проходной его даже не стали проверять на предмет обнаружения взрывчатых веществ, а коль скоро второго Славика Пулеметова среди охранников не оказалось, к своему креслу «Мастер» проследовал гордо и чинно. Его осанка могла бы стать наглядным пособием для первоклашек, чья школьная жизнь начинается с уроков физиологии, посвященных одному и тому же: как правильно сидеть за партой, дабы не случилось искривления позвоночника. Говоря начистоту, в последний момент нервы сдали, и «Мастер» стал похож на пособие, свидетельствующее, что ж произойдет, если школьник плохо усвоит урок по физиологии — не спина, а, право дело, транспортир! Да и как можно оставаться спокойным, если по обе стороны от тебя расположились пусть и потенциальные, но «Доноры»? Посмотрел бы «Мастер», как ощущали бы себя скептики, окажись они в столь смертельных тисках! Конечно, дерьмо бы из них все равно полезло, а вот выдавить ухмылку вряд ли бы удалось. И это несмотря на неимоверное давление!

Оба глаза получили настоятельные рекомендации не терять бдительности, и они так рьяно взялись за дело, что «Мастер» на собственной роже ощутил, какой вред причиняют здоровью карьеристские замашки отдельных органов, в частности, органов зрения. Действительно, косоглазие развивалось убийственной быстротой, ибо левое око неотрывно следило за Бабой кровь с молоком, а правое — за Прозрачной, которой скоро надоели столь очевидные знаки внимания.

— Если вы сейчас же не прекратите меня домогаться, я стану защищаться всеми доступными методами,— она оскалилась, бравируя длинными ногтями.

— Это не я домогаюсь, а глаз,— не без испуга промямлил «Мастер»,— но он орган подневольный, так что не стоит в него плевать и метить ногтем. Иными словами, вашей девичьей репутации ничего не угрожает.

— Только не надо убаюкивать мою бдительность! В конце концов, я не один раз была замужем, и прекрасно знаю, какими коварными могут предстать все эти органы.

— Кажется, мы говорим о разных вещах. Я — об органе зрения, а вы о каком?

— Об органе зрения он... Только не нужно втирать очки! — все больше расходилась Прозрачная, что не сулило ничего хорошего, и «Мастер» стал подумывать о смене позиции.— А я о каком? — ее ворчание приобретало угрожающее звучание,— пальцем, что ли, ткнуть?

— Я уже сам догадался! — «Мастер» прикрыл руками то место, куда нацелился острый ноготь,— пожалуй, нам лучше расстаться.

Он попытался встать, но мощная рука не позволяла осуществить задуманное.

— А мне нравится, когда меня домогаются,— Баба кровь с молоком, прикоснулась щекой к плечу «Мастера», и запах простокваши ударил в ноздри,— знаешь, как нравится?

«Мастер» чуть было не ответил честно, но объективно взвесив свои возможности, пришел к трезвому заключению: язык за зубами удержать проще, чем истосковавшиеся по мужской ласке ясно, какие формы. Действительно, вдруг Бабе кровь с молоком взбредет в голову показать, как ей нравится, когда ее домогаются? Да тут вся служба безопасности не сможет призвать шалунью к порядку! Короче, «Мастер» решил вести себя весьма сдержанно, чтобы не провоцировать свою явно озабоченную соседку. Но та и без всяческой провокации готова была учинить самый настоящий хаос:

— Чего скромничаешь, миленок, хочешь узнать, как нравится, хочешь?

Стало ясно, что даже если и удастся удержать язык за зубами, беспорядков все равно не избежать. Не лучше ли тогда во всеуслышание заявить о своем несогласии с позицией Бабы кровь с молоком, дабы не обвинили в потворстве хулиганствующим элементам.

— Ничего не хочу знать, ничего!

— Знакомая песня! — с недоверием откликнулась Баба кровь с молоком, обхватывая «Мастера» за шею, распространяя при этом запах скисшегося творога.— Все так говорят, а потом как набросятся, как набросятся!

Положение выглядело катастрофичным, поскольку только в словесной форме возможно было проиллюстрировать собственный взгляд на сложившуюся ситуацию. Действительно, начни освобождать шею от всеобъемлющих рук, Баба кровь с молоком может заварить такую кашу, которую ни в жизнь не расхлебает. Да на чем она заварит, если ее молоко далеко не первой свежести, которое при кипячении непременно свернется? А ей-то что с того, ведь кашу другому придется расхлебывать, и, значит, о вкусовых качествах заботиться вовсе не обязательно.

— Прибалдел да, прибалдел? — распутница по-своему расценила бездействие своего горячо обожаемого соседа.— То ли еще будет, миленок!

Последнее откровение заставило «Мастера» вздрогнуть, ибо с минуту на минуту могло произойти то, о чем Вероника с Тарзаном только собирались поведать миру. Вон и телекамер глаза заблестели в предвкушении эпатажных кадров. Надо признать, что опасения «Мастера» стали сбываться довольно быстро: Баба кровь с молоком покинула свое кресло и, бесстыдно задрав юбку, вознамерилась сесть на колени горячо обожаемого соседа, дабы более явственно оценить степень его балдежа. Да о каком балдеже может идти речь, если в этой, с позволения сказать, прелестнице одного сала центнер с гаком?! Словом, если какая степень и вырисовывалась, то в самые кратчайшие сроки она грозила упасть до рекордно низкой отметки. И этому легко было найти объяснение: двойной удар — физический и нравственный — не каждому дано выдержать. Но тут случилось непредвиденное: явилась добрая фея в лице Прозрачной:

— Ты что же это чужих мужиков отбиваешь? — она вознамерилась вставить свой костлявый кулак туда, чем шалунья собиралась оценить степень балдежа,— чего глаза свои бесстыжие вылупила?

— Хочешь сказать, что миленок твой... как бы помягче изложить свои блудливые мысли?... Короче, ты с ним спишь? — Баба кровь с молоком приостановила известного содержания оценку, не подозревая, что принятая ей поза, оставляет широкое поле деятельности для костлявого кулака.— Но ведь я сама слышала, как ты от него отказалась.

— То была проверка временем наших чувств.

— Как это следует понимать? — Баба кровь с молоком всего лишь на мгновение

отвлеклась, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы поле ее деятельности значительно сузилось.

Прозрачная перестала размахивать костлявым кулаком, что вовсе не означало, будто пламя конфликта удалось успешно локализовать.

— Я отказалась от красавчика ровно на десять минут, которые ты так бездарно растранила!

— Да за десять минут юбку не успеешь задрать!

— Кто не успел, тот опоздал, — нагло заявила Прозрачная, и в голову «Мастера» пришла не совсем бесспорная мысль: если формы Бабы кровь с молоком истосковались по мужской ласке, то Прозрачная, судя по ее аскетическому виду, изголодалась.

— Девоньки, — «Мастер» решил испробовать себя в качестве миротворца, — вы уж особенно-то не цапайтесь: ласки на всех хватит.

Конечно, подобное уведомление не совсем устроило конфликтующие стороны, но лучше согласиться на половинчатое внимание, нежели лишиться одного раз и навсегда. Короче говоря, девоньки успокоились каждая в своем кресле, и «Мастер» вдруг ощутил себя нейтральной полосой, напичканной минами, что не являлось гарантией спокойной жизни, скорее, совсем даже наоборот. Право дело, возобновись боевые действия, и не долетевшие как на ту, так и на другую сторону снаряды начнут рваться на нейтральной полосе, подключая к процессу мины. Шуму-то сколько случится! На луне слышно будет! А как насчет жертв? С жертвами тоже будет полный порядок! Конечно, за все общество ручаться не стоит, но то, что его вынесут из студии вперед ногами, это уж как пить дать. Оказаться между двух огней, между парочкой потенциальных доноров, — да такое в кошмарном сне не привидится! Спасибо Веронике — удружила! Впрочем, откуда она знала, что девоньки выберут его общество? Да и «Мастер» не виноват, что бабы по нему с ума сходят. Но ведь известно, что женщины до добра не доводят, тем более, если они сумасшедшие.

Это только для несведущего человека может показаться, что косоглазие есть недуг, на самом же деле здесь четко просматриваются карьеристские наклонности, не поддающиеся какому бы то ни было лечению. Усилием воли «Мастер» попытался выровнять взгляд, но карьеристы упорно гнули свою линию. Возможно, «Мастер» не проявлял достаточного рвения, прекрасно сознавая, что за потенциальными «Донорами» необходимо следить если не в оба, то хотя бы ровно настолько, чтобы вовремя предотвратить беспорядки, могущие начаться в любое мгновение. Есть уверенность в том, что карьеристы своего не упустят, а вот на другие органы нельзя положиться. В частности, на конечности, обнаружившие удивительную пассивность при оценке Бабой кровь с молоком степень балдежа. Только не надо пошлеть, или руки не относятся к конечностям? А ведь от них требовалось всего ничего: обхватить Бабу кровь с молоком за талию, если таковая у нее имеется. Да, но тогда шалунья расценила бы мнимую лояльность за сигнал к действию, и тогда уже беспорядков невозможно было бы избежать. Но разве надо обхватывать так, чтобы Баба потеряла контроль над чувствами? Это легко сделать тонко и где-то даже непритязательно. Но разве таким образом прощупаешь, что там у нее между складками? Между какими складками? Да уж только не теми, что придают юбке некую безалаберность, заставляя задуматься об уютге. Да, да, речь идет о жировых складках, являющихся сомнительным украшением Бабьего тела. Но какое отношение имеют все эти «шарпеевские» достопримечательности к происходящим на «фабричной» территории событиям? Самое непосредственное! Или пояс шакала не удобно спрятать между жировыми отложениями? Да, но доноры и шакалы — это далеко не одно и то же, да и задачи у них разные. Такие уж и разные? Планы, как тех, так и других замешаны на крови, с чем вряд ли разумно спорить. Впрочем, если шакалы вызывают у кого-то приступ тошноты и ярой нена-

висти, то в жировых отложениях можно обнаружить нечто более приемлемое. И что же, к примеру, зенитный комплекс «Игла»?

Только не надо иронизировать! Чем кошелек не пример? Или эта вещичка не нуждается в бережном отношении? Конечно, кошелек не держат в вытянутой руке, но и прятать его в столь экстравагантное местечко, это уж слишком. Зато ни один контролер не догадается заглянуть в известного содержания складки, где очень даже комфортно способны разместиться «красноярцы» и иже с ними? Красноярцы? Но ведь складки не полки в спальном вагоне, где можно с удовольствием вытянуть «костыли» в предвкушении долгого и сладкого сна. Но речь вовсе не о том красноярце, что едет к южному морю, а о том, на котором легко прочесть кровавое уведомление: «Ты будешь моим!» Да, да, ведь сегодня весь вечер на манеже Влад, чья эпатажная внешность (одно кольцо в носу чего стоит!) мало чем отличается от внешности коверного. У Влада с «красноярцами» особые отношения!

Ну, хорошо, допустим, Баба кровь с молоком — вместительное хранилище, куда при большом желании возможно запихнуть даже зенитный комплекс. Но что в таком случае сказать о Прозрачной: она вся на виду, да и светится, как оконное стеклышко? На самом деле светится, но это не означает, будто ей совершенно нечего скрывать. Известно, что шакалки не ходят на задание без сопровождающего, в качестве которого обычно предстоит мужчина. В общем, вывод напрашивается сам собой. Ничего и не напрашивается! А если пошевелить мозгами? Все равно не напрашивается! Тогда подсказка: разве Зануда не может оказаться тем самым мужчиной, обеспечивающим то самое сопровождение? Зануда слишком болтлив, а тот, кто вынашивает черные планы, не станет светиться. Скорее всего, так оно и есть, но коль скоро в сопровождении могут принимать участие несколько мужчин, нельзя исключать того, что Зануда играет роль своеобразного магнита, притягивающего взоры как можно большего количества людей, разгружая главных персонажей, готовых в означенную минуту привести адскую машинку в действие. Страшно, однако рациональное зерно явно присутствует. Тем не менее, что-то мешает поверить в то, что урожай обещает быть высоким. Оно и понятно, ведь, исходя из данных рассуждений, «Донор» заинтересован оставаться в тени, а наши девоньки вели себя как последние сучки, вызывая поллюции у потенциальных кобелей, коих здесь собралось не так уж и мало. Проще говоря, для чего этим шавкам вилять хвостами, если можно не отрывать своих задниц от законно приобретенных мест? Вот именно, для чего? Не для того ли, чтобы дать понять, будто иной заботы, как удовлетворение животных инстинктов, у них не существует, и если уж кого и подозревать в донорстве, то лучше смотреть в другую сторону? Да, но, кроме «Мастера» о преступном донорстве вряд ли кто еще догадывается. Как бы не так! А Вероника, а Тарзан, а Кочегар? Всем своим безразличием они желают показать, что все их помыслы неотделимы от «фабричных» дел, но как же не хочется им верить! И в заключение темы: если бы все было так благопристойно и мило, вряд ли на проходной держали бы столько контролеров. Получается, к возможной встрече с Красноярцем готовится не только «Мастер». Однако хватит капать на нервы, ибо «Фабрика» начала работу, и скучать никому не придется.

Но как не капать, если Вероника с Тарзаном поменяли выходную одежду на повседневную, намереваясь устроить для всей страны веселенькую ночку? Кажется, слова Вероники не расходятся с делом: халатик запахнут небрежно — дерни за пояс, и такое откроется взгляду! Кочегар, вероятно, одним из первых то осознал, а уж кому, как ни ему не знать, какое очарование скрывается за расшитой золотом аппликацией в виде жар-птицы. Ох, и дадут жару эти плотоядные! Животные? Но разве Вероника с Тарзаном на людей не похожи? Да, но какую цель они преследуют намечающейся акцией, вернее сказать, актом? Раздеть страну донага, дабы она превратилась в один огромный бордель! Кажется, плотоядные опоздали — за них это сделали

другие. Тогда в чем суть столь смелого эксперимента? Да в том, что, оставшись в костюмах Адама и Евы, они заручатся надежным алиби, поскольку каждый житель страны со стопроцентной уверенностью подтвердит, что никаких поясов шакалов на телах плотоядных не было групповухи, так что не стоит впутывать сюда какого-то там «красноярца». Да, но коль уж эта сладкая парочка такая чистенькая, сидела бы себе дома, наблюдая за «фабричным» процессом по телевизору. Вероятно, все-таки без чистящего средства здесь не обойтись и, с позволения сказать, надежное алиби им явно не помешает. Значит, плотоядные в курсе того, что должно произойти в студии? Тогда встречный вопрос: а для чего они здесь?

— Миленку нравятся распушенные девочки? — Баба кровь с молоком выказала более чем явное неудовлетворение тем, на кого устремлен взгляд ее соседа. — Конечно, та кошечка довольно пушиста, но, судя по возрасту, уж шибко неопытна, — она поддела пальцем подбородок, корректируя Мастеру угол его зрения, — мой же любовный стаж таков, что еще никто не упрекнул меня в нерасторопности.

Трудно утверждать, что подразумевалось под пушистостью, но если, в сколь завуалированной, в столь и поэтичной форме, Баба высказалась о женской груди, то здесь не в меру упитанной дамочке нет равных. Действительно, такие «мячи», как у нее, настоящая находка для начинающих пловцов: обхватил обеими руками и колоти ногами по воде, сколько душе угодно. В жизни не утонешь!

— Эй, чего это ты от меня отвернулся? — Прозрачная схватила «Мастера» за ухо и резким движением развернула его голову. — И не скули, как собачонка, все равно не прощу!

— А чего на тебя смотреть-то? — зло отреагировал «Мастер», ощупывая вспыхнувшее от боли ухо. — На тебе абсолютно нет никакой пушистости.

— Как это нет? — возмутилась Прозрачная, по всей видимости, не имея в виду свою до убогого не развитую грудь. — Честное слово, есть!

— Ну, коли и есть какая-никакая пушистость, — «Мастер» несколько смягчил свою позицию, опасаясь нанести собеседнице душевную травму, — то ее кот заплакал.

— Да у меня пушистости наверняка больше, чем у этой линиялой кошки, — Прозрачная с усмешкой посмотрела на Бабу кровь с молоком, и стало окончательно ясно, что представление о пушистости у них совершенно не совпадает.

— И то верно, миленок, чего пялиться на эту драную кошку? — в отличие от Прозрачной, Баба куда более нежно обошлась с многострадальным ухом, только слегка переполнив его раковину горячим дыханием, — в телескоп не разглядеть ее пушистости.

— Чего ты мне все это шепчешь? — «Мастер» с укором взглянул на Бабу. — Вот и скажи ей это в лицо. Впрочем, ты права: лучше после эфира высказать о человеке все, что о нем думаешь. А то ведь неровен час, вцепитесь друг другу в волосы.

— За любовь надо сражаться, — все так же горячо выдохнула Баба, стараясь, однако, чтобы о том не прослышала соперница.

— Зачем снимать скальп, если у тебя и без того поклонников хоть отбавляй? — «Мастер» указал взглядом на длинноволосого усача, которого совсем недавно повстречал у лифта. — Этот панк с твоей пушистости глаз не отрывает.

— Откуда знаешь, что не отрывает? — не без сарказма произнесла Баба, однако весьма решительным жестом придала своим скисшим грудям сомнительную свежесть, — ведь за темными очками не понять, кого этот панк раздевает своим ясным взором.

— Я, значит, не знаю, а ты совершенно уверена, что очи у панка ясные? И как тебе только удалось разглядеть глаза за темными стеклами?

— А тут и разглядывать ничего не надо. Если панк большой фантазер, то, как и у

всякого бабника, в его блудливых зенках время от времени вспыхивает пламя желаний, высвечивающее даже самые затемненные уголки глазного яблока. Теперь понятно, отчего ясные?

— Рассуждения выстроены грамотно, однако заслуживают более тщательного анализа, и в этой связи вношу предложение заглянуть за ширму очков, дабы окончательно расставить все точки над «и».

«Мастеру» вдруг привиделось, что тот самый панк является если и не добрым, то не таким уж и злым его знакомым. Однако хотелось бы полностью развеять все сомнения, а коль скоро объем легких у Бабы кровь с молоком не шел ни в какое сравнение с физиологическими возможностями «Мастера», ей и карты в руки!

— Миленок хочет, чтобы я побила панку все стекла?

— Зачем же хулиганить, если можно просто помочь ему снять очки?

— А почему должна я помогать, а не ты?

— Но ведь не я завел речь о ясном зоре. Короче, вдохни как можно глубже и выдохни так, чтобы от сомнений и пылинки не осталось.

— Нашел горничную с пылью возиться,— явно обиделась Баба,— я привыкла, когда не я, а с меня сдувают пылинки.

— Но ведь надо и самой хоть иногда отвечать добром на добро.

— И отвечаю! Знаешь, как отвечаю, знаешь?

— Вот и покажи на примере с панком,— «Мастер» жестко предупредил стремления Бабы, пожелавшей возобновить более тесные отношения.

— Говорю же, я не какая-то там распушенная горничная, хотя и питаю к мужикам определенное уважение. Однако пора закругляться с пылью, иначе так вспылю, по гроб жизни не отхаркаешься!

Впрочем, вспылить могла и Прозрачная, и «Мастер» поступил весьма осмотрительно, скосив по глазу на каждую из девонек, чему, казалось, обрадовались не только заинтересованные лица, но и панк, который вполне мог испытывать некие симпатии к всякого рода станциям — как к спасательным типа «Второго дыхания», так и к станциям по переливанию крови. Получается, панк может быть донором? И с большой буквы!

Внезапное озарение едва не наложило свой черный отпечаток на всю дальнейшую судьбу «Мастера», ибо потрясение оказалось столь велико, что глаза в буквальном смысле заклинило. А коль скоро они «разбежались» по разным направлениям, не сложно представить, как отразилось бы на всем облике их стремление затеять некую игру с детскими заморочками типа: «Замри!» Неимоверным усилием воли «Мастер» сдвинул глаза с мертвых точек, благодаря чему панк угодил под пристальный надзор. Теперь ему станет не до донорских замашек! Но отныне значительно снизился контроль над остальными потенциальными донорами, а Зануда так тот вообще выпал из поля зрения. А ведь, помимо всего прочего, есть плотоядные, за которыми также нужен глаз да глаз. А девоньки? Они ведь тоже нуждаются во внимании! Да и сами «фабриканты» обожают, когда на них пялятся. Все это очень хорошо, но где взять столько глаз, чтобы угадать любому и каждому?

— Каков бычок, а? — с восхищением выдохнула Баба кровь с молоком, и было не совсем понятно, кого она имела в виду.

— Он больше похож на коня,— «Мастер» устремил на Бабу левый глаз,— самый настоящий жеребец!

— Сам ты жеребец, хотя ничего плохого я в том не нахожу! Но будем объективны до конца: перед нами самый настоящий бычок или телок, в чем лично я не нахожу принципиальной разницы.

— Да какой же это бычок, и тем белее телок?! Смотри грива какая! Однозначно жеребец или на худей конец мерин, в чем лично я не нахожу принципиальной разницы.

— Не попугайничай, не находит он, видите ли, принципиальной разницы! А между тем, у мерина в отличие от жеребца, даже худого конца нет: кастрат он, понимаешь, самый настоящий кастрат!

— Чего смотришь на меня такими страдальческими глазами, будто я и есть тот самый мерин? Скажу по секрету: я еще жеребец.

— Уф, отлегло от сердца! — Баба положила руки на левую грудь, выходя из предынфарктного состояния.— И, тем не менее, никакая стрессовая ситуация не заставит нас забыть об объективности: бычок это,— и кольцо в носу не дает в том усомниться ни на мгновение!

По крайней мере, теперь понятно, на чью морду распространяется бабье восхищение. В общем, гривастый панк может пока отдыхать, а вот Владу придется поикать!

— Кажется, этот телок, рано возомнил себя быком.

— Миленка не должно смущать кольцо в носопырке моего кумира. Не успеешь моргнуть, как телок превратится в быка, и лучше заблаговременно позаботиться о его усмирении.

— Значит, усмирение все-таки произойдет? — насторожился «Мастер», сознавая то, что никто не скажет открытым текстом о трагической неизбежности, грозившей Владу.— Чего притихла, произойдет?

— Да если его не усмирить, со временем этот производитель всю женскую часть стада затерроризирует, хотя лично я ничего плохого в том не нахожу.

— Остается радоваться, что усмирение произойдет в будущем,— не очень весело улыбнулся «Мастер»,— но могут найтись такие, кто не захочет ждать — он пробежал взглядом по головам потенциальных доноров, каждый из которых казался до чертиков нетерпеливым.

— А я болела за Михаила,— тяжело вздохнула Прозрачная, словно увидеть своего кумира, было уже не суждено,— он такой подвижный, а как владеет телом, особенно нижней его частью!

— Да тому производителю хоть кольцо от гранаты в ноздри — все равно держаться не перестанет,— язвительно заметила Баба кровь с молоком, подозревая соперницу в развращении малолетних,— нижней частью его обучили классно работать.

— А почему о Михаиле говорим в прошедшем времени? — «Мастер» направил на Прозрачную оба глаза, чем вызвал у Бабы прилив ревности.— Почему болела, а не болею?

— Но ведь среди «фабрикантов» его нет,— Прозрачная указала рукой на эстрадную площадку, на которой действительно давно не появлялся Кукольник.

— А где Мишка, где? — в запальчивости «Мастер» едва не схватил дамочку за грудки.

— Откуда я знаю, где! Возможно, заболел...

— Триппером,— рассмеялась Баба, но, поймав на себе жесткий взгляд, значительно поубавила в веселости,— я не тебя обвиняю в распространении венерической заразы, а ту чернушку, что слишком уж бойко терлась своими бедрами о Мишкины бедра.

— Есть подозрения, что темнокожая солистка, в простонародье чернушка, отправила Мишку Кукольника на тат свет? — «Мастера» придал взгляду противоположное направление

— Чего миленок на меня вылупился, будто я и есть та самая Чернушка? — не на шутку перепугалась Баба.— Видишь, какая я вся беленькая, словно из снега слепленная!

— Хорош, косить под Снегурочку — где Кукольник? Отвечай же!

— Ты что, снега объелся? Откуда я знаю, где твой Кукольник?

— Ладно, я готов поверить, что ты Снегурочка, но только при условии сдачи конспиративной квартиры.

— Да мало в городе сдается квартир, зачем тебе обязательно понадобилась какая-то конспиративная?

— Не какая-то, а та, что снимает твоя Чернушка.

— Миленок не только снега объелся, но и мухоморов с поганками! Чернушка во-все не моя, а Ямайкина. Государство, оказывается, есть такое, «Бони М» прямиком оттуда.

— Впервые встречаю, чтобы так далеко пускали следствие по ложному пути — аж на Ямайку!

— Какое еще следствие?

— Независимое,— «Мастер» не очень убедительно постарался выйти из весьма шекотливой ситуации, в какой оказался по собственной же неосмотрительности.

— Миленок сыщик?

— Полярник я...— проямлил «Мастер», поймав на себе грозный взгляд.

— Для Полярников жаркие страны интереса не представляют.

— Чего ты на меня вылупилась, будто я и есть та самая Чернушка?— верно, от испуга «Мастер» заговорил так, как и Баба, чей страх уступил место наглости, в которой она, впрочем, никогда не испытывала недостатка.

— Ну, про Снегурочку мы уже слышали, и не надо прятать свою истинную рожу за белы рученьки. Где Кукольник? Отвечай же!

— Опилок, что ли, объелась? Я у тебя хочу спросить о том же.

— Ладушки, я готова поверить, что ты Снегурочка, но при условии...

Впрочем, свои условия Баба не успела выдвинуть, поскольку ее горячо обожаемый бычок довольно протяжно замычал в микрофон, вызывая у отдельной части публики ностальгические воспоминания по давно прошедшей юности.

— Как поет, сорванец, как поет!— глотая слезы, завопила Баба,— все потроха выворачивает.

— Да чем тут выворачивать: «Три татушки, три тага?» — не без напряжения усмехнулся «Мастер», поскольку именно сейчас «Донор» должен дать о себе знать, и далеко не лучшим образом.— Хоть в пляс пускайся!

— Какой же ты все-таки бесчувственный, Полярник! — завывла в голос Баба, прибавляя хлопот звукооператорам,— каменные у тебя потроха, каменные!

Вой усилился, и «Мастера» вдруг осенило: а не сигнал ли это к решительным действиям? Нет, «Донор» представлен в единственном числе, но ведь у него могут и должны быть сообщники. «Мастер» покосился на Бабу кровь с молоком, от воя которой закладывало уши. Кажется, один из сообщников уже объявился! «Мастер» ско-сил правый глаз на Прозрачную: только бы и она не вздумала сигналить, а то ведь барабанные перепонки полопаются. В общем, «Мастер» исключил девонек из числа явных претендентов на донорское кресло, решив, что их задницам и на табуретках будет не жестко. Особенно это относится к Бабе, и объяснения здесь совершенно излишни! Впрочем, сейчас не время раздавать места согласно не купленным билетам, ибо список явных претендентов еще достаточно представительен, и шариковой ручке скучать уж точно не придется. Кого вычеркнуть в первую очередь? Пожалуй, Зануду: этому бы только языком молоть, а на большее он не способен. Кто там у нас след-дующим номером? Кочегар? Что там у него блестит в руках? Нож? Не похоже. Да эта же ручка, и ни какая-нибудь шариковая, а с пером позолоченным! Короче, Кочегар сам, кого захочешь, вычеркнет! А что блестит в руках Панка? В руках ничего, а вот во рту... Но что может блестеть во рту? Да уж не секира! А что же, что?! Фикса, яс-ное дело! Видать, зубастый этот Панк, и за донорское кресло горло любому перегры-зет. Остаются Плотоядные. Э, да они всем своим видом показывают, что уже сейчас

готовы поменять свои кресла на более мягкие. Для чего же они тогда встали? Для реализации своих аморальных планов! Вон и пояс на халате Вероники ослаб, дальше некуда. А Тарзан, так тот вообще по пояс голый. И это еще далек не предел их беспредельной распушенности! Влад, кажется, ни о чем даже не подозревает: мычит себе в микрофон, нагоняя на Бабу тоску зеленую. Настала пора раскрыть ему глаза!

— Не делай глупостей, Полярник,— Прозрачная схватила «Мастер» за руку, верно оценив служившуюся ситуацию,— мало тебе прошлой «Фабрики»?

— Вот ты и раскололась! — «Мастер» попытался освободить свою руку,— на одну лапу с «Донором» играешь?

— Заговариваешься? Да ты со своим сдвигом столько дров наломаешь? — Прозрачная еще сильнее сдавила руку соседа, чьи попытки к освобождению оказались вдруг несостоятельными.

— Полагаешь, твой донор сейчас перешит Влада? — «Мастеру» только и осталось, что глупо улыбаться,— а вот это видела? — он скрутил фигу на «арестованной» руке, демонстрируя фантастическую тягу к свободе.— Сейчас вон те Плотоядные — следи, куда указывает большой палец на фигуре. Да, да, те самые Плотоядные устроят на сцене такое, отчего вся страна ночь спать не будет.

— Чего же такого можно устроить, что заставит людей не сомкнуть глаз? Террористический акт?

— Не террористический, а половой! Страна придет в такое возбуждение, что на целую ночь превратится в гигантский бордель.

— Лишь бы в гигантское кладбище не превратилась...

— Ты что-то не договариваешь? — «Мастер» устремил на Прозрачную пронзительный взгляд.— Родина в опасности?!

Недаром говорят, что в момент наивысшего эмоционального подъема человеческий потенциал мало чем уступает потенциалу слона. Впрочем, говорят, что и блох доят, однако любая сплетня зарождается не в чистом поле, стало быть, совсем не обязательно затыкать уши ватой. К тому же, на отдельных примерах приходится убеждаться в том, что эволюционный процесс не только не затормозился, но и набирает обороты, и не за горами час, когда человек достигнет могущества слона. Достаточно проследить за «Мастером», чтобы ответить положительно на вышестоящий вопрос.

— Ой, мамочки! — заверещала Баба кровь с молоком, увидев в руке «Мастера» подлокотник кресла,— этот бешеный мамонт собирается наступать мне по башке! Вызовите немедленно «Службу спасения».

— Остановите Плотоядных! — в свою очередь заверещал «Мастер», указывая подлокотником на устремившуюся к сцене сладкую парочку.— Во имя спасения Родины, остановите!

Но, кажется, предупреждение явно запоздало, поскольку Плотоядные быстро освободились от одежды, и Тарзан жадно притянул к себе Веронику.

— Как они дополняют друг друга! — с завистью произнесла Прозрачная,— хочется верить, что этот танец любви никогда не кончится.

— Кончится, если плотоядные скинут с себя нижнее белье,— заключила Баба,— в таком юном возрасте соитие длится не более трех минут.

— Но разве они не нагишом? — «Мастер», до рези в глазах всмотрелся в танцующих.

— Нагишом? — рассмеялась Баба,— Плотоядные слишком юны, чтобы не комплексовать перед телекамерами.

— Но, кажется, они вовсе не комплексуют!

— Значит, фокус удался.

— Какой еще фокус? — «Мастер» вновь начал заводиться, и Баба снова ощутила угрозу собственной голове:

— Да погоди размахивать деревяшкой — сейчас прозреешь! Слышь, о чем поет Бычок? О том, что на закате дня распутная парочка не спешит покидать обласканный солнцем морской песочек. Было бы смешно, если бы изнывающие от желания страдальцы катались по песку в спальных пижамах, но смех усилился бы до гомерического, опустились они до голой правды. Плотоядные сымитировали наготу, надев белье под цвет тела. Неужели Полярник не видит, что у самца ничего не болтается?

— Мне интересней наблюдать за самкой, — огрызнулся «Мастер», недовольный тем, что Вероника провела его, как какого-нибудь сопливого юнца.

Впрочем, было бы гораздо хуже, окажись она честной «давалкой», и на глазах у многомиллионной аудитории продемонстрировала бы свои профессиональные качества. Во всяком случае, за судьбу страны теперь можно не беспокоиться. Впрочем, чувство тревоги не позволяет вернуть подлокотник на прежнее место: не чересчур ли многосторонне развиты эти далеко не юные, но такие молодые люди? Тарзан, к примеру, и спасатель, и парашютист и танцор... А Вероника? Она благодаря своим длинным ногам ушла так далеко, что многие тонкости не видны со столь приличного расстояния. Если проводить аналогии с бельем, которое под цвет тела, то душа Вероники представляется облаченной в маскировочный халат, что равнозначно тайны за семью печатями.

— Полярник, — вкрадчиво произнесла Баба кровь с молоком, прикрывая голову руками, — ты собираешься чинить свое кресло?

— Вот тебе не менее актуальный вопрос: ты уверена, что Владу позволят допеть свои частушки?

— Конечно, позволят, — Баба постаралась казаться как можно убедительней, в противном случае вероятность схлопотать по башке резко возростала, — а что думает соседка справа?

— Да тресни ты ей по «чайнику», — порекомендовала Прозрачная, косясь на Бабу.

— Это надо понимать как вынесение бычку по кличке Влад смертного приговора? — «Мастер» занес подлокотник над бабьей головой, из чего можно было предположить, что приведение приговора в исполнение чревато судебной ошибкой.

— А судьи кто?! — завопила Баба, втягивая голову в плечи, словно из засады наблюдая за врагом, имя которому — Прозрачная, — я повторяю риторический вопрос, а судьи кто?

— Мочи без суда и следствия, — шепнула «Мастеру» Прозрачная, усиливая подстрекательскую политику.

— Пока я буду мочить одного из сподвижников «Донора», этот, с позволения сказать, альтруист замочит Влада-бычка, даже не позволив тому домычать свою серенаду в два прихлопа — три притопа. Разве не может быть «Донором» уже хорошо нам известный Панк? Или Кочегар, тщетно скрывающий свое волнение за сизой стружкой сигары? А Плотоядные? Это только на взгляд обывателя они до потери совести увлечены друг дружкой. На самом деле их мысли прочно зацепились за кольцо, оттягивая ноздри Влада.

— И вправду оттягивают, — согласилась с «Мастером» Баба, стараясь любыми путями отвести угрозу от собственной головы, — может, разогнать этих акробатов посредством господина «демократизатора»? — она не без внутреннего содрогания посмотрела на подлокотник, уже успевший стать для нее чем-то вроде империи зла.

— Да чтобы я повернул дубину против собственного народа? — в порыве гнева «Мастер» едва не опустил подлокотник на голову подстрекательницы, почему-то не считая ее частью — и такой внушительной! — нации.

— Ой, батюшки, что же это делается?! — Баба проделала с головой то же самое, что и черепаха в момент опасности, и «Мастеру» небезосновательно померещилось, что это он стал причиной столь ярко выраженного уродства, свалившегося на соседку слева, — пришла расслабиться душой и телом, а тут все нагружают и нагружают!

«Мастер» попытался вытянуть за волосы терпящую бедствие голову, чем только еще больше осложнил обстановку.

— Ой, матушки-батюшки! — каким-то внутренним голосом зашла Баба.— Да он мне вся прическу испортит! А ведь над ней колдовал сам Зайцев!

— Зайцев у нас все больше туловище оформляет, а на прическах специализируется Волков,— как бы между делом заметил «Мастер», проявляя незаурядное усердие.

И тут случилось невероятное: прическа осталась в его руках! Нет, речь не идет о каком-то там пучке — целый скальп неприятно холодил пальцы. Но самое трагичное состояло в том, что голова еще глубже засела в туловище. По логике вещей Баба от боли должна была взвыть так, что во всех без исключения домах погасли бы телеэкраны, однако ничего подобного не произошло. Мало того, она стала не только ниже травы, что, в общем, вполне объяснимо, но и тише воды, что совершенно не укладывалось в голове. «Мастера», ясное дело! В чем же причина столь упорного молчания? Неужели Баба испустила дух? Но тогда бы из ее уст вырвалось проклятие типа: «Я достану тебя, Полярник, и в условиях вечной мерзлоты. До встречи на том свете!» Нет, болевой шок не являлся причиной скоропостижной кончины Бабы, которая, судя по сияющей макушке, и на этом свете чувствует себя вполне сносно. Да, но макушка не улыбка, и здесь уже вряд ли возможно получить объективное представление о настроении известного персонажа. Сияющая улыбка, понятное дело, сразу бросается в глаза, что наводит на мысль о неискренности, и тут уже встает вопрос об объективности, четкой формулы которой в природе пока еще не существует. Ну а макушка никогда не выставляет себя напоказ, сияя тихо и безмятежно, что никого не может оставить равнодушным, заставляя проникнуться к себе самыми искренними чувствами.

— Эй, голова два уха,— складывалось впечатление, будто «Мастер» обращался к Бабе, но, вернее всего его вопрос адресовался конкретной части ее тела,— ты чего не кричишь или хотя бы не возмущаешься и даже не посылаешь на три буквы?

— Коли дело было только в тебе, то послала бы и на большее количество букв, а так не хочу привлекать к себе внимание. Впрочем, надень на меня мой парик, и я выдам весь алфавит вплоть до обратного порядка.

Значит, это парик, а не скальп! Уф, отлегло от сердца! Получается, голова залегла от стыда? То-то макушка светится, как предзакатное солнышко! А кто бы не покраснел, если бы с него вдруг сняли штаны? Да, но речь-то идет о верхней части тела, а не о нижней! Конечно, о верхней, но разве парик не штаны для головы?

— Полярник, ты не забыл, о чем я просила?

— Нашла дурью башку украшать тебя,— «Мастер» сунул парик себе за пазуху,— а потом за все хорошее меня же еще и пошлют во всю длину алфавита.

— В ширину,— обнадежила голова, но «Мастер» этого, не оценил.

— Хрен редьки не слаще.

— Да ты, сдастся, никогда не пробовал редьки! Верни мне парик, и я приготовлю такое блюдо — за уши не оттянешь!

— Я сейчас одержим лечебным голоданием,— «Мастер» с шумом проглотил слюну, представив подрумяненные до золотистой корочки свиные ножки.

— Смотри, пожалеешь!

— А ведь я действительно смотри не туда! — «Мастер» по-своему расценил данное предупреждение, переведя взгляд на эстрадную площадку, где лежал Влад, широко раскинув руки

Уж не на эту ли ширину намекала Баба кровь с молоком? С криком: «Прости, недоглядел!» — «Мастер» устремился к неподвижному телу.

* * *

— Проклятье, большая часть жизни разбазарена по мелочам,— «Мастер» стер холодный пот с висков,— неужели меня будут снимать в самом настоящем кино?

— Режиссеры такого уровня словами не разбрасываются,— Прозрачная обласкала «Мастера» подобострастным взглядом, и пока еще не состоявшийся актер ощутил себя звездой первой величины.

— Михайловский знает цену талантам, и все же во всем этом есть нечто мистическое.

— Да, мой кроличек, попугай вытянул для тебя счастливый билет.

— Какой еще попугай?

— Ну, ара или жако, а, может, просто волнистый. Их еще называют Прошами или Петрушами, и они тянут клювами билеты из барабана.

— Только не надо делать из меня петрушку? И что значит просто волнистый? Мне подавай самого дорогого и престижного, и чтобы перья были, как у жар-птицы,— «Мастер» быстро стал зазнаваться,— и дело тут вовсе не в билете, а во врожденном даре,— он не совсем вежливо отстранился от липнувшей к нему Прозрачной,— всего одна фраза, понимаешь ты хоть это, голова садовая, всего одна-единешенька убедила всемирно-известного режиссера в моем высоком предназначении.

— Иная фраза стоит больше иных главных ролей,— подобным изречением Прозрачная попыталась опровергнуть сложившееся о ней впечатление как о недалеком человеке,— мой кроличек действительно был великолепен, а я, признаться, до последнего полагала, что он малость шизанутый.

— Думаешь хоть, что говоришь? — «Мастер» в который уже раз небрежно сработал плечом, и Прозрачная отступила на пару шагов,— шизанутый... Да чтобы так гениально воспроизвести: «Прости, недоглядел!»,— знаешь, сколько здравого рассудка надо иметь?

«Мастер» шумно высморкался, скрывая смущение. Действительно, разве тогда он мог предположить, что неадекватное поведение Влада есть всего лишь реализация художественного замысла, расширенного и углубленного (все больше вкось) неловко брошенной то ли репликой, то ли фразой, ставшей вдруг поистине сакраментальной. «Прости, недоглядел!» А ведь действительно что-то такое здесь есть! Впрочем, более углубленный анализ этой то ли фразы, то ли реплики еще только предстоит дать, и тут уже слово за специалистами широкого профиля. Что же касается «фабричных» дел, то и здесь также полно всяких тонкостей. Как оказалось, песня Влада заканчивалась так: «Прощай, мой милый друг, вот веревка, а вот сук». Дальше последовала инсценировка собственной смерти, весть о которой растеклась по студии гробовой тишиной. Театр, да и только! И тут случилось громогласное рождение все той же сакраментальной реплики-фразы, заставившей публику вспомнить о носовых платках. Когда же «Мастер» упал на якобы бездыханное тело, в стенаниях зашлась уже вся страна. Коню понятно, что от подобного дарования не отказался бы любой маломальски разбирающийся в кинопроизводстве режиссер. Вот и Михайловский не обошел вниманием, в сущности, готового актера, можно сказать, раскрученного на всю страну и ближнее зарубежье. Еще неизвестно, кто вытянул счастливый билет!

— Я готова следовать за своим кроличекком куда угодно, даже в ссылку.

— Ты полагаешь, меня направят сниматься на Новосибирскую киностудию? — «Мастер» без энтузиазма воспринял откровения своей новой знакомой.

— Как будто иных ссыльных мест нету! Чем, к примеру, плох Голливуд?

— Действительно, чем плох? — оживился «Мастер», видя себя в первых рядах на вручении премии «Оскар». — Я уже сейчас готов позволить заковать себя в кандалы!

— Сейчас в моде другие цепи, золотые, но тоже весьма массивные. Мой кроли-

чек будет носить на груди килограмма три драгоценного металла, а если ему сделается вдруг, я готова подставить свою шею.

— Какие же бабы корыстные! Я имею в виду не Кровь с молоком, а вполне определенную бабу,— «Мастер» с осуждением посмотрел на Прозрачную, и та, судя по идиотскому выражению лица, мало чего поняла, если не сказать большего.

— Я готова оплатить свой перелет в Голливуд — она часто захлопала рыжими ресницами, собираясь произвести на лице влажную уборку.

— Слезами меня не разжалобить,— предупредил «Мастер» Прозрачную,— и вообще, знаешь, сколько у меня будет таких, как ты? Целый рой и еще маленький муравейник!

— Такой верной во всем белом свете не сыщешь,— Прозрачная все же приступила к влажной уборке, к неудовольствию «Мастера» используя его сорочку,— я стану стирать твои рубашки и полоскать их в проруби.

— Для чего в проруби?

— Для придания свежести.

— Охота руки морозить! Для свежести существует масса средств типа «Гольфстрима».

— Я стану гладить твои волосы, и они приобретут шелковистость травы-муравы.

— Для придания шелковистости волосам существует масса шампуней типа «Яичного желтка»,— огрызнулся «Мастер», которому не глянулось сравнение с травой-муравой.

— Тогда я стану завязывать шнурки на твоих ботинках.

— Я предпочитаю даже по снегу ходить босиком,— солгал «Мастер» не очень удачно, торопясь спрятать ноги под скамью.

— Тогда я стану сдувать с тебя пыль!

— Для борьбы с подобной заразой существует пылесосы типа «Порывистого ветерка».

— Тогда... тогда я стану кормить тебя с ложечки. Вот!

— Может, начнем прямо сейчас? — неожиданно для самого себя сдался «Мастер», чему, конечно же, нашлось объяснение: в животе урчало так, что жители нижних этажей могли испытывать серьезные затруднения со сном.

— Мой кроличек хочет, чтобы я пригласила его на чашечку чая с молоком?

— А кроме молока, у тебя в холодильнике больше ничего нет?

— Бутербродное масло есть.

— И все?

— А чего еще надо?!

— Да нет, ты меня не совсем верно поняла: студень — это уж слишком, и я не хочу злоупотреблять твоим гостеприимством, однако от тарелки наваристых шей не отказался бы вопреки собственной совести, призывающей к скромности,— «Мастер» хлопнул по своему животу, выказав ему недоверие,— да закончишь ты когда-нибудь со своими нравами?

— Скажи своей совести, чтобы она особенно не возмущалась: шей у меня нет.

— А чем же ты собираешься меня кормить? Манной кашей?

— Не ведь с ложечки не очень удобно давать курную ножку!

«Мастер» не совсем нежно посмотрел на Прозрачную: теперь ясно, отчего она такая худая. Впрочем, это не самое страшное, ибо, по ее же собственному признанию, она не раз и не два состояла как в законных, так и в гражданских браках, и вполне вероятно, что своих благоверных любительница молочной диеты уморила с голоду.

— А ведь ты права: ужинать уже слишком поздно, а завтракать слишком рано,— «Мастер» встал со скамьи, намереваясь расстаться с прилипчивой дамой, которая, как оказалось, проживала в паре шагах от телецентра.

— Мой кроличек превратно меня понял: я не отказываю ему в куске сыра, но ведь и во мне бурлит совесть,— Прозрачная повисла на руке «Мастера», принуждая его занять исходное положение.

— Кажется, нравоучением здесь не пахнет,— «Мастер», припав ухом к животу своей собеседницы, не уловил урчания, сигнализирующего об отсутствии пищи.

— Я имею в виду не ту совесть, что залегла на дне пищеварительной системы, а ту, что залегла вот тут,— Прозрачная приложила руку к левой груди, что подвигло «Мастера» к легкой иронии:

— Так у тебя там ничего нет: сплошная равнина! А ведь надо не только залечь, но и окопаться.

— Может, и хорошо, что сердца не видно,— Прозрачная несколько прояснила ситуацию,— иначе кроличек наложил бы на себя руки, осознав, до какого состояния он его довел.

— Любопытно, до какого? — усмешка «Мастера» приобрела еще большую кривизну.

— Мое бедное сердце стало подобием высохшей груши.

— Из-за этого руки на себя накладывать? Нашла дурака!

— Но ведь мое бедное сердце сохнет по тебе, мой пушистый кроличек.

— У тебя этих пушистых было столько, что всем жителям крайнего севера шапки пошить можно, а на меня, значит, все шишки?

«Мастер» попытался скинуть с руки назойливую поклонницу, но та явно не желала расставаться.

— Но я действительно не могу пойти наперекор собственной совести, этого единственного поставщика жидких ресурсов, худо-бедно, а питающего мою буасье.

«Мастер» с подозрением посмотрел на собеседницу — заговаривается, ох, как заговаривается!

— Буасье — сорт груши,— пояснила Прозрачная, отметив в глазах «Мастера» недоумение, а коль скоро оно не ослабевало, продолжила расшифровку,— а груша — мое сердце, которое, если не подпитывать, превратится в самый настоящий сухарь.

— Ты хочешь, чтобы я стал твоим личным садовником и регулярно поливал буасье из медной лейки?

— Мой кроличек прирожденный актер, и я не имею морального права закапывать его талант в недрах собственного приусадебного участка. Всю эту садово-огородническую деятельность я развернула с одной единственной целью: ненавязчиво, но доступно донести до кроличека безрадостную весть о невозможности нашего совместного чаепития. Ну, право же, что обо мне подумают соседи, если уже в первый вечер нашего с тобой знакомства я накрою стол на двоих?

— Такие совестливые мне шибко симпатичны — «Мастер» возрадовался случаю поставить, наконец, точку в их, к счастью, непродолжительных отношениях, в то же время прекрасно сознавая, что разведение Прозрачной пушнины достигло таких масштабов, что соседи на все уже махнули рукой.

— Тогда до завтра,— сдавленным голосом откликнулась Прозрачная, и «Мастер» не без сожаления отметил, что ставить точку еще слишком рано,— единственное, что я могу сегодня позволить кроличеку, так это легкий поцелуй.

Накрыть стол ей, видите ли, совесть не позволяет, а вести себя, как развратная школьница, так завсегда пожалуйста! Однако озвучить свои мысли Мастер не решился и, выпятив губы, чмокнул впалую щеку, немало удивив ее обладательницу.

— Но так в кино не целуются! Боже правый, неужели за маской таланта скрывается самая настоящая посредственность? Сейчас же, слышишь, кроличек, в сию же секунду опровергни мои подозрения!

Прозрачная не стала дожидаться, когда к «Мастеру» придет вдохновение, взяв инициативу в свои губы.

— Гениально! — выдохнула она, наконец оставив в покое губы пока еще не состоявшегося актера.— Но это вовсе не означает, будто кроличек станет играть героев-любовников. Я очень ревнива!

— Надеюсь, больше ничего опровергать не надо? Бай-бай, крошка!

— Постой,— Прозрачная бросилась на шею «Мастера»,— ты попрощался так, словно нам уже не суждено больше свидеться.

— Да отвянь ты, буасье несчастная — нормально я попрощался!

— Не нормально, не нормально! — захныкала Прозрачная, решив продолжить влажную уборку.— Мой кроличек даже не назначил час свидания.

— Я думал, ты сама назначишь тот час, а я не заставлю себя ждать.

— Я-то могу назначить, да только как ты о том часе узнал бы?

— А интуиция на что? Шестое чувство, спрашиваю, на что?

— Даже если ты слишком чувствительный, как нашел бы место нашего будущего свидания?

— А чего его искать, если место это под твоей задницей? — «Мастер» оттолкнул Прозрачную, и она шлепнулась на скамью.

— Честно говоря, я собиралась превратить эту лавку в место постоянных свиданий, где мы могли бы спокойно судачить о новинках кинопроката, о твоих совместных работах с Леонардо ди Каприо и Пьером Ришаром, о наших поездках на Венецианский кинофестиваль и тусовках в Доме актера...

— Судя по всему, свидания на скамье затянутся на неопределенное время...

— У соседей не будет повода думать обо мне, как о какой-то там шлюшке с васьиной опухшей губой,— отметилась стихотворной строкой Прозрачная, не уловив иронии в голосе «Мастера».

— Утром мы носы этим сплетникам, утром! — выбрал тот весьма оригинальную форму прощания, дабы Прозрачная вновь не решила, будто им не суждено больше свидеться.

— И все же уходишь?— обреченно выдохнула та.

— А разве ни к этому все шло? — Мастер хотел было ускорить шаг, но Прозрачная решительно встала на его пути.

— Может, не стоит обращать внимание на сопляков?

— На каких сопляков? — «Мастер» завертел головой в поисках ребятишек, наблюдавших из укрытия за поцелуем далеко уже не юной парочки, ожидая услышать нетленное: «Тили-тили тесто, жених и невеста!» — время-то далеко за полночь, так что вся мелкота видит десятые сны.

— Я вижу, как на четвертом этаже дернулась штора, так что сны — это иллюзия, убаюкивающая наше внимание. К тому же, сплетники вообще не смыкают глаз!

— Вот ты про каких сопляков! Ну да, именно сплетникам мы собирались утереть носы.

— Я и говорю, может, не стоит обращать на них внимание? Начнем утирать сонливые носы — перепачкаемся как суки последние.

— Буасье хочет накрыть стол на двоих?

— Прикажешь ждать, пока молоко скиснет?

— Значит, мне все-таки перепадет чай по-английски? А как же совесть?

— С совестью, действительно, могут возникнуть проблемы,— нахмурила брови Прозрачная, однако уже спустя мгновение они устремились в разлет,— но не оставлять же человека голодным?!

Сострадательная дамочка так дернула «Мастера» за руку, что он едва не сделался инвалидом.

— На каком этаже ты живешь?— задал он отнюдь не праздный вопрос, оказывая слабое противодействие.

— На девятом. Вон мое окно светится.

— А ты разве не одна живешь? — «Мастер» усилил противодействие.

— Вообще-то я человек компанейский.

— Как это понимать? — противодействие достигло своего апогея, но жилистая Прозрачная словно того не замечала.— Детишек, поди, целая куча?

— Не куча, конечно, но жаловаться не приходится.

— И они ждут, не дождутся, когда их непутевая мамаша вернется домой?— без намека на осуждение отозвался «Мастер», отлично сознавая, что дети — далеко не самый худший вариант, подкинутый злодейкой-судьбой.

— А чего им париться: с молоком никаких проблем — наелся да посапывай себе в две дырки?

«Мастером» овладели недобрые предчувствия: кто же тогда зажег свет среди ночи?

— Вероятно, суровый отец цибарит самокруткой, держа ремень наготове: вот вернется гуляющая дочка, ужо получит на орехи!

— Меня папашка пальцем никогда не трогал, царствие ему небесное.

— А ты все свои браки официально расторгнула?

— Только не надо лезть в мою личную жизнь!

— Хорошенькое дельце,— рискуя остаться инвалидом, «Мастер» довел-таки противодействие до логического конца,— мы вваливаемся к тебе домой, а там муж-амбал весь в наколках да под «газами». Не уверен, что он примет меня за своего ко-реша.

— Признаться, терпеть не могу бумажную волокиту, и со своими предыдущими кроличками расставалась без каких бы то ни было претензий. Однако не припомню, чтобы кто-нибудь из них возвращался хотя бы на одну ночь.

— Пошевели лучше мозгами,— «Мастера» не устроило невнятное объяснение, могущее стоить ему здоровья.

Прозрачная приложила руки к нижней части живота и сделала несколько непристойных движений, заставив «Мастера» нервничать.

— Я же просил пошевелить мозгами!

— В таком случае, как докопаюсь до совести, а ведь только она способна дать обстоятельный ответ, возвращался ли кто из предыдущих моих кроличков хотя бы на одну ночь.

Ну да, как же «Мастер» забыл о том, что у Прозрачной в каждой части тела есть своя буасье? Оказывается, совесть такая сложная система!

— И к какому выводу пришла твоя буасье? — «Мастер» не без содрогания покопался на залитое светом окно, опасаясь, как бы амбал не захотел посмотреть вниз.

— Буасье гораздо выше, а это,— Прозрачная возобновила непристойные движения нижней частью живота,— это манго индийское. Во всяком случае, так говорил один из моих предыдущих кроличков.

— Индийское, значит,— несколько успокоился «Мастер», перенервничавший из-за всей этой непристойности,— так вот почему ты устроила танец живота?

— Если я стану отвечать на абстрактные вопросы, упущу главное,— Прозрачная подставила руку между колен, дабы это главное не упало на землю,— отвечать по существу?

— Конечно! — «Мастер» так остро проникся чаяниями своей собеседницы, что готов был подставить обе руки, дабы не упустить главного.

— Тогда я спешу обрадовать моего нынешнего кроличка: никто из моих предыдущих не возвращался даже на один час,— Прозрачная гордо выпрямилась,— короче, совесть моя перед тобой чиста.

— Манга твоя индийская не могла ошибиться?

— Что ты! Я манге доверяю больше, чем буасье.

«Мастер» ослабил противодействие, чем с блеском воспользовалась Прозрачная, по-хозяйски затолкав его в квартиру.

— А вот и мои детишки,— без особенной радости сообщила она, устремляя взгляд на кошек, таких же дохлых, как и их непутевая мамаша,— они боятся находиться в темноте, и я никогда не выключаю свет на кухне.

— А иного потомства нет?

— Да у меня от Муси и Буси голова идет кругом, а чтобы случилось, будь еще Мусик и Бусик? Нет, матери-одиночке более двух детишек не потянуть.

— Хорошо, что не потянуть,— довольно потер руками «Мастер», чей пристальный взгляд не отметил ни горшков, ни школьных портфелей,— значит, можем расслабиться за чашкой английского чая.

— И заодно подыскать для будущей звезды псевдоним, а то Кроличек — как-то уж слишком по-домашнему.

— А чем тебя Полярник не устраивает?

— Меня-то, может, и устраивает, а вот на режиссеров с мировым именем такое убожество не произведет должного впечатления,— уверенно констатировала Прозрачная, ставя на плиту чайник,— Полярник — слишком холодно и, значит, вяло, где-то даже инертно. Псевдоним обязан нести в себе некий сгусток энергии, ну точно плевко, пущенный в глаз. Уже есть варианты?

— Я бы не хотел, чтобы мой псевдоним являлся производным от плевка,— обреченно отозвался «Мастер», присаживаясь на стул.

— Суть в энергии, а не в плевке,— Прозрачная повернула на плите ручку, и пламя не заставило себя долго ждать,— теперь, уверена, варианты посыплются, как из рога изобилия.

— Да ничего сыпаться, как будто не собирается,— «Мастер» для чего-то посмотрел себе под ноги, словно надеясь увидеть материализовавшиеся варианты.

— И таким благоволят небеса,— пробубнила себе под нос Прозрачная, тщательно скрывая иронию, и уже громко добавила,— изобилия не случится, если его ждать, сидя на стуле, и хорошо, что у кроличка есть, на кого положиться. Как ему псевдоним Желе.

«Мастеру» стоило большущего труда, чтобы не свалиться со стула.

— Желе? Я же не француз, раздери тебя комар! И самое главное, где здесь сгусток энергии?

— Желе, да будет тебе известно, студенистое кушанье из фруктовых соков, а также сливок и прочей мешанины. Студенистое — это ли не сгусток?

— А энергия где?

— Поскольку я убежденная вегетарианка, касаться мясной темы не хотела, полагая, что кроличек, как наиболее яркий представитель животного мира, сам догадается, откуда растут уши. Поясняю: из головы! Знающие люди уверяют, что самый вкусный студень из головытины.

— Опять сгусток, а где же энергия?

— В кипении!

— Я, кажется, теряю собственную голову,— простонал «Мастер», прикладывая ладонь ко лбу.

— Можешь, не трудиться: из крольчатины студень не практикуется. Впрочем, нас интересует энергия, которой при варке мясного желе вырабатывается не меньше, чем при варке стали.

— Да, но режиссеры с мировым именем не станут вникать в тонкости всей этой кухни. Для них желе — сгусток, или по-кулинарному — студенистая масса, и никакой энергией здесь не пахнет!

— Если бы те режиссеры не совали носы во все дырки, они никогда не обрели бы мировую известность. Так что, Желе, с нюхом у этой братии ноу проблем.

Кажется, с псевдонимом Прозрачная определилась окончательно и бесповоротно, что не могло не огорчать.

— Коль уж сталь и желе энергетически идентичны, не лучше ли взять псевдоним Сталин? Чего ты на меня так смотришь?

— Скажи спасибо, что только смотрю, и не вылила кипящий чайник на твою бестолковку! — Прозрачная звонко постучала по своей голове. — Или с нас недостаточно одного Сталина?

— Но тот Сталин — политик, а я — актер.

— Вот и будешь всю жизнь играть политиков!

— А что же тут плохого: начну с представителя нижнего законодательного собрания, закончу — президентом?

— Но я не хочу быстро овдоветь!

— Я что-то тебя не понимаю...

— Нет, прогреть твою бестолковку не помешает, — Прозрачная сняла с плиты чайник, и «Мастер» вскочил со стула, как ошпаренный.

Впрочем, он явно перестраховался, поскольку кипяток предназначался для заварки чая.

— А между тем, тень черной вуали коснулась моего лица вовсе не случайно: президентов стреляют даже чаще чем рябчиков.

— Если меня и продырявят, то не по-настоящему, по-киношному.

— Но энергетический посыл будет осуществлен по-настоящему и, значит, уже завтра тебя если и не продырявят, то сбросят с поезда или с Бруклинского моста.

— Господь с тобой! — испуганно перекрестился Мастер, — хорошо, буду Желе, но только побожись, что не станешь бросаться жуткими словечками.

— Если в чем стоит божиться, то в верности и любви, во всем остальном мы должны доверять друг дружке.

— Учти, я тебе доверяю.

— Да и я, кажется, приближаюсь к этому состоянию.

Прозрачная достала из холодильника пакет молока, что лишний раз указывало на некий прогресс в отношениях между хозяйкой и гостем. Действительно, лучше обдать голову ледяной жидкостью, нежели кипятком! «Мастер» сел ближе к столу и придвинул чашку. Но как только его взгляд остановился на пакете, от предвкушения вкусной и здоровой пищи не осталось и следа:

— В первый раз встречаю молоко однопроцентной жирности.

— А творожок совершенно обезжиренный, — не без чувства удовлетворения проинформировала Прозрачная, продолжая разгружать холодильник, — а маслице на основе синтетических биодобавок.

— Синтетические биодобавки, — поморщился «Мастер», глядя на масло сероватого цвета, — странное словосочетание.

— Жир, мой милый Желе, — яд для организма, а мы не самоубийцы, чтобы подорваться на триглицеридах — этих минах замедленного действия. Ведь ты хочешь жить долго?

— И счастливо, — машинально добавил «Мастер», пробудив в Прозрачной очередной прилив нежности:

— Что-что, а счастья я тебе обещаю целое море, — она прижала его голову к своей груди, ровной, словно лужа.

— Поди, не одному мне обещала, да, видно, счастье мелким оказалось.

— Намек на предыдущих кроличков? Ошибаешься, мой милый Желе, эти захлебнулись в моем счастье!

— Захлебнулись? — вздрогнул «Мастер», — надеюсь, со мной ничего подобного не произойдет? Я действительно очень хочу жить долго и совсем даже не обязательно — счастливо.

— А ведь это тост, мой милый Желе! — Прозрачная быстро разлила по чашкам чай, обесцветив его молоком. — Чокаться будем?

— А где же сахар?

— Инулин, мой милый Желе, — бомба замедленного действия, а ведь ты, по собственному же признанию, хочешь жить долго.

— И очень сладко, — не преминул уточнить «Мастер», обреченно помешивая ложечкой чай.

— Сладко все равно, что счастливо, а это сопряжено с большим риском для жизни.

— Конечно, я не стремлюсь захлебнуться, и, значит, будем здоровы! — «Мастер» коснулся чашкой хозяйской чашки, и Прозрачная вдруг залилась краской:

— В твоём касании, Желе, так очевиден некий тайный смысл!

— Судя по твоей пунцовой фэйсе, — «Мастер» сделал воображаемый круг у своего лица, — пошлешь, да и только!

— Ну не так, чтобы очень... Однако мое смущение легко объяснимо: Желе вроде бы мой, но все еще не мой, и я его где-то даже опасуюсь, — путано заговорила Прозрачная, но Мастер прекрасно ее понял.

— Если бы мне нужна была женская ласка, свалил бы с Бабой кровь с молоком, ну, с той толстухой, что сидела от меня по левую руку. Однако же я предпочел ее антипод, — «Мастер» постарался с нежностью посмотреть на хозяйку квартиры, — скромную и непритязательную во всех отношениях дамочку.

Объективно говоря, это Прозрачная предпочла теперь уже Желе, да так бесцеремонно, что он до сих пор не может от нее отвязаться, однако от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и будущий суперактер великодушно взял вину на себя.

— Сказать по чести, я ни на секунду не сомневалась, что тогда еще не Желе за мной приударит. Мужики, прости за мою самовлюбленность, от меня без ума. А эта твоя Баба завалила на «Фабрику» с одной единственной целью: подцепить мужика и лучше — культурного да образованного.

— Культурные и образованные на «Фабрику» ни ногой. Другое дело, Большой театр.

— В Большом шибко культурные, и вместо постельных сцен станут смаковать сцены из «Лебединого озера», что, согласись, способно отбить любую охоту как к официальному узакониванию семейных отношений, так и вид на совместное проживание без штампа в паспорте. И чем, собственно, плоха «Фабрика»? В конце концов, это не мастерская по ремонту обуви или по производству костылей да протезов!

«Мастер» предпочел не развивать «ортопедическую» тему, отдавая отчет в том, что Прозрачная оказалась на «Фабрике» также с одной единственной целью, достичь которую ей вроде как и удалось, да еще и с таким блеском, что самой, поди, не верится. Конечно, отхватить пусть еще и не состоявшуюся, но стремительно набирающую популярность знаменитость, до Олимпа славы которой осталось всего ничего — начать да кончить!

— Что же мой милый Желе не пьет чай с молоком? — Прозрачная с подчеркнутым удовольствием отхлебнула из своей чашки. — Может, маслица?

— А на что его намазывать? Разве на палец? — огрызнулся «Мастер», с грустью сознавая, что низкокалорийная жидкость не способна приглушить все возрастающее урчание, — хоть бы корку хлеба дала!

— Мучные изделия — это преимущественно углеводы, что является снарядами, и не простыми, а реактивными, замедленного действия.

Это же надо: все необходимые для жизнедеятельности вещества у сей диетчи-

цы — бах-бах замедленного действия! Но даже если взять это с позволения сказать, учение на вооружение, то скоренько придешь к выводу, что лучше пасть смертью храбрых от разрывов всех этих мин, бомб да реактивных снарядов, чем от физического истощения.

«Мастер» воспользовался ножом и, отделив от сероватого брикета довольно весомый «кусман», принялся энергично намазывать его на ладонь. Оно и понятно: палец для тех, кто перед чаем разделался с целой кастрюлей плова.

— Снежком позволительно припорошить бутерброд? — «Мастер» постучал ножом по блюду с творогом.

— Это не снежок, а творожок, — сдавленным голосом произнесла ошарашенная хозяйка, не отрывая взгляда от намазанной маслом ладони.

— А я говорю, снег — пресный, безвкусный, тошнотворный, — «Мастер» перевернул блюдо на ладонь, и бутерброд возмужал буквально на глазах.

— Мой странный Желе все это намеревается съесть? — Прозрачная посмотрела на гостя, не скрывая ужаса.

— Нашла самоеда! Успокойся, лапу отгрызать себе не собираюсь, — Мастер с жадностью откусил от бутерброда, вспомнив и о питье, — англичан не проведешь: с молоком — истинное наслаждение!

— Даже без сахара? По себе знаю, как муторно отвыкать от сладкого.

— А мне отвыкать не надо: я ведь желе и, значит, черпаю глюкозу из погребков собственного организма.

— Кажется, мы совершили роковую ошибку! — схватила за голову Прозрачная, — необходимо срочно менять псевдоним.

— Это еще для чего?

— А для того, что сахар в твоей крови превышает все допустимые, но более всего недопустимые нормы, — Прозрачная приподняла угол скатерти и ткнула пальцем в стол, — мочись сюда!

«Мастер» не стал изображать из себя приглашенного на светский раут, верно поняв, к чему его призывают. Прозрачная хотела было попробовать плевков на вкус, но в последний момент что-то ее остановило.

— Лизни-ка свое мочево, — она указала на плевков, брезгливо морщась.

— Не мочево, а мокрота, — поправил собеседницу «Мастер», — зачем мне ее лизать, если во рту этого добра, хоть пруд пруди?

— Смотри, не захлебнись прежде времени, — вполне серьезно предупредила Прозрачная, явственно дав понять, чем может закончиться общение с ней уже в самом ближайшем будущем, — ну и каковы результаты анализов?

— Что ты имеешь в виду?

— Каково процентное содержание сахара в мочево?

— Ты хочешь, чтобы я сделал лабораторные замеры на глаз? — удивился «Мастер», стараясь определить, насколько сладка его собственная слюна.

Впрочем, что уж тут пыжиться, если безвкуснее поданного чая «Мастер» отродясь не пробовал. Желе нашелся! Надо же было заикнуться о глюкозе! Однако поздно сходить с проторенной дорожки...

— Кажется, ты права: содержание сахара в моей крови превышает все допустимые и пуще всего недопустимые нормы,

— Необходимо вызвать неотложку! — Прозрачная вскочила с места. — Да, скатерть не трогай — сладкую тему закрывать еще слишком рано!

— А может, не надо ничего вызывать? Всех-то делов, что сменить псевдоним!

— Всех-то делов... — передразнила «Мастера» Прозрачная. — Думаешь, легко в бесконечном перечне слов отыскать самое подходящее? На это нередко уходят годы, а то и десятилетия. В кого ты за этот срок превратишься со своим сахаром — в шоколад-

ного кроличка, а то и в петушка на палочке? А это конец актерской карьере, только еще обретающей крылья. Короче, без воя сирены и капельницы никак не обойтись.

— Да оставь телефон в покое! У меня уже есть на примете парочка клевых псевдонимов.

— Не может быть! — Прозрачная не без уважения взирала на «Мастера». — Неужели твой мозг способен проделывать сто тысяч операций в секунду?

— Каких еще операций? — не понял тот, все еще находясь под психологическим прессом от всех этих сирен да капельниц, — хирургических?

— Понесло! — вскинула руки Прозрачная. — Поясняю: в современном русском языке словарный запас балансирует у стотысячной отметки, а коль скоро тебе удалось вылущить подходящее для псевдонима словечко, не сложно подсчитать, сколько операций в секунду производит твой гениальный мозг. Итак, чем ты в первую очередь себя порадуешь?

— Полагаю, мне подойдет псевдоним Аполлонов.

— В писанные красавцы лезешь? Нет, ты, бесспорно, мужик видный, но не до такой же степени! К тому же, я нечто подобное где-то уже слышала. Аполлонов... Аполлонов... — Прозрачная пристально вслушивалась в свое произношение. — ...Поллонов... лоне... Сталлоне! Чуешь, на кого замахнулся? Да этот Рембо размажет тебя по стенке, как навозную муху!

— Неужели нельзя сказать просто муху, — проворчал «Мастер», налегая на бутерброд, — весь аппетит испортила.

— Короче, первый псевдоним, как тот блин — комом. Пеки второй!

— На этом-то масле? — «Мастер» не без ухмылки посмотрел на сероватый брикет. — Пеки сама!

— Похоже, кроличек, наконец, осознал, как тяжело без хозяйки в доме, — Прозрачная поправила воротничок пиджака гостя, — мой мозг тоже не дурак и делает все двести тысяч операций в секунду!

— Да, но в русском языке нет такого количества слов.

— Литературных — бесспорно! Но есть еще блатняк, нецензурщина, подростковый сленг... Да мало ли чего?

— Так-так, значит, я буду каким-нибудь фанычем?

— Кем-кем?

— Фаныч на блатняке означает стакан. Вморочь это в память своего компьютера, — «Мастер» постучал по голове, прозрачно намекая, куда именно надо ввести данную информацию.

— Думаешь, я не в курсе, что такое фаныч? — ошетичилась посрамленная Прозрачная, — я просто проверяла, насколько глубоки твои лингвистические познания. Впрочем, псевдоним не будет носить криминальной направленности.

— О, мама, только нецензурщины мне не хватало!

— А чем кроличку не нравится народный жаргон? Наши предки обладали бесценным даром емко, лаконично и очень образно излагать собственные мысли, передав нам лучшее из того, что отшлифовывалось веками. Матерное слово — бриллиант в любом псевдониме. К тому же, голливудские режиссеры ни в жизнь не догадуются, какой подтекст несет в себе, мягко говоря, нелитературный псевдоним. Правда, до тех пор, пока кто-нибудь из доброхотов не раскроет им глаза. Как кроличку вот такой псевдоним...

— Совершенно не нравится! — «Мастер» не стал дожидаться, когда его начнут обзывать самыми последними словечками.

— Действительно, несколько длинновато, — Прозрачная в раздумье помяла треугольный подбородок, — конечно, в нашем обиходе есть весьма емкое и в то же время не менее экспрессивное словцо из трех букв, но в нем напрочь отсутствует женское

начало, а мне бы не хотелось, чтобы кроличек превратился в эдакого жеребца, снимающегося в фильмах известного содержания. Повторяю: я ревнива до безобразия!

— В таком случае не станем заикливаться на нелитературном псевдониме.

— И я все явственней обращаюсь к огородной тематике,— ни к селу, ни к городу брякнула Прозрачная,— кажется, псевдоним Редькин это то, чего мы так долго искали!

— Давай еще немного поищем,— поморщился «Мастер», словно на его язык угодила приличная порция этого отнюдь не сладкого продукта,— и почему мы непременно в огороде должны копать?

— А где, в помойке? К тому же мы вроде бы договорились, раз и навсегда по-рвать с этой грязью, именуемой блатняком и нецензурщиной, чего уж заикаться о подростковом сленге?

— В натуре, договорились,— «Мастер», помимо воли, вернул словечко из известного жаргона, и Прозрачная крепко засомневалась в том, что ее кроличек больше никогда не запустит свои лапы в помойку, однако дальнейшие события настроили на вполне оптимистичный лад, ибо остатки бутерброда оказались в раковине, а тугая струя отправила их в кругосветное путешествие по канализационным трубам,— я предлагаю перебраться в сад.

— Но тогда мы придем к тому, отчего так старательно уходили!

— Может, хватит говорить загадками?

— Я говорю яснее ясного. Прикинь, что является главным ингредиентом желе? Правильно — фрукты! Теперь докумекал, что в саду нам совершенно нечего делать?

— Да, но Редькин...

— Огурцов, что ли, лучше или Баклажанов? К тому же, в только что перечисленных псевдонимах довольно высок процент сахара, к минимизации которого направлены все наши мысли и даже думы! Только овощи с повышенной концентрацией горечи способны выдавить из переслащенного организма избыточное содержание фруктозы, что существенно замедлит погружение в могилу, которого, увы, не избежать никому.

— Приободрила, называется,— мрачно улыбнулся «Мастер»,— но овощем быть все равно не желаю!

Он принялся с таким остервенением втирать влагу в полотенце, что у Прозрачной не осталось и капли сомнений в бесперспективности «овощной» темы.

— Тогда давай обратимся к корням.

— Да нет в моем роду овощеводов, понимаешь, нет?! — сорвался на крик «Мастер», что не смогло вывести хозяйку из равновесия:

— Я не о биологических корнях, а о растительных, хотя, признаться, не вижу разницы между только что упомянутыми понятиями. Короче, быть тебе Хреновым!

— Хрен редьки не слаще!— несмотря на властный тон, «Мастер» отважился-таки дерзить новоявленной императрице, но та, как и подобает самодержице, казалась весьма немногословной, но главное — непреклонной:

— Хренов, и быть по сему!

«Лучше бы я остался Редькиным»,— с горечью подумал «Мастер», сожалея, что колесо истории не повернуть вспять. Но почему бы не дерзнуть, в конце концов, императрица не настоящая?

— Матушка, не хором белокаменных прошу, а всего лишь выслушать! — «Мастер» замыслил упасть на колени, но в последний момент передумал: раз Ее Величество ненастоящая, стало быть, лобзаний рук вполне достаточно.

— Какие хоромы, какие белокаменные? — возмутилась Прозрачная, тем не менее благосклонно принимая поцелуи,— я моложе Хренова лет на пятнадцать, а он — матушка!

«Допустим, не на пятнадцать, а на пять»,— уточнил про себя «Мастер», произнося,— не надо скромничать: не на пятнадцать, а на все двадцать!

— Даже так? И зачем я только связалась с этим старым хреном? Мастер впал в уныние: только хотел воззвать к милости, с позволения сказать, императрицы, дабы заручиться ее поддержкой на облагораживание псевдонима, как из уст сахарных вылетело вся та же хреновня, не позволяющая надеяться на какое бы то ни было снисхождение. Надо же такое отмочить: старый хрен! Одно утешает: руки благоволят поцелуям, значит, не все еще потеряно. И здесь важно не промахнуться с обращением, чтобы вконец не раздраконить эту неуравновешенную молодушку. Коли «матушка» ей не подходит, может «доченька» более уместна? Не стоит кидаться из крайности в крайность, иначе легко загреметь с девятого этажа. Даже соблюдая меры собственной безопасности? Да чихала молодушка на все меры, какие только существуют на свете! Вот не понравится ей обращение «доченька», кто поручится за то, что гостя не попросят выйти через окно? Почему во множественном числе? Да потому что, сколь ни страшна неуравновешенная молодушка в гневе, выпроводить гостя собственными силами ей вряд ли удастся, и тут помощь домочадцев, а именно Муси и Буся, очень даже понадобится. Да какая от них помощь – дохлые, словно с самого рождения не кормленные?! Не дохлые, а жилистые и это, простите, не одно и то же!

— Окна хорошо открываются? — задал «Мастер» совсем не тот вопрос, на который так тщательно настраивался.

— А что это Хренова так интересует? — насторожилась Прозрачная, подумав о том же, о чем так долго и скрупулезно размышлял «Мастер».

С той лишь разницей, что вечно недовольные Муся и Буся примкнули к гостю, и порхать с девятого этажа придется хозяйке.

— Предупреждаю, Хренов, мои соседи — заядлые картежники, и ночь для них лучшее время суток для раскладывания пасьянса. Они все видят, все слышат! И, вообще, что тебя не устраивает?

А это уже зарождение диалога, прямой дороги к поиску компромисса!

— Псевдоним не устраивает. Хочу снова стать Желе.

«Мастер» прекрасно сознавал, что уже в зародыше диалог мог спокойно зайти в тупик, но проведенная чуть ранее работа, — и тут не удержаться от параллелей! — преобразовалась в некое окно, в которое обозрим путь, ведущий к взаимопониманию.

— Желе... — уже без какой бы то ни было агрессии произнесла Прозрачная, — а как же перехлестывающий через край сахар?

— Я стану поставлять сладкий продукт дозированными порциями, — выдал «Мастер» совершеннейшую нелепицу, впоследствии сослужившую ему добрую службу.

— Куда поставлять? — удивлению Прозрачной легко поддавалось объяснению.

— Куда, куда — на прилавки магазинов! — «Мастер» не переставал поражаться собственным ответам, что же тогда говорить о его собеседнице?

— Значит, мы станем зарабатывать не только на искусстве, но и на производстве сельскохозяйственного сырья? Возможно даже, из нас выйдут крупные сахарозаводчики! Ах, ты мой сладенький, мой высококалорийный! — Прозрачная, совсем забыв о скромности, принялась лизать «Мастера» в щеки, нос, лоб... — Желе, на вкус чувствую, Желе!

Короче говоря, Прозрачная оказалась на редкость забывчивой, и «Мастер» даже не понял, каким образом очутился с ней на одной кровати, где, с позволения сказать, скромница значительно расширила диапазон вкусовых ощущений.

«Желе, какие могут быть сомнения, Желе!» — задышалась она от восторга, выказывая поразительную изобретательность. — Сахарок-то доходней синемаатографа, сахарок — это белая нефть!»

«Эй, осторожней: это тебе не нефтяная вышка!» — хотел было предупредить «Мастер» свою партнершу по будущему бизнесу, поскольку ее аппетиты сделались

поистине бесконтрольными. Впрочем, упрощать ситуацию не имело смысла, ибо перспектива на светлое будущее могла оказаться под большим вопросом, и вообще, он не привык обманывать женщин. Однако когда возникла пауза, не преминул напомнить:

— К собственным ресурсам, захапистая моя, мы должны относиться с исключительной рачительностью, иначе бесконтрольное выкачивание белой нефти приобретет катастрофические масштабы.

— На наш с тобой век хватит, а там хоть трава не расти!— эгоистично заключила Прозрачная, намереваясь возвратиться к бесконтрольному выкачиванию, что не могло не озадачивать новоявленного сахарозаводчика, в отличие от дармоедки прекрасно создававшего, сколь скудны на самом деле запасы сельскохозяйственного сырья, и если не прибегнуть к жесточайшему дозированию, ни на чей век ничего не хватит.

— Давай лучше поговорим об искусстве, и моем месте в нем, которое наверняка окажется в ложе для почетных гостей, где и для тебя найдется краешек креслица. Хочешь сниматься в кино? Устрою по благу!

— Фантастика! — от радости Прозрачная взвилась над кроватью и не совсем мягко опустилась на «Мастера»,— я не верю собственным ушам. Повтори, сладенький что сказал!

«Мастер» понял: чем длиннее пауза, тем больше вероятности не встать с кровати. Чрезмерная радость ведь тоже может быть губительной, и хотя вес Прозрачной не на много превышал мышечную массу Муси и Буси, рисковать жизнью не хотелось. Впрочем, одного понимания, конечно же, недостаточно, необходимо показаться весьма убедительным. Кстати, что там говорила Вероника о новых веяниях в современном кинематографе?

— Ты станешь сниматься в жанре «снафф-муви», и это я заявляю с полной ответственностью. Но ты, кажется, не рада? Э, да у тебя изменился цвет лица!

Вдруг раздался звонок, и Прозрачная бросилась открывать дверь.

— Не делай этого!— закричал ей вслед «Мастер».— В три часа ночи с добрыми намерениями не заявляются. Да ты хоть халат накинь!

«Мастер» поспешил влезть в брюки, отлично сознавая, что подобная мера предосторожности не спасет от острых зубов одного из «предыдущих кроличков», решивших возвратиться к своей крольчихе, дабы насладиться ее изобретательностью. Но то, что предстало перед взором, оказалось куда ужаснее...

Окончание следует

Алексей Яшин



КОММУНА КОМИССАРА ГОШИ*

◆ Николай Андреевич, как истинный «шестидесятник», то есть его юность пришлось на золотые советские 60-е годы, самые оптимистические и уже сытые — для желудка и души, всегда интересовался отечественной историей. Да, и именно в эти годы стала массово издаваться историческая — художественная и публицистическая — литература. А ведь до того времени знания эти у народа ограничивались куцыми школьными учебниками, выдерживающими установки небезызвестного Покровского, заново переписавшего русскую историю в 20-е годы, когда в стране еще царствовала идеология троцкизма.

Давно изъяли из обращения (и вообще из этого света) Иудушку Троцкого, но учебники истории долго поостерегались менять: и авторы-долгожители, и «Краткий курс» все более на советский период в истории указывают... Но вот наступили шестидесятые годы, а страна действительно стала самой читающей в мире. Более же всего читали инженеры, к касте которых относился Николай Андреевич. То есть во всем мире читали (кто умел, конечно) детективы и комиксы, а в СССР читали серьезную классику и современников, но более — исторические романы.

Совсем интересно стало в годы семидесятые: кроме официальных авторов, в стране появились диссиденты. Они тоже имели свой взгляд на историю, преимущественно советского периода. Брошюры их — от типографски изданных на Западе до «слепых» машинописных копий — загуляли по стране. Николай Андреевич читал их с интересом, но настораживало частое пребывание авторов в Кашенке, а особенно — какой-то специфический язык.

◆ В конце восьмидесятых — начале девяностых, когда литературные журналы всем скопом взялись печатать все, что полагалось неудобным для публикации в предыдущие семьдесят лет, Николай Андреевич выписывал в год до десяти изданий, благо цены еще сохранялись советскими.

Более всего Николай Андреевич доверял рассказам очевидцев, а таковых он в шестидесятые-семидесятые годы своей юности и молодости застал в избытке. Понятно, что и родители его, их братья и сестры что-то знали; дедов и бабок он в сознательном возрасте уже не застал; и они рано умерли от тягот жизни, и он сам был поздним ребенком...

Впрочем, отец детские годы, то есть те же двадцатые, провел в калужской деревне, где население сугубо однородное, тем более из старообрядцев. Сестры его старшие замуж повыходили. Дядя же, вернувшись с империалистической и граждан-

* Печатается в журнальном варианте (Авт.).

ской, устроились кто где: от службы в ОГПУ-НКВД до паровозных машинистов — и все в Калуге, городе купеческом. Дядька из НКВД знал многое, но бывшая профессия к разговорчивости не располагала. Так их накрепко приучили в ведомстве Николая Ивановича и Лаврентия Павловича. Зато мать много помнила из своего архангельского детства.

Мать его, урожденная Третьякова, родилась в большом монастырском селе Великий Халууй, что в Ошевенской волости Каргопольского уезда (в советское время большой Каргопольский уезд разделили на несколько районов, Великий Халууй вошел в Приозерный район) Архангельской губернии, почти ровно за год до Февральской революции. А за год до ее появления на свет вернулся после тяжелой контузии на позициях империалистической отец Андрей Иванович. От этой же контузии и умер он, едва дождавшись рождения дочери. Так что скорую вторую революцию, уже Великую и социалистическую, Татьяна Алексеевна (сама она дожила до хрущевских времен) встретила вдовой — с дочерью Маней в неполных два года и шестилетним сыном Мишей.

♦ Село Великий Халууй, как и все поселение этого северного края между Онегой и Северной Двиной, расположилось в полутора верстах как раз от Онеги на взгорке пологого и обширного холма, опоясав его полукольцом. Дело все в том, что тамошние реки не как наши среднерусские: они не имеют высокого берега, а по обе стороны ленты воды земная твердь почти вровень с ее зеркалом. И вправо и влево заливные луга.

На гладкой же вершине холма осел белокаменный монастырь с высокими внешними стенами с бойницами. В утренние августовские туманы, закрывавшие село, со стороны реки монастырь парил над землей. Летом его белизну оттенял темно-зеленый еловый лес, сплошняком стоявший за холмом. Зимой же над сплошной белой равниной сверкали на нечастом солнце золотые купола и кресты, плыл на десятки верст окрест усиленный нешуточным январским морозом малиновый перезвон колоколов.

(Слушая рассказы матери, Николай Андреевич, не чуждый высокой поэзии русского серебряного века ее, пришел к мысли: знаменитое свое стихотворение «Белый монастырь» Николай Гумилев написал, побывав именно в этих краях...).

Жители села, многочисленные богомольцы с окрестных мест и даже из других губерний знали со слов настоятельницы, игуменьи Спиридонии, что нынешний Ошевенский Богоявленский женский монастырь построен при царе Алексее Михайловиче, но еще с новгородских времен здесь обетовалась монашеская пустынь. Монастырь этот был, конечно, менее известен, не как знаменитые Соловецкий и Сийский, но высоко чтился в этом северном крае.

Имелись в двух монастырских церквях чудотворные иконы, образа, писанные учениками Рублева, мощи местночтимых святых, канонизированных в восемнадцатом-девятнадцатом веках. А в церковных оградах были захоронены три архиепископа и митрополит архангелогородский Никодим. По устной молве-преданию в разное время монастырь удостоили своим посещением и стоянием на службе государь Петр Алексеевич и в совсем уже недалекие времена вдовья императрица Мария Федоровна.

На покаяние и в наказание сюда почти не ссылали за всю долгую историю монастыря. Устав строгостью не отличался, в праздники допускались молящиеся и паломники обоого пола. А Преображенская церковь имела и вовсе внешний предел, где окормлялась паства села и окрестных деревень. Народ окрест был сплошь грамотным: в монастыре действовало девичье церковно-приходское училище, в селе имелось училище земское.

Тихое и благолепное было здесь место. Отродясь не знавшие крепостничества,

местные крестьяне веками являлись монастырскими, а после реформ Александра Второго именовались государственными. Ни народовольцы, ни посланцы питерских марксистских кружков сюда не пытались даже и заглядывать. Революционные бури тоже обошли село стороной, равно как и англо-американские десанты, высаживавшиеся в Архангельске, и лупившая их 14-я Красная Армия. Просто в положенное время в Ошевенке поочередно заменили над крыльцом волостной управы царский стяг на флаг Временного правительства, а затем на красное полотнище. После чего управа стала называться сельсоветом, к которому приписали и Великий Халуи. Бывший же сельский халуикий староста Федор Трофимович получил должность заместителя председателя сельсовета и записался в большевистскую партию. Других партийцев в селе не было. Потому и низовой партиячейки не имелось.

◆ Прошло три года советской власти, а там и зима подвалила. К новому календарю еще не попривыкли, потому рождество и последующие зимние праздники правили по-старому. Даже Новый год, который на селе отмечала только сельская интеллигенция, то есть учитель с учительницей, фельдшер, оба священника и лавочник, тоже не совпал здесь с новопринятым в РСФСР.

Смех, как известно, с грехом рядом ходят. Здешний северный народ трезвого поведения и благонамеренный в жизни, но под праздник, особенно великий, обязательно что-то случится: под троицу пьяный если не утонет, то лоб расшибет, прыгнув в реку с обрыва, что ребята насыпали; на второй день пасхи парни жениховского возраста из-за кобылистой девки до дреколье, а то и ножей дойдут, задав работу фельдшеру Архипычу и вызванному из волости уряднику (ныне участковому). И зимние праздники не только песнями, но порой и слезами горькими завершались.

А в это рождество и вовсе несчастье случилось. Накануне хозяин сельской лавки Егор Ключкин на двух подводах ездил за товаром на железнодорожную станцию Плисецк. Путь долгий, почти в шестьдесят верст два раза: туда и обратно. Товаром хорошо запасся, но примотался станционный патруль, сутки разбирался. Отпустили под вечер, потому ночевать к куму отправился. На обратном пути одна лошадь раскочевалась... словом, вернулся в Халуи чуть не под самый праздник.

Народ набился в лавку со всего села, да из окрестных деревень подвалил: всем к празднику закупиться нужно. Егор с приказчиком мешки и ящики с саней в подсобку сносят, а жена его Авдотья прямо из них на прилавок мечет. Люди галдят, торопят, к вечерней службе надо еще попасть...

Авдотья уже полдня на ногах; она и рада обильной выручке, и по нужде все больше и больше хочется. А на кого прилавок оставить? — Не то что украдут, этого здесь нет в заводе, да ведь потраченные минуты — это потерянные... «Ой, чтой-то с Авдотьюшкой?» — зашумел народ, когда лавочница, сдавленно ойкнув, упала за прилавком. Фельдшер Архипыч, случившийся в очереди, поспешил к упавшей. Через пару минут он поднялся над прилавком и закричал на подоспевшего Егора Ключкина: «Пряжь лошадь в санки и мчи супружницу в Ошевенскую лечебницу! Может, доктор и поможет».

Но доктор не помог, а Авдотья померла от разрыва мочевого пузыря. Вот почему на селе и приговорили: смех да грех! Смеху, понятно, тут никакого, а до смертного конца довел грех алчности, православной церковью не поощряемый.

...А так жизнь по четвертому году советской власти в их глубинке мало чем отличалась от прежней. Правда, налог заменили продразверсткой, которой пугали демобилизованные, в основном по ранению, из Красной армии, но здесь благодетель Федор Трофимович все село оберегал-выручал. Пробыв старостой при царе почти два десятка лет, он знал всех чертей едва не до Архангельска-города! Быстро освоил и нынешний политический этикет.

Договорился в сельсовете, чтобы продотряды на село не слали: сами на подводах до плисецкой станции доставим. Понятно, что и число пудов жита, ячменя и овса, говядины и сала тож, свел к разумному: со старыми приятелями «смирновской» с домашними припасами, а с начальниками из пришлых — размахивая партбилетом... а впрочем, той же «смирновской» припасами. Комиссары, особенно из малых чинов, тоже есть хотят в два горла.

В конце семнадцатого мобилизовали в Красную армию с десятков молодых мужиков. Но с начала империалистической к этому попривыкли. Еще летом прошедшим учителя с учительницей в Приозерное вызывали, наставляли учить по-новому. Школу же при монастыре закрыли. Иногда, не часто, обычно по хорошей погоде приезжали какие-то непонятные люди в полувоенной одежде и с портфелями. Одни напоминали прежних земских статистиков, другие просто требовали выпивки и закуски. Пробовали по бабам молодым шастать, да мужики на их френчи и наганы не посмотрели...

А вот третьи, но без револьверов, народу нравились. Собирали всех на сход, долго и интересно говорили о новой жизни, в основном о будущей. Сразу после крещения нарочный из сельсовета привез Федору Трофимовичу предписание: вывешивать на избах красные флаги по революционным праздникам.

♦ Федор Трофимович с утра следующего за приездом нарочного дня, что был Татьяниним днем, занимался обычной зимней работой: в холодных сенцах нижней половины дома* набивал на тележные колеса ободы, заново заклепанные намедни кузнецом Левонтием. Руки сами делали привычное, а голова старости была занята злополучными флагами. Рассуждал он долго и обстоятельно. Если просто на сходе приказать всем обзавестись кумачной материей и уже к ближнему празднику Парижской коммуны водрузить на древках на коньках крыш... Нет, не пройдет это у нас, всегда отговорку найдут — не из жадности, а из вредности.

Значит, надо из общественных денег взять. А потом добрать. Егор-лавочник вот сороковину по супруге покойной справит, поедет за товаром — ему и заказать. Федор Трофимович, хорошо считавший в уме, прикинул потребное число аршин мануфактуры. Заодно, вспомнив Егора Ключкина, в который раз задал себе вопрос о том, как сейчас выкручивается тот? Ведь лавка его теперь вроде как кооперативная, Егор не хозяин, а управляющий. Но по-прежнему ведет себя как единоличный владелец...

Еще Федор Трофимович отметил: надо расспросить учителя Сергея Пантелеймовича про эту самую коммуну. Что за коммуна такая, ежели флаги вывешивать велено?

Про город Париж он знал от хромого Мирона Карнаухова, полгода тому назад вернувшегося из германского плена, в который тот попал из Франции. А случилось то потому, что своей статью тогда еще не хромой Мирон приглянулся в воинском мобилизационном присутствии и был зачислен в пехотную дивизию, что царь направил кружным путем для подкрепления армии союзной Франции. Вот в битве под Верденом, где положили с обеих сторон поболее миллиона бойцов, и попал рядовой Карнаухов из русского экспедиционного корпуса в немецкий плен, где ему сначала лечили разбитую ногу, а опосля отправили, как некондиционного, батраком к бауэру в Фрисландии, на берегу моря.

С дивизией своей Мирон пару недель проторчал на окраине Парижа. Хорошо он о городе отзывался, о вине тамошнем, о бабах тож. Карнаухов по коммуны слышал: это в Париже вроде как волости или уезд внутри города.

Федор Трофимович отнесся к этому рассказу с сомнением: ведь вывешивать в честь какой-то французской волости, это все одно, что таким же манером приветст-

* На поморском Севере крестьянские избы о двух этажах.

зовать и наши уездные города: Мезень, Онегу, Пинегу или Шенкурск. А в честь губернского города Архангела Михайлы и вовсе тогда по два флага на избу вывешивать? Но здесь его от размышлений отвлек голос Мишкá Третьякова, донесшийся с улицы через растворенную в сенцы дверь. Он вышел, а Мишко, уже обращаясь к старосте, громко и возбужденно скороговоркой:

— Дядь Федор! Глянь — через Онегу на подводах много-много едут!

Разглядывая в позднем утреннем мареве вереницу подвод, черной движущейся полоской видневшейся на полутораверстовом расстоянии, тем не менее, он усмехнулся, мигом сообразив: почему десятилетний Мишко Третьяков сегодня не в школе, училище по-местному говору. Как же! Будет Сергей Пантелеймонович, да еще человек не здешний, где тверезость соблюдается, в Татьянин день уроки урочить! Хотя и двадцать лет, как закончил в Вологде тамошнюю учительскую семинарию, где готовили наставников для земских школ своей губернии, да Архангелогородской и Олонецкой в придачу, а студенческий праздник помнит хорошо...

◆ Учитель местной школы, бывшей земской, а теперь как-то чудно именовавшейся, Сергей Пантелеймонович Ревякин в Татьянин день не работал уже два десятка лет. В этом году на третий десяток перешло. Вообще-то человек не то чтобы пьющий, но... это как в сказке о рюмке после баньки; старая бурсацкая присказка такая.

Единственно, последние шесть лет с зельем этим плохо*. Самогон пить как-то неинтеллигентно, да здесь его и не гонят. Хорошо Егор Ключкин выручает: то ли у него запас большой с прежних времен, а скорее всего в Плисецке отоваривается... Войны, революции, опят войны — а пьют ведь, кто желание имеет: правда, кто «смирновскую», а кто и настоенную на махре ханку. Гришка Распутин мадеру жрал, а в Петрограде и Москве, бывалые люди говорят, во всех ресторациях шампанские пробки потолок, как пулеметом, обстреливают... Так какой же это сухой закон? Чудны дела твои, Господи!

А вообще-то говоря, для местного народца что сухой, что мокрый — все одно малопьющие, хотя и не старожилы. Кажется, Владимир-город, родные места Сергея Пантелеймоновича, не другой вовсе край света, а все там не пропустят, но работают не хуже здешних. Потом, до самой Москвы владимирские и ярославские мужики своей хваткостью знамениты: веселые, бойкие, любознательные. Не чета здешним. Живут как на краю света, только вот война и революция немного расшевелили. И как из таких Михайла Ломоносов вышел? Может правда — в учительской семинарии посмеивались: дескать, Ломоносов — незаконный сын Петра Великого, вот и в Москву попал, а там и в академики дорога по тайному делу была открыта. Сочинил русско-амхарский** словарь — и в Академию!

Сергей Пантелеймонович налил еще в стопку — хрустальную, с серебряной оковкой донца. Поднял ее, полюбовался. Из жениного приданного, как никак его Наталья Филимоновна ярославского купца второй гильдии дочь. Из губернского женского епархиального училища, вся в идеалах народовольческих, как и он сам, в глушь архангельскую сеять разумное, доброе, вечное поехала... Седни вот, солидарная с супругом, он же и руководитель школьный, ушла в дом Ключкина — портной Осип Соломоныч приехал. Кому что пошить, все уже там.

Сколько лет Осипу — то никто не знал. Еще при царе Александре Александро-

* Сухой закон был введен в России в 1914 году с началом Первой мировой войны и продлился до 1924 года, когда по инициативе предсовнаркома Рыкова начала продаваться «рыковка» — тридцатиградусная водка.

** То есть эфиопский язык; Ломоносов был избран в академики за создание русско-эфиопского словаря.

вече, как и сейчас, дважды в год на неделю-другую в село наведывался. Последние десять лет в просторном доме лавочника останавливается. А Егору это лишняя прибыль: для Оськина шитья мануфактуру, нитки, пуговицы — все у Егора заранее завезено-припасено.

Сергей Пантелеймонович с удовольствием выпил, закусил свежим пирогом с грибами, ткнул вилкой в тарелку с тонко порезанной малосольной белорыбицей. Опять потянуло на эпическое, философское. Вот, мол, опять те же революции и войны, взамен царей адвокаты страной правят, а портной Иосиф как был, так и есть, полвека обшивает едва ли не весь Каргопольский уезд — по территории чуть самую малость уступает той же Бельгии, где солдат Мирон Карнаузов охромел...

Выпил еще стопку, мыслями возвратился в юность свою, учебу в семинарии: бурсацкие проделки, весенняя гоньба по девкам, но тут же кружки по интересам, а интересы у всех тогда были политические. Листовки народовольческие, брошюры. По ночам при тайно зажженной свече чтение Прудона, Кропоткина, Плеханова, таинственного Ильина*.

...А вообще, если хорошенько разобраться, то здешний народ из всех российских подданных наиболее готов к новой, теперешней жизни: никогда здесь не было помещиков, жили общиной, не кулачились. Нищетой не мучены, хозяйственны, не воры и не пьяницы, грамотны поголовно. А советская власть так и прописывает: свобода, равенство, братство! Словом, каждое село или деревня здесь — уже готовая коммуна...

Послышался хлопок входной двери, шаги по лестнице в жилую верхнюю половину. Вошла супруга с большим узлом в руках, с ходу сообщила и новость: дескать, по зимнику с Онеги поезд саней в село движется. Кого это принесло?

♦ Настоятель внешней монастырской церкви в честь Преображения Господня отец Игнатий, в отличие от иеромонаха о. Сергия, служившего в монастырском Богородичном храме, имел поповку** с правого края села, почти рядом со школой, где он раньше наставлял детишек в православной вере. Матушка его, Глафира Васильевна, еще с вечера прослышав о приезде Иосифа-портного, отстояв праздничную утреннюю службу, ушла в дом Егора Ключкина с обеими дочерьми, почти погодками: пятнадцатилетней Надей и Серафимой — на два года старше.

Вот о дочерях-то и думал сейчас отец Игнатий, вернувшись с утренней «гатьяниной» службы, оставив мирской придел храма на церковную старостиху Татьяну Третьякову (обычно ей помогала матушка). Он наскоро вздул самовар, заварил чай — почтай из последних запасов Егора Ключкина. Новой власти было еще не до чая...

А кому было дела до его дочек? Оно, понятно, в смутное время лучше дочерей иметь нежели сыновей, особенно близких к возмужалости. Но какое будущее у Надежки и Серафимы? Нет, конечно, все со временем образумится, придет в порядок. На то оно и государство. Историю в духовной семинарии хорошо преподавали.

Обе проучились в монастырской школе, старшая еще и три года в архангельском епархиальном училище... Закрыли училище, домой привез ее отец Игнатий в прошлом году. Тревожно становилось на душе, как начинал думать наедине сам с собой о дочерях. Вот и сейчас подошел к образам, поправил закоптившую было лампадку, помолился: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу! Спаси нас, Сыне Божий, во Святых дивен сый».

Стало легче на душе, еще не старой телом. А тут чай настоялся. Пил с любимым брусничным вареньем; лучше чем давно исчезнувшие лимоны. Мысли переключались на иное, но тоже сегодняшнее. Что ожидает святую церковь? Из писем своих

* Псевдоним В. И. Ленина.

** Дом (усадьба) священника.

коллег, некогда семинарских однокашников, знал: начинаются гонения на храмы, на священников, на высших иерархов. Уже уверенно новая власть заговорила (из газет отец Игнатий знал, что изредка привозил из своих поездок Егор Ключкин) о конфискации церковных ценностей. Уже в крупных городах началось, скоро и до их глуши доберутся. Все меньше и меньше власть прислушивается к новоизбранному после революции патриарху Тихону, в насмешку над саном называя его частным лицом — гражданином Белавиным Василием Ивановичем.

Вспоминались читанные тайно в семинарские годы революционные брошюры... так выходило по ним, что лучшее устройство для русского народа — это коммуна, государство, составленное из тысяч коммун: их село — коммуна, Ошевенка — коммуна, Плисецк и Каргополь тож. И так по всей необъятной России, бывшей империи, а сейчас Российской Советской Федеративной Социалистической республики. О-хо-хо-хо! Раззевался отец Игнатий от чайной теплоты, растекшейся по всему телу. Глянул в окошко — а через зимнюю дорогу по Онеге движется поезд повозок. И кого это принесло?

♦ Судьба забросила Гошу под самый новый 1921 год в Архангельск. Куда только не кидала его жизнь в последние три года, когда бежал он от петлюровцев из глухого местечка на Волыни. И не куда-либо, а сразу в Москву. Но бесшабашный характер, за содержание которого его проклял собственный отец, не позволил задержаться в столице: попался было на примитивном грабеже с разбоем, но выручил начальник милиции — из своих же, из волынских, партиец со стажем. Лично излупил в участке и велел немедленно убраться из города.

Отсиделся в Талдоме у тамошнего сапожника подмастерьем — единственная профессия, которой он овладел в юности. А в Талдоме, временно уняв буйство энергичного характера, перечитал все книги, что были у хозяйского квартиранта, новоприбывшего откуда-то с юга учителя с университетским образованием.

Сразу после разгрома эсеровского мятежа в Ярославле, учуяв конъюнктуру, ринулся в недалекий город. И правильно все угадал: учреждения после чистки по поводу мятежа обезлюдели. Поэтому он на второй день по приезду уже получил (пока как беспартийный, но сочувствующий) странную должность — и со склада полное кожаное обмундирование — в подотделе исполкома: что-то связанное, как он тотчас сообразил, с учетом гужевого транспорта для нужд коммунального хозяйства города. На квартиру его поставили к молодой вдовушке, с которой он тотчас и по взаимной приязни сошелся.

Как шибко грамотный, он не бегал по дворам в поисках ломовых битюгов, но вел канцелярию. Через пару месяцев на собрании уже всего отдела исполкома произнес по вдохновенью получасовую речь о международном положении и происках контрреволюции в тылу сражающейся на четыре фронта (англичане и американцы высадились намедни в Архангельске). Его заметили «сверху» и приняли в члены ВКП(б). Еще он получил крокодиловой кожи портфель с чемоданной ручкой, наган с португеей и направлением комиссаром в отдел наробраза. Опять же учли его грамотность и знание партийной литературы. Но все равно отправили на курсы Наркомпроса в столицу. Со столицей у него не получалось дружбы: пропивая командировочные и подотчетные на приобретение пишущих машинок-ундервудов и партийной литературы для своего отдела в «Славянском базаре», подрался на национальной почве с каким-то бывшим белогвардейцем. Увы, тот оказался комбригом с колчаковского фронта, а гулявшие с ним сослуживцы измолотили Гошу со случайными приятелями.

Любознательный комбриг этим не ограничился, расспросил официанта о личности Гоши (как завсегдатая заведения) и наведался в отдел кадров ведомства товарища Луначарского Анатолия Васильевича. В отделе кадров обрадовались случившемуся

штрафнику и, даже не делая запроса в Ярославль, отправили Гошу на укрепление кадров в заштатный город Киржач, что во Владимирской губернии. В краю мануфактурщиков и офеней* он тоже недолго задержался.

Дальнейшие его скитания он и сам частично подзабыл, главное — никогда не стремился на фронты, сумел сохранить партбилет и наган. Вот только крокодиловый портфель спьяну обменял на серебряный портсигар с гравированной стандартной надписью: «Гърюю обороны Портъ-Артура».

...Итак, под самое старорежимное рождество Гоша вместе с двумя приятелями, с которыми сдружился по сходству характеров и устремлений несколько месяцев тому назад, прибыл в Архангельск с туманного содержания отношением от Петросовета использовать его, как члена ВКП(б) со стажем и опытом работы в органах просвещения и советского хозяйствования, а также сопровождающих его товарищей, для укрепления кадров по востребованности архангельского губкома и исполкома».

Документ этот изготовил Гоше в Вологде за три золотых червонца местный умелец, оставшийся без работы ювелир.

♦ Мудрость быстро приходит с годами, даже с небольшими, а Гоше стукнуло накануне двадцать три. Пора остепеняться, то есть браться за серьезное дело. Поэтому он не сразу заторопился в губернские учреждения, а решил осмотреться вокруг, понять, где и на чем можно сделать хороший гешефт. Деньги на троих на первое время имелись: новообретенные приятели сделали, покидая гостеприимную Вологду, несколько гоп-стопов без особой уголовщины — на испуг затаившихся до НЭПа лавочников. И сам Гоша взял кое-что на память от квартирной хозяйки, бывшей бандерши («мамки» по-здешнему). Ведь тоже в милицию или губчека не побежит... Залегли, пока не выставляя себя, по исправным документам в Доме крестьянина, бывшей второразрядной купеческой гостинице, заняв своим коллективом номер с умеренным числом тараканов, но без клопов. Гоша с детства был брезглив.

Повечеряли чем бог послал (татарину Махутке, то есть Мухамеду, соответственно — аллах), а с утра Гоша дал себе и компаньонам вводную. Махутке с Ваняем было велено вести себя благопристойно, подружиться с гостиничной службой, с соседскими дворниками и прочим многознающим народом. Все слушать и мотать на ус, о некоторых своих профессиях забыть. Не до сладкого!

Сам же отправился по разным местам, включая редакцию губернской газеты, коммунальный двор, где царил предновогодний расслабленность. Где надо — представлялся командированным из столицы, а где не надо, то и вовсе рекомендовался отдыхающим после ранений на польском фронте. Попутно заводил ни к чему не обязывающие знакомства, брал на примету, возможно, полезных людей.

Прошли праздники, перепутавшиеся между собой из-за недавнего еще перехода на григорианский, европейский календарь. Обстановка прояснилась; сразу после крещения Гоша при полном кожаном параде, утепленном кавалерийской шинелью и смушковой папахой, отправился в губисполком, предъявил отношение и попросил направить на работу в сельхозотдел на освободившуюся должность заведующего подотделом крестьянской кооперации. Просьбу охотно исполнили, ибо этот подотдел считался гнилым местом. Ваня Гоша устроил в собственную канцелярию курьером, а Махутку — отдельским истопником. По документам они именовались Иваном Трефиловым и Мухамедом Гиляевым, бывшими красноармейцами.

♦ Так что же за мысль завелась в неугомонной Гошиной голове? А мысль, достойная трезвомыслящего человека в это слабоустроенное время и почти на краю света.

* Офени — что-то навряд ли нынешних мелкооптовиков, имевших свой тайный язык, в котором слова произносятся наоборот.

Гоша полагал себя истинным революционером, вкладывая в это определение полную перемену быта, нравов, политики. В новой России ничто не должно напоминать мерзкие черты гнусной Российской империи с ее населением-рабами, колониальными устремлениями и так далее. Новое государство, рожденное в героических битвах с Антантой и внутренними осколками старого мира, должно развить и утвердить идею равенства наций, народовластия, подлинной свободы. Однако здесь Гоша вносил собственные коррективы; так получалось, что народ в своей массе неразумен, особенно русский, еще даже близко не сбросивший с себя личину крепостного раба. Поэтому в течение ближайшего полувека, а то и целого столетия, им нужно умело и целенаправленно управлять, направляя к светлым идеалам. Этот тяжелый труд на себя должны взвалить избранные, к каковым Гоша относил и себя.

Понятно, что великие преобразования не делаются в белых перчатках; тому примеры — французская и наша революции.

Наконец, история не дает ни единого рецепта построения нового общества, поэтому первый этап — это сплошные эксперименты методом проб и ошибок. Да и сама текущая жизнь давала массу примеров: инспирированные советские революции в Германии и Венгрии, натиск на Польшу, поэт Велимир Хлебников идет летописцем с полками Красной Армии в поход на Персию... Лев Давыдович Троцкий и вовсе собирался послать Первую конную армию Буденного в поход на Индию. И в самой стране всевозможные опыты с автономиями, независимыми гуляй-полями и республикой ломового извозчика Козолупа в самом центре Москвы!?

Ну, ладно в городах какая-никакая, а организация советской жизни уже налаживается. Но оплот, опора внутригосударственной реакции, российская Вандея-деревня! Вот где надо беспощадно ломать старые устои. И первое дело здесь — организация сельскохозяйственных коммун. Итак, коммуна; первую коммуну в глухом архангельском крае создаст он.

◆Заведующий сельхозотделом губисполкома товарищ Хворостов многожды сожалел, что принял на службу к себе петроградского выдвиженца. Поначалу тихий и незаметный, новый заведующий подотделом крестьянкой кооперации уже на вторую неделю пребывания в должности развил бурную деятельность, пока, слава богу, бумажную. Опасения его были небезосновательными: как бывший эсер, он законно остерегался молодого нахала с большевистским партбилетом и, как он полагал, с друзьями в петросовете.

Поэтому когда Гоша пришел к нему с основательно составленной докладной запиской, где обосновывал испрашиваемую длительную — года на полтора — командировку в село Великий Халуи Ошевенского сельсовета для организации сельскохозяйственной коммуны, то Хворостов мысленно перекрестился и самолично сходил к председателю губисполкома за разрешающей резолюцией. Село же Великий Халуи Гоша выбрал по причине недалекого нахождения от железнодорожной станции Плисецк и наличия в селе монастыря — оплота религиозного дурмана.

Получив из рук Хворостова мандат губисполкома, уже сам Гоша забегал по всем губернским инстанциям, поручив разохравшимся на вольных хлебах Ваню и Махутке подобрать с полдюжины крепких мужиков, не особо вороватых, легких на подъем. Желательно с фронтовым опытом, но без дела прозябающих.

...Незадолго до Татьянина дня пассажиры, ожидавшие на железнодорожном вокзале Архангельска посадки на московский поезд, с опаской поглядывали на группу в полтора десятка человек, с шумом вошедших с морозной улицы и занявших целый угол рядом со входом в буфетный зал. Не столько они самими собою заполонили этот угол, но многими мешками и перетянутыми веревками ящиками, что внесли пришедшие с помощью целой бригады вокзальных носильщиков.

Одеты все были вразнобой, но преобладали солдатские шинели, явно еще не разношенные, пахнущие складскими мышами, с синими «разговорами»*, видимо, только что выданные гарнизонным интендантом. Их винтовки угадывались в длинном рогожном куле, тож обмотанном веревкой. Опытные пассажиры, ко всему привыкшие за последние годы, сразу опознали нескольких латышей и мадьяра, а короткорослого китайца и узнавать не требовалось.

Командовал бригадой молодой чернявый комиссар в распахнутой офицерской кавалерийской шинели, под которой воронела новая же кожанка с португеей и наганом на боку. Он бегал туда-сюда, к коменданту вокзала, в другие служебные комнаты, сопровождаемый двумя порученцами в нагольных полушубках, перетянутых португеей — но без наганов.

Служивые погломонили, расселись на лавках и ящиках, задымили махоркой. Солдат-латыш принялся было развертывать свой сидор, но один из порученцев, по всей видимости, татарин, заорал на него, дескать, запахло жрать в одиночку; вот сядем в вагон и пошамеем! Услышав, что ботают по фене, пассажиры задвигали свои пожитки к себе поближе.

Объявили посадку, набитый вокзал зашумел, ринулся наружу, а у третьего с головы состава вагона уже стоял комиссар с порученцами обок и кричал: «У меня ли-тера на команду до Плисецкой станции, сначала погрузимся, а остальные потом!». Матерясь и перебраниваясь, нижние чины с носильщиками погрузили пожитки в вагон, сами забрались. Пассажиры, не протиснувшиеся в другие вагоны, с опаской входили в развеселый третий... И чего эти оглашенные в Плисецкой забыли?

♦ Впрочем, добропорядочные штатские пассажиры, в основном, мешочники из Соломбал** везшие в Москву на рынок копченую семгу, царь-рыбу здешних мест, зря обеспокоились досадливыми соседями. Как только поезд тронулся, комиссар велел татарину-порученцу пододвинуть поближе мешок, куда вошел бы целиковый кабан, развязал, порылся и вытащил тонкую брошюру:

— Тише, товарищи! Пользуясь свободным временем, продолжим наши политзанятия. Тема сегодняшнего знаменательна: совсем недавно советской власти исполнилось три года. Вот и была в Москве издана эта брошюра — доклад товарища Сталина на торжественном заседании Бакинского совета «Три года пролетарской диктатуры». Мне надо сейчас найти начальника поезда, кое-что согласовать, а вот Ваняй, то есть товарищ Трефилов Иван, он человек грамотный, реальное училище чуть не закончил, зачитает вам этот знаменательный и крайне своевременный доклад.

Гоша порылся в другом мешке, выгнул небольшой газетный сверток, сунул его в карман синих командирских галифе, еще раз строго оглядел свою команду и вышел в тамбур. Засуровевший Ваняй сел на председательское место, открыл брошюру и громко, назидательно начал читать доклад: «...Несомненно, что основным вопросом в жизни России за три года деятельности Советской власти является вопрос о международном положении России...»

Матерые мешочники ехидно улыбались, а случившиеся две-три старушки, поджав сухие губы, перекрестились. К середине чтения доклада китаец заснул, а латыши о чем-то тихо переговаривались. Остальные сидели истуканами, еще слабо понимая: а куда это они попали?

* То есть с бренденбурами — нашитыми на сукно горизонтальными полосами. Эта форма в купе с суконными шлемами была пошита по эскизам Васнецова; царь собирался переодеть в нее армию, но не успел; все досталось Красной Армии. Кстати говоря, шлемы изначально именовались богатырьками, буденовками их стали звать намного позднее.

** Пригород Архангельска.

Командир вернулся только к ночи и изрядно навеселе, сообщил загадочно, что все дела утряс. Ночью все спали вповалку, а с рассветом шибко мчащийся по прямо-му, без узловых станций, пути состав подкатил к плисецкой станции. Гоша действительно душевно поговорил с начальником поезда, так что поезд смиренно стоял все время неспешной выгрузки солдатиков. А в это время начальник с Гошей, дружески полюбившись, направились к станционному строению.

...Состав с длинным паровозным гудком, медленно разгоняясь, скоро скрылся в ближнем лесу, а Гоша построил на дощатом перроне свою команду для переключки и проверки сохранности груза. Все были налицо, а груз почему-то увеличился на одну единицу — здоровенный тюк, на десять метров отдающий приятно-закусочным, да таким ядреным, что Гоше тотчас примерещился графинчик очищенной.

— Откуда? — поинтересовался командир.

— Случайно прихватили, товарищ комиссар, — доложил Ваняй, ухмыляясь.

— А-а что, хозяин не возражал?

— Всю ночь стерег, а с рассветом сон сморил.

— Нехорошо все это, классово близкого человека обидели. Впрочем, при таком обилии вещей нетрудно и ошибиться. А сейчас — кладь в вокзал, поставить часового, остальным в столовую для паровозных команд. Я договорился.

◆ Полсотни верст до Халуя в один день не одолели, накануне навалило снега. Сделали ночевку в маленькой деревушке, а поутру скоренько добрались до места.

Мандат губисполкома, заранее данная из Архангельска телеграмма с соответствующей подписью, а более всего благорасположение станционного начальника, с которым Гоша скоренько сошелся, помогли зафрахтовать пять подвод с возчиками и два верховых коня. Особенно сложно было вытребовать этих коней. Гоша завел и местное начальство и даже своих подчиненных, но твердо стоял на своем: «Не могу же я, боевой комиссар, и мой порученец въезжать в будущую коммуну на крестьянских дровнях! Советской власти надо держать крепкий авторитет».

Коней дали, только когда Гоша направился к станционному телеграфисту давать депеши в противоположных направлениях: на север — в губком, на юг — прямо в Кремль. Поскольку же в разыгравшийся мороз ни командир, ни Ваняй с Махуткой, ни кто другой мерзнуть верхом не собирались, то всю дорогу кони вольнолюбиво семенили без наездников на длинной привязи за последней повозкой, очевидно, вызывая жгучую зависть ездовых своих коллег... Гоша же возлежал на лучшей повозке, завернувшись в обширный тулуп и зарывшись в сено. На коней он и Ваняй воссели только ввиду Великого Халуя.

На ночевке в деревушке, названия которой никто не спрашивал, остановились в самом большом доме. Коней тягловых устроили в поместительном амбаре, а кавалерийских дармоедов — в конюшне, потеснив двух хозяйских лошадей. Сами же заняли жилой этаж. Семья была небольшая: муж — легкий фронтовой инвалид, жена на сносях и двое погодков-ребят. Впрочем, бабу, после того как она сварила большой чугунок щей и ведро почищенной картохи, вместе с детишками отослала ночевать к соседям. Гоша мотивировал это тем, что бойцы спать не будут ввиду экстренного партийного собрания с обсуждением опубликованных в «Правде» материалов к грядущему весной съезду ВКП(б) с главной повесткой дня: замена продрозверстки продналогом. «...А посторонним, тем более беспартийным, слышать об этом пока рано», — подобрел голосом комиссар, учуяв запах мясных щей. Инвалидного же хозяина немного опосля Ваняй послал за самогоном: «Без ханки не возвращайся! Хоть из-под земли, но приволоки...»

Закусывали наваристыми щами, толченой с салом картошкой и копченой царской рыбой семгой, так удачно прихваченной с поезда. Допущен был и хозяин, как фрон-

товик и сочувствующий линии партии. Кстати, в команде Гоши из фронтовиков оказались только иностранцы: китаец Лю Сые, мадьяр Дьердь Кáлоши и латыши Юрис Пумантис и Карл Каудзитас. Всех их судьба по-разному забросила в Россию и в этот глухой ее край. Латыши Юрка и Карла (понятно, что в отряде только Гоша знал их полные имена, ибо имел на руках список личного состава) с четырнадцатого года, будучи призванными в Первую латышскую стрелковую дивизию, шагали по фронтам России с винтовкой. Люська был поверстан в Красную армию на колчаковский фронт из слободы-китаевки близ железнодорожной станции в Самаре-городе. Хмурый Калоша бежал в Россию с отрядами Бела Куны в девятнадцатом голу после поражения Венгерской Советской Республики.

Оставшись не у дел к завершению Гражданской войны в чужой стране, с чуждым по нраву народом, каждый из них по-своему проштрафился по некропному воровству и мордобитию. Учитывая интернациональное и пролетарское происхождение, фронтовые заслуги перед советской властью, их самое малое время продержали в кутузках Москвы, Ярославля и Владимира, а потом отправили в Архангельск — для исправления характеров и устроения в новой жизни, то есть в штрафную гарнизонную команду. Понятно, что архангельский комендант на отношение из губернского совета не нашел более достойных кандидатур для создания первой образцовой коммуны в северном крае...

К военной косточке в явочном порядке причислили себя Гоша, Ваняй и Махутка. Вторая половина экспедиции была штатской. По исполкомовскому расписанию в штате команды коммунаров полагались агроном, врач и учитель. Однако в наличии оказались только помощник землемера, санитар и безработный Сутягин с гимназическим образованием. Впрочем, другие два специалиста тоже не имели уже несколько лет работы по причине беспокойного характера и запойного пьянства в стране с «сухим законом». Как известно, очень даже хорошо известно*, что чем жестче в России запреты, тем искуснее они обходятся.

Все же как-то протрезвев, бывший помощник землемера Холин и бывший же санитар карантинной службы архангельского порта Шишкин записались на трудовую биржу и попали сразу под разнарядку исполкома. Так все трое попали в команду комиссара Гоши. Остальных пятерых штатских завербовали на базарах и в трактирах (теперь именовавшихся столовыми) города Ваняй с Махуткой. Чем-то они походили на порученцев Гоши — вполне безликие Егорка, Малахай, Тимофей-помор, одноглазый Епифан и бывший одесский биндюжник Семен.

Такой вот Ноев ковчег на Татьянин день переехал через Онегу в виду монастырского села Великий Халуй.

◆...Последние полчаса перед подъездом к Великому Халую отошедший от дремоты Гоша, скучая от однообразного пейзажа, словоохотливо рассказывал Ваняю о встречах в Москве с убийцей германского посла графа Мирбаха Яковом Блюмкиным и даже со знаменитым революционером Глебом Бокием. Как шептались в Москве и Петрограде, последний был прямым потомком славного в истории России боярского рода Ордын-Нащокиных и активно исповедовал теософскую доктрину Блаватской (Гоша, как уже говорилось, в талдомском ничегонеделанье много чего прочитал). А вспомнил он Блюмкина и Бокия, размышляя вслух при пассивном слушателе Ваняе, по той причине, что, ввиду близости цели экспедиции, уяснял для себя стратегию и тактику организации коммуны.

* Николай Андреевич, вспоминая рассказы матери о коммунарском нашествии, в подобных местах ее детских воспоминаний мысленно согласительно покачивал головой: сами, дескать, все это проходили при горбачевском отрезвлении народа...

Дело в том, что опыт бесчисленных французских революций касался только города; видать, французское крестьянство исторически сложилось таким кулачем, что даже Робеспьер с Маратом не решились их коллективизировать... Ничего конкретного не нашел Гоша и в опыте отечественных народовольцев-ходоков в народ. Плеханов, Кропоткин и даже гениальный Владимир Ильич тоже обходили этот шекотливый вопрос.

Гоша, конечно, привирал лопухому Ваню, что накоротко знаком со знаменитыми революционерами Бокием и Блюмкиным, но в Москве, от нечего делать, несколько раз бывал на поэтических сходках в Политехническом музее, где и слышал выступления означенных политических деятелей, известных почитателей творчества Николая Гумилева и Владимира Маяковского. Гоша, уже тогда размышляя о пролетаризации закостенелого в частнособственничестве крестьянского сословия, передал записочки с вопросами Блюмкину и Бокию — в разные посещения Политехнического музея. Яков Блюмкин, только что вернувшийся из петлюровского плена, еще не отошедший от побоев, потому несколько задумчивый, ответил в том смысле, что коллективизация на селе необходима, но для именно массовой, всероссийской пролетаризации крестьянства необходимо выбрать соответствующий политический расклад. Пока же — показательные коммуны.

А Глеб Бокий, уже тогда в первых шеренгах революционных вождей, благодушно и пространно, красуясь перед интеллигентной публикой поэтического вечера, разъяснял: дескать, русский народ — сакральный и уже изначально сплоченный в коллектив сельской общины. Поэтому сразу после победы над местной и мировой контрреволюцией крестьянство, следуя примеру пролетариата города, сообразуется в коммунальные братства...

Определенная мысль об организации коммуны в голове Гоши так и не созрела: только наметки — от романов утопистов, в основном Томаса Мора, до воспоминаний о родном местечке, где тоже что-то навряде коммуны имелось; община там относилась к хасидам любавического толка.

◆Здесь мы на миг короткий прервем стройное течение воспоминаний матушки Николая Андреевича и обратимся *nota bene* к размышлениям самого нашего знакомого.

Дело в том, что, расспрашивая мать, он интересовался: а как в первые годы после революции народ относился к новым, советским праздникам, к официальной отмене прежних. На что мать, окунувшись в воспоминания детства, отвечала в том смысле, что и названий праздников новых в их селе поначалу не могли упомянуть, а праздновать? Так в деревне, особенно от Пасхи до Покрова и Казанской, и прежние-то не замечали — не до того, летний день год кормит! А в более свободные зимние месяцы выделяли Рождество да Крещение, масленицу опять же. То есть праздники все сплошь церковные. Их и продолжали отмечать до самой войны, да и после ее тоже.

К Октябрю и Первомаю по привычке в тридцатые годы, когда колхозы пошли. Пытались объявившиеся тогда же комсомолы и к Парижской коммуне народ приобщить, да сами же и сообразили: после комиссара Гоши слово «коммуна» в селе и окрест его стойко считалось ругательным, даже шибче слабо употребляемого в здешних краях мата. То есть и старые праздники не забыли, и к новым неспешно привыкли.

— Постой, мам,— уточнял Николай Андреевич,— это ты все про церковные толкуешь. А гражданские дореволюционные?

— А какие-такие гражданские? Ну-у, говорили у нас, что в городах-то три дня за царя и три за царицу давали отдыха. А у нас в деревне каждый сам себе хозяин, так что ж: пахать надо или жито убирать, а народ по два-три дня прохлаждаться будет?

Нет, про те праздники мы только узнавали, когда староста флаг у себя на избе вывешивал. Да я-то сама не застала уже, от старших слыхивала.

Порывшись в нехилой памяти, он с интересом обнаружил: все периодически всплывающие инициативы о выносе Ленина из мавзолея, отмене советских праздников и тому подобное, озвучиваемые, как правило, от лица выдающихся демократов первой волны, приходились либо на вторую половину осени, либо же на первые две декады весны. Недоумение Николая Андреяновича рассеял сосед, врач-психиатр, с которым он, не сговариваясь, как-то в одно время оказался у стойки ближней расписочной; оба — после трудового дня. Выслушав, сосед расхохотался:

— Это как два пальца об асфальт: так сейчас выражаются киногерои в сериалах. Все дело в том, что в названные вами, милейший Николай Андреянович, времена года у людей с неустойчивой психикой случаются сезонные обострения. Проще говоря, чертик в голове заводится. Нет-нет, на других людей они не бросаются, тяжесть заболевания не та. Этот чертик требует выхода из подсознания, причем учитывая основной род занятий хозяина головы: учитель или университетский доцент начинает нудно поучать домашних, инженер-изобретатель, некий ваш коллега, лихорадочно рисует вечные двигатели, сутяга пишет доносы на всех и всея...

— Это понятно, Игорь Владиславович, но вот как же с законопроектами связать? Значит, получается, что вынести Владимира Ильича требует тайный гробокопатель, а праздники отменить — некий трудоголик и анохорет, не выносящий вида праздных людей?

— Ну-у, это вы усложняете. Просто чертик, ответственный за мероприятия общегосударственного масштаба, сидел в голове профессионального демагога, специализирующегося на законотворчестве, а в данной конкретной ситуации еще и люто (от души или за доллары) ненавидящего вскормившую его страну, то есть СССР. Давай, Николай Андреянович, за их здоровье — больные же люди!

...Хотя Николай Андреянович и работал на режимном предприятии, но выход на интернет в вычислительном отделении имелся. Он иногда заходил к тамошним приятелям, стучал по клавиатуре компьютера в поисках чего-либо занимательного. Вот и перед праздником, который в Москве вознамерились отменить, зашел в обеденный перерыв.

Кое-что любопытное нашел. Во-первых, церковные историки слегка ошиблись: Москву ополченцы Минина и Пожарского освободили не на Казанскую божью мать (4 ноября по новому стилю), а как раз 7-го ноября(?!). А один неформальный историк так и вовсе на пальцах доказал, что в Москве поляков почти и не было, а захватчики и оккупанты были поголовно из донских казачков. А вот в нижегородском ополчении, наоборот, преобладали казанские татары, нанятые купцами...

От души посмеявшись, Николай Андреянович вспомнил, отчего это он связал нынешние демигры с историей чуть не вековой давности: по рассказам матери команда комиссара Гоши вступила в село в Татьянин день, то есть в праздник студентов, который де-факто отмечался и в самый разгар советской власти.

◆ — Сто-о-ой! — заорал Гоша, прервав беседу-монолог с Ваняем, — подавай коней: мне и себе. Да скажи Махутке — пусть достает горн и трубит весь оставшийся путь до села.

Соскучившись политрассуждениями руководителя экспедиции, Ваняем сиганул из саней и, прихватив по пути китайца Люську, помчался в конец поезда за верховыми.

Скоренько — перед переездом через Онегу — построились в боевой порядок: впереди на боевом коне Гоша, за ним тоже конь Ваняем с развернутым красным знаменем. Запряженных в повозки лошадей взяли под уздцы воины-интернационалисты, как одетые в полную красноармейскую форму. Махутка, пересаженный в заглавную

повозку, откашлявшись и отплевавшись, задудел в полковой горн что-то грозное и героическое.

— Команда, трогай! — прокричал Гоша и нервически дернул поводьями; конник он был никудышный.

Уже не только зоркая ребятня, а все село повываливало из изб, слышав звонкую на морозе трубу Ваня.

Гоша, невольно копируя знаменитого барона Унгерна фон Штернберга (кстати, ровно через полгода того расстреляют) при его въезде в завоеванную Ургу, так тогда называлась монгольская столица, посредине санного пути через Онегу, опустил поводья, обернулся:

— Махутка! Мигом фляжку мою!

Отложив горн с эмблемой Ахтырского гусарского полка, выданный экспедиции в материальном подотделе губисполкома, бойкий татарин, ухмыльнувшись, схватил посеребренную фляжку с водкой и косолапо побежал вперед поезда. Гоша, нагнувшись, взял фляжку, запрокинул голову и сделал несколько основательных глотков. Жажду же он почувствовал по причине нахлынувшего вдохновенья — того требовала ответственная ситуация: начало создания Первой образцовой коммуны имени Кондратия Булавина.

Приятное тепло — на контрасте с крепким морозцем — растеклось от желудка в противоположных направлениях: в ноги и в голову. Гоша окинул взором село на пригорке, величественно повел рукой с распростертыми пальцами, с фальшивым пафосом прочел строфу Николая Гумилева, слышанную от автора на вечере в Политехническом:

*Так вот и вся она, природа,
Которой дух не признает,—
Вот луг, где сладкий запах меда
Смешался с запахом болот.*

Оставшиеся полторы версты и пригорок одолели скоро. Въездная в село дорога упиралась в добротный дом с государственным флагом, повисшим в безветрии. Вокруг старосты Федора Трофимовича, загодя предупрежденного малолетним Мишко, столпилось почитай все село.

Гоша, шенкеляя поотвыкшего от работы коня, лихо спешился, сразу определил здешнего старшого, по-военному откозырял. Осведомившись о звании и имени-отчестве, вручил Федору Трофимовичу мандат. Тот надел для солидности очки, хотя и без них свободно разбирал печатное, и зачитал вслух, как то повелось с официальными бумагами на селе с революционных времен. Так посоветовал комиссар, приезжавший три года тому назад устанавливать советскую власть.

— По представлению земотдела и согласованию с орготделом губкома исполком Архангельской губернии настоящим мандатом делегируется команда, согласно прилагаемому списку, в село Великий Халуй Ошевенского сельсовета Каргопольского уезда для организации Первой образцовой коммуны имени Кондратия Булавина...

Здесь Федор Трофимович споткнулся на незнакомом имени, прервал чтение и вопросительно посмотрел на молодого комиссара.

— Это был такой борец с самодержавием и мировым империализмом,— пояснил небрежно Гоша,— правда, в староцарские времена.

Озадаченный Федор Трофимович dokonчил чтение хрусткой бумаги с подписями и печатью:

— ...Руководителям всех уровней и трудовому крестьянству предлагается оказывать означенным тт. всяческое содействие и, проявляя политическую зрелость и сознательность, всячески поддерживать организуемую коммуну.

Староста зачитал и подписи с должностями, а синюю печать просмотрел на свет.

Гоша перехватил инициативу:

— Здравствуйте, товарищи трудовые крестьяне! Мы сейчас передохнем с дороги, а пополудни соберемся. На морозе негоже по душам разговоры разговариват... вижу, амбары у вас здоровенные, пусть управляющий подберет что почище, лампы принесет. Все пока! Явка строго обязательна.

Народ еще немного поглазел на приезжих, особенно дивясь генеральским галифе с лампасами на Махутке и китайцу Лю Сые, и, озадаченный, начал расходиться. Гоша же отвел немного в сторону от подвод Федора Трофимовича и разъяснил диспозицию.

— Насчет амбара ты уже слышал. Расстарайся. А сейчас определи команду — всех вместе — на обед и отогреться. Еще найди надежное помещение — спецгруз с саней сгрузить. Лошадей разведи по ближним дворам: покормить да на ночь оставить, а утром обоз с возчиками отправить в Плисецкую. Все ясно?

(В обозе приехали трое возчиков, взятые на станции для обратного пути).

Сразу поддавшись начальственному голосу комиссара, Федор Трофимович чуть подумал и указал для груза свой амбар («Я же и за сохранностью послежу, хотя у нас и не принято по чужому лазать»). А на обед и отдых послал команду с вертевшимися тут же Мишко к Егору Ключкину. Злорадно усмехнулся таким удружением: очень уж лавочник самоуверился в последнее время: до села доходили слухи, да и учитель растолковывал, что скоро партийный съезд, где вновь разрешат частную торговлю... Вот, дескать, и похарчи пока посланцев заботливой о лавочниках власти! Федор Трофимович здесь как-то забыл, что он сам член ВКП(б), да еще сам-один на все село и окрестные деревеньки.

♦ На сход собрались в два чала пополудни в амбаре хромого Мирона Карнаухова, благо тот с конца лета затеял с помощью родичей настлать там полы, ибо амбар использовал для тонкой работы — плел сети-неводы для поморцев. Полы-то настлал, да рухлядь, распиханную временно по сараюшкам, еще не успел занести: хоть всем селом пляски-балы устраивай! Федор же Трофимович принес свою знаменитую семилейную лампу, сделанную еще перед империалистической на заказ в Каргополе. Еще три лампы поплосе соседи пожертвовали на общественное дело, принесли столярный стол, табуретки. Из запасного на флаги кумача Федор Трофимович выдал три аршина. Словом, не хуже чем в Ошевенском сельсовете получилось.

Когда народ подтянулся, явился и Гоша в сопровождении Ваня, тройки специалистов — Сутягина, Шишкина и Холина; военную часть представлял двухметроворостый Карл Каудзитас. Остальные, как пояснил Гоша старосте, отдыхают от дальнего переезда. Все слегка были под хмельком, а откровенно пьяного учителя Сутягина в президиум не пустили, усадив на табуретку в ближнем углу амбара. Федор Трофимович с сомнением смотрел на пришедших: четверть часа назад заходя к Егору Ключкину доложить комиссару о готовности помещения, выслушал много гневных слов лавочника, что де гости ведут себя дерзко, нашли и выкрали ящик с водкой из неприкосновенных запасов, кой-что из съестного уволокли на жилой этаж, хотя обед им на славу приготовили. Пуше всего возмутился Егор Ключкин приставаньем какого-то нерусского по прозванию Калоша к племяннице Настехе, взятой в дом после смерти Авдотьи для ведения хозяйства и ухода за двумя детьми, оставшимися без мамки. Так что пришлось всех троих на время отправить в сестрин дом.

— Слышь, Трофимыч? Я на сходку эту не пойду — все пограбят и дом пожгут. А ты давай их на другой постой ставь, хватит с меня, не то соберу родичей со всего села, не посмотрю на их шинеля и комиссарство — ружей и дреколья у нас хватит!

— Ты, Егор, не кипятись. Разберусь.

С тем и ушел, норовя перед собранием накоротке поговорить с комиссаром, но Гоша сходу взял дело в свои руки, встал за стол с кумачной скатертью, цыкнул на

рассевшихся с разговорами подельников, весело посмотрел на робевших сельчан. Поймав взгляд Федора Трофимовича, указал на крайний слева от себя табурет президиума. Ораторским жестом поднял правую руку, призывая к вниманию.

◆— Трудовое крестьянство Прионежья! Товарищ Хворостов, заведующий сельхозотделом губисполкома, давая нам ценные напутственные указания, особо подчеркнул: вы, товарищи, отправляетесь в глубинку северного края, где советская власть еще не успела как следует поработать, где во всей доисторической полноте царствует частнособственничество и махровая поповщина, да не просто церковная, но отживший свое монастырь символически возвышается над вашим селом!

И все это в момент, когда советская страна, разделавшись почти со всеми внешними и внутренними врагами, ведет наступление по всем фронтам борьбы за новую жизнь, за нового человека. Товарищи Ленин и Троцкий ночей не спят, пролагая из Кремля пути к новой жизни: свободной от капиталистического рабства и кулацкой эксплуатации, от поголовной безграмотности и политического невежества. Главное же — навсегда выбить из голов и душ людей проклятую заразу накопительства, скопидомства... Лозунг нового времени — коллективизм! Только свободный труд в коллективе может принести истинные свободу, равенство братство.

На заводах и фабриках, в Красной армии, в госучреждениях эта задача успешно решается. Там сами условия совместного труда помогают сплотиться под знаменем идей большевистской партии. Но вот в крестьянской, сельской среде, особенно на глухих окраинах вроде нашей губернии, к этой задаче почти еще и не приступали...

Здесь Гоша уловил шумок в толпе. Еще боковым зрением отметил, что заскучавший президиум начинает смаривать в сон. Перебедавшие Шишкин и Ваня и вовсе прикрыли глаза и опирались щеками на ладошки. Холин как-то странно раскачивался на табуретке. Один трехаршинный Карл Каудзитас сидел по стойке «смирно»; и сидя он казался одного роста со стоявшим Гошей.

— Тише, товарищи крестьяне! Имейте уважение к приехавшим: несмотря на усталость длительного перехода, бессонную ночь и прочие неудобства, они пришли на встречу с вами. Встаньте, товарищи! Пусть народ посмотрит на вас и устыдится своей недисциплинированности.

При этих словах Гоша слегка лягнул ногой Ваня. Тот пробудился, мигом вскочил и по цепочке передал пинок остальным заседающим. Гоша жестом усадил компаньонов и продолжил:

— Еще Кропоткин и Плеханов — это, товарищи крестьяне, были такие знаменитые революционеры при старом режиме — так вот, они и сами товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс приводили пример Французской революции: после победы ее в Париже и других городах крестьянство французское оказалось самым реакционным классом населения. Именно опираясь на них, будущий император Наполеон сумел узурпировать власть и свергнул Францию в пучину бесконечных войн.

Но при всем величайшем уважении к выдающимся основоположникам у нас есть великие вожди Владимир Ильич и Лев Давыдович, которые сказали четко и ясно: советская власть победит полностью и окончательно только после того, как крестьянская Россия начнет жить и трудиться коллективно!

Кстати говоря, мы привезли соответствующую литературу. Жаль, что тяжелое наследие империализма — безграмотность не позволит вам самим...

— Э-э-э, товарищ комиссар! Ты вроде как пальцем в небо попал — у нас на селе все грамотные, на что же у нас училище и монастырская школа? — перебив невежливо оратора, выкрикнул кто-то из толпы.

— Ты, товарищ, не перебивай официальное лицо, каковым я являюсь. Грамотность вашу мы еще проверим. На то у нас свой учитель имеется: вот товарищ Сутя-

гин, что справа от президиума сидит. Он немного устал в дороги, задремал... Трефилов! — толкнул он под локоток Ваня, — проводи учителя к остальным нашим товарищам, мучается человек с устатку.

...А вот монастырская школа — это пережиток проклятого прошлого. Там особой, с позволения сказать, грамотности учили: как подставлять шею под кулацкое ярмо, да дармоедов-попов на той же шее весь век нести! Нет, мы эту заразу под корень изведем и научим вас настоящей, советской грамотности.

В образовавшейся паузе Гоша чутким ухом уловил с улицы через закрываемую Ваняем дверь песню проснувшегося Сутягина: «По До-о-ну гуляет, по До-о-ну гуляет казак молодой...»

В толпе слушателей кто-то противно захихикал, но Гоша погасил начавшийся разлад эффектной фразой:

— Поп и кулак — последний оплот контрреволюции в деревне!.. в селе тож.

— Мил человек, — перебил Гошу кузнец Левонтий, стоявший в первом ряду, — да что ты все про кулаков-то заладил! Нетути их у нас, никогда и не было...

— Да-да, — поддержал Сергей Пантелеймонович, — вы, товарищ или гражданин комиссар, наверное, родом из центральных или из южных губерний, где крепостная зависимость была, а кулаки на смену помещикам пришли. У нас же испокон веков вольные хлебопашцы, государственные крестьяне проживали. Правда, наше село — монастырское до реформ Александра Второго считалось, но все одно...

— Вот-вот! Все вас на попов и монахов тянет, — побагровел раздосадованный Гоша. — Ему вдруг до отупения мыслей захотелось хватить стакан водки... И с ужасом он вспомнил: у команды на жиллом этаже лавочникова дома остался на две трети еще затаренный ящик водки, а у команды, очевидно, уже прошло первое похмелье?!

— Так, товарищи крестьяне и граждане несознательные. Ваши намеки отношу к проискам контрреволюции. А разговор сегодня у нас с вами, чувствую, не получится. Расходитесь по домам, подумайте над моими словами, а днями снова соберемся и продолжим.

Народ загудел, ожидая пока агитаторы покинут амбар. Проходя мимо озадаченного Федора Трофимовича, Гоша прошипел:

— Сегодня у лавочника заночуем, а завтра подыщем что другое. А коль ты партейный, то давай работай с народом!

Гоша шел быстро, так что остальные, догоняя, растянулись в цепочку. Однако в доме его ожидал сюрприз: на краденном ящике с водкой сидел Люська с трофейным — с колчаковского фронта — никелированным браунингом, с которым никогда не расставался, и монотонно бубнил: «Начальника не велела трогать, начальника не велел трогать...» Хмурые после протрезвления коммунары стояли полукругом, набычив головы.

♦ Утром Гошу разбудил пробравшийся в дом лавочника старшина возчиков, спросил: не будет ли каких поручений на Плисецкую станцию? Гоша, морщась больной со вчерашнего веселья головой, тем не менее обрадовался:

— Вот хорошо зашли. Понимаешь, у нас тут учитель занедужил, захватишь с собой — там по начальству в больницу направят. Подгони сюда сани, где сена побольше.

Егор Ключкин, не сомкнувший за ночь очи, с изумлением наблюдал, как латыши Юрка и Карла снесли с жилого этажа укутанного в шубу учителя Сутягина. Тот что-то мычал, дергая связанными руками и ногами. Ключкин последовал за ними на улицу. Вышел и Гоша, напутствуя возчиков:

— Белая горячка у нашего педагога случилась, не развязывайте его.

Испуганный старшина таранился, наблюдая, как латыши нахлобучивают на больного шапку, укутывают в шубу, заваливают сеном.

— По дороге-то оглядывайся: не задохнулся ли, не выпал из саней... Ну, как говорится, с бывшим богом трогай!

...Забегая несколько вперед, скажем, что на счастье станционного коменданта, сразу после возвращения обоза с неожиданным подарком в сторону Архангельска шел эшелон с какой-то хозяйственной армейской частью и санитарным вагоном. В нем Сутягина по дороге привели в нормальное состояние и прямо с вокзала отпустили на все четыре стороны.

Спустя полгода, когда вести об окончании экспедиции коммунаров в Великий Халуй дошли до губернского города, Сутягин от радости сильно подвинулся и без того слабым рассудком и определился добровольно в психлечебницу. Как большого с правильным поведением его вскорости сделали истопником с правом свободного хождения. В базарные дни экс-учитель заходил в распивочную, но пил осторожно, случайным собутыльникам рассказывал, что, видно, всевышний его любит, потому и спас от неминуемой, но преждевременной, через ниспосланную белую горячку. Его излечили по новому методу профессора Россолимо. Сутягин взялся за ум и до самой пенсии работал статистиком в горфинотделе. Женился на бывшей купеческой дочке, заимел трех детей. Внук его был зачислен в отряд космонавтов, но в космос его не пустили врачи: конкретных противопоказаний не было, но имелась честно составленная зиц-космонавтом анкета.

Гоша же на утреннем построении мрачной с ноги команды не досчитался Тимофея-помора. Куда, когда и — главное — как он исчез? Никто, в том числе лавочник, не смыкавший глаз ночью, ничего сказать рассвирепевшему Гоше не смог. По распоряжению Федора Трофимовича полдня мальчишки и молодые парни обыскивали все село и окрест его. Гоша хотел было устроить громкое дело о кулацких происках, но, подумав, публично ничего не сказал, а в команде объявил исчезнувшего «дезертиром трудового фронта».

...А вот Сутягин, уже остепенившийся, где-то ближе к концу второй сталинской пятилетки, будучи по своим мелким служебным делам в горкомхозе, узрел что-то знакомое в тамошнем дежурном милиционере. Внешнее сходство дополнялось и отсутствием безымянного пальца на левой руке — как у Тимофея-помора. А когда Сутягин, шутовски козырнув стражу, назвал его по имени, Тимофей не на шутку испугался, тож узнав бывшего коммунара, однако быстро оправился, когда Сутягин показал свое удостоверение служащего.

Потом они часто встречались в домашней обстановке (Тимофей также завел семью), и Сутягин узнал историю таинственного исчезновения новообретенного приятеля — бывшего коммунарского знакомца.

По словам Тимофея выходило так, что в ту достопамятную ночь он проснулся еще задолго до позднего рассвета. И было ему видение покойной матери со словами: «Беги, беги отсюда, сынок!» Пил он мало, ибо действительно из поморов-раскольников происходил, поэтому видение воспринял серьезно. Стараясь не шуметь, оделся-обулся, при лунном в окошко свете осторожно вытащил из кармана полушубка, коим накрылся Махутка, запасенную там тайно бутылку водки (еще вечером подсмотрел). Смазанные хозяйственным лавочником дверные петли не скрипели, как и лестница с этажа. На счастье Тимофея и сам Егор Клюшкин вышел из сенцев, где дежурил, в лавку — кваску испить.

Выйдя из дома, все при том же лунном свете, беглец спустился к Онеге, перешел ее и дошагал до ближнего леса. Наломал елового лапника, присел, подогнул ноги в валенках под полы полушубка, да еще и накрылся с головой прихваченной шинелью, быстро надышал. А когда в полудреме услышал лошадиный топот и скрип розвальней, вскочил, перекинул шинель через плечо, выждал, пока с ним поравняется последний возок с ездоком, вышел из-под елового полога, предварительно засыпав снегом свое логовище, и подбежал к саням.

— Друг, довези до станции?

— А ты что? В обратную, что ли собрался? Не-е-т, мне от ваших комиссаров по шеем вовсе как не хочется.

Меж тем Тимофей уже впрыгнул в сани, молча пододвинул к возчику свернутую шинель — совсем новую и подал бутылку:

— Возьми в оплату.

— Ладно, я-то подвезу, а как остальные наши узнают?

— А на кой леший им к тебе подходить? Да и в сено я заруюсь. А перед самой станцией незаметно соскочу.

...В ежовскую чистку, когда в лагерной охране случился дефицит с кадрами, Тимофей-помора направили старшиной вохры в лагпункт близ Пинеги. Больше два последних коммунара не встречались. Младший сын Тимофея стал полковником КГБ.

◆Предупредив, что следующего дезертира, если таковой случится, он пристрелит лично, Гоша спустился в лавку и сообщил Клюшкину: через час-другой команда покинет «этот гостеприимный, радушный по-северному дом». Обрадованный лавочник легко согласился на отступное: горячий завтрак (Настасья, правда без детей, уже явилась и спозаранку растопила печь), опохмелку из расчета бутылка на троих, еще пару для НЗ ему лично в руки, сухой паек на сутки.

Когда повеселевшие коммунары покидали дом, Гоша вручил приглянувшейся ему хозяйской племяннице толстенный том Августа Бебеля «Женщина и социализм», велел прочитать, а он будет заходить и консультировать по неясным вопросам. А проходя мимо хозяина, шуточно толкнул того локтем в бок:

— Небось, пошаливаешь с племянницей-то, старый ловелас? Смотри, у нас в коммуне с этим строго!

Егор досадливо сплюнул и перекрестился на раздавшийся звон монастырской колокольни.

Коммунары же завернули во двор старосты — забрать свое имущество из хозяйского амбара. Федору Трофимовичу посуровевший Гоша объявил, что штаб будущей коммуны расположится в монастыре.

— А монашки куда? Ведь им по чину не надлежит за одной оградой с мужчинами...

— Ха-ха-ха! О чем это ты, старина? Да мне в архангельском агитпропе говорили, что еще год тому назад тебе было послано предписание использовать здания монастыря под общественно-хозяйственные нужды. Что — разве не получал?

— Получать-то получал, а потом и комиссия приезжала по церковным ценностям, зачем-то описывала весь священнослужительский инвентарь. Забирать что ли хотят?

— Это не вашего ума дело*. На то власти есть. А ты не уводи разговор в сторону: получал предписание?

— Получал. На там ничего не прописано про разгон монашек. А постройки нам не нужны.

— Так читать следует между строк. Ничего, придет скоро время — все ясным языком объявят! Значит, из монастыря ничего не брали, не вывозили?

Заметив забегавшие в глазах комиссара алчные огоньки, Федор Трофимович чуть усмехнулся:

— Говорю же: комиссия только все переписала в монастыре и в Преображенской церкви, два дня пропьянствовали, по мелочи кой-чего украли...

— Ты мне контру не пропагандируй! А то живо в уезд под охраной отправлю!

* По всей видимости, такие описи составляли заранее в преддверии декрета от февраля 1922 года об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья.

Ничего, скоро мы вас всех перевоспитаем. Значит так. Сегодня мы будем обустриваться, а завтра к полудню — всех в монастырь! Продолжим собрание.

Коммунары потянулись в гору, горбясь под тяжестью мешков и ящиков, а староста подозвал как всегда вертящегося рядом третьяковского Мишко:

— Вот что, дуй что есть мочи к отцу Игнатию, он в церкви, скажи, что я послал, а комиссар со своими еретиками пошли монашек выгонять.

Отослав Мишко, Федор Трофимович призадумался, бормоча: «Вот и до нас добрались...» Хитрил староста, член ВКП(б), разговаривая с Гошей. В последний год, беседуя с обоими священниками, игуменьей Спиридонией, учителями, фельдшером Архипычем, многознающим — по своей подвижной профессии — Егором Ключкиным, пришли они скопом к выводу: долго еще монастырю, да и «гражданской» Преображенской церкви, не устоять. Советская власть в силу вошла; вот-вот с поляками замиряется*. Она для народа полезная, продразверстка — дело вынужденное и временное. Учитель из газеты вычитал: скоро очередной партийный съезд ее отменит напрочь и сильным налогом заменит. Вот только зачем на церковь-то так ополчилась власть? Вроде особо и не мешает, а в деревне, где театров и кинематографов не имеется, куда народу пойти, отвлечься от тяжелой работы, зимнего мороза, летней мошканы и болот, осенних дождей? А в церкви все золотом блещет, священник хорошо говорит — одно слово, благолепие!

А потом не царское время: кто верует в бога, тот и ходит на службы... И ведь сама-то власть еще в начале восемнадцатого отделила церковь от государства, патриарха Тихона позволила избрать... Нет, что-то тут не так.

...И порешили они некоторое время назад подготовиться, если приедут от властей закрывать монастырь; ведь уже если к таким обителям достославным как Соловецкая и Сийская вплотную подобрались, то, видимо, не сможет Бог уберечь от напасти их небольшой Богоявленский монастырь.

Потому-то и тайно перенесли в кладовку Преображенской все мало-мальски ценное из монастырской церкви: золотые и серебряные украшения и утварь — вклады знатных попечителей, старинные иконы новгородского и суздальского письма. Оставили только иеромонаху отцу Сергию самое необходимо для служб, что поплоче: кадило, копие, чашу-дароносицу, предметы для причастия. Как они сообща порешили — до обычных церквей, конечно, дело дойдет, но не сей день.

Федор Трофимович опять вспомнил алчный блеск в глаза комиссара, усмехнулся. А Мишко он послал к отцу Игнатию, чтобы тот со служкой, как было ранее договорено, наглухо затворили внутреннюю, монастырскую дверь, перетянули ее перекладиной-засовом и заставили иконами-складнями. Погрустнев, пошел по известным ему домам — готовить к приему на постой монашек.

◆ Почти все село смотрело, как вверх к монастырю по протоптанной тропке тянулась черно-серая колонна, возглавляемая двумя конниками; как и раньше, Ваня держал красное знамя.

— Антихристы,— бормотали бабки, опасливо оглядываясь на ходившего меж домами по своим квартирским делам Федора Трофимовича; хоши и свой, но все же партийный! Народ в селе по-доброму сочувствовал старосте: чего не сделаешь ради людей? — Даже в партию вступишь...

Меж тем коммунары, матерясь от ходьбы в гору с грузом на горбах, пришли к окованным железными лапами воротам, сбитым из еловых брусков в пять вершков толщиной. Не слезая с коня, Гоша нагнулся с седла и решительно подергал за ручку выпущенной через отверстие в воротах веревки: за воротами звонко забился колокольчик. Переждав пару минут, Гоша уже непрерывно затрещивал. Легонько щелк-

* Мирный «рижский» договор между РСФСР и Польшей был подписан 18 марта 1921 г.

нув, отошла в сторону заслонка, открыв окошко размером в две ладони, в котором Гоша разглядел лицо пожилой монахини, низко забранное черным платком.

— Что хотите, люди добрые?

— Мы, тетка, не люди добрые, а представители советской власти, откомандированы губисполкомом. Открывай незамедлительно ворота!

— Без разрешения матери игуменьи не могу. Монастырь женский, мужчинам входить не позволительно.

— Хорошо, зови свою ведьму. Ждем пять минут, а потом забросаем ворота бомбами.

Для убедительности Гоша вынул из кармана шинели «лимонку» и сунул ее под нос монахини. Та ахнула и быстро-быстро пошла в сторону приземистого строения, забыв заслонить окошко, не по возрасту быстро вбежала на низенькое крылечко и скрылась за дверью. Гоша же, красуясь, просунул руку с гранатой в окошко, для убедительности просунув большой палец в кольцо. Восхищенный военной решительностью командира Ваняй подбоченился, но тут же левая его нога выскользнула из стремени, он покачнулся в седле и древком знамени ударил по крупу командирского коня. Тот от неожиданности взбрыкнул, Гоша подскочил, рука его в оконце резко дернулась, а граната, получив ускорение своему весу, вырвалась из руки и упала на землю по ту сторону забора, оставив на большом пальце кольцо.

Прошло две-три секунды, пока Гоша осознал случившееся, а затем с силой прищипорил коня, дернул повод влево и заорал:

— Ложись!

В наступившей тишине и на морозе граната взорвалась с оглушительным стекольным грохотом. С крестов и деревьев монастырского кладбища всплеснулась стая ворон, громко загалдевших. Еще пару минут коммунары лежали, зарывшись головами в снег, придавленные своими мешками и ящиками. Напуганные кони ринулись вдоль монастырских стен в разные стороны, причем конь Ваняя сбросил своего седока в сугроб. Гоша же удержался и, сделав круг в сотню сажений, вернулся к воротам, которые медленно растворились вовне: взрывной волной снизу вышибло из гнезд перекладину.

Гоша же, наезжая успокоившимся конем на выбирающегося из сугроба Ваняя, орал:

— Ты, гадский папа! Ты что это, урод, творишь?

— Так ведь случайно получилось...

В это время проворный Люська поймал коня и подвел к воротам, передавая поводья осыпанному снегом Ваняю.

— Отставить,— продолжал орать Гоша,— еще что учудишь, дубина стоеросовая! Товарищ Лю Сые! Бери знамя и садись на коня. А вы, черти, хватит валяться. Встать и построиться в колонну. Вперед — марш!

◆Подъехали к крылечку жилого помещения, оказавшегося квадратным помещительным зданием в форме квадрата с кирпичным цоколем и невысокой деревянной надстройкой — кельями монахинь. Сейчас в них молились, приняв взрыв гранаты за начало бомбардировки монастыря, все двадцать восемь насельниц: монахинь и послушниц. Во внутренней же Богородичной церкви молились отец Сергей и игуменья Спиридония.

Гоша слез с коня, взошел на крылечко и отворил вовнутрь дверь, оказавшуюся незапертой. Через все здание пролегал коридор, заканчивающийся противоположной дверью. На ближней скамейке сидела в тревоге давешняя монахиня.

— Ты это что, старая, расселась? Где твоя настоятельница или как там ее?

— Так ведь бомбить начали, у меня и ноги подкосились

— Никто вас не бомбил, а ворота надо по команде открывать! Давай, вели к своей главной небокопительнице.

— Матушка в церкви.

— Тьфу! — сплюнул Гоша, — с вами только гранатами и можно разговаривать. Вы тут оставайтесь, а мы с Ваняем, Махуткой и Лю Сые пошли в церковь старуху искать.

Гоша вышел на улицу. Прощенный Ваняй, подобострастно забегаая вперед и влево, заторопился к церкви. Перед церковными воротами Гоша цыкнул на Ваняю и, не снимая шапки, вошел в притвор. В слабом свечном свете он разглядел близ алтаря двух согбенно молящихся в застывшем полупоклоне священника и монахиню в высоком головном уборе. Громко топоча подкованными сапогами, Гоша с сопровождением прошагал через церковный зал. Остановился возле молящихся, осведомился:

— Кто такие? Я — комиссар из Архангельска.

Пожилая монахиня выпрямилась, повернулась лицом:

— Я здешняя игуменья. Негоже в храм божий с покрытой головой входить и мирские разговоры вести. Пойдемте выйдем их храма.

Выйдя вперед коммунаров из церкви, Спиридония осведомилась:

— Кто вы такие будете, почему взрываете бомбы и врываетесь в храм?

— Надо власть уважать и ворота открывать. Тогда и взрывов не будет. Я — комиссар со специальными полномочиями от архангельского губисполкома. Согласно выданному мандату прибыл организовывать коммуну. Монастырь, как пережиток темного прошлого, я реквизирую под штаб коммуны. Па-а-прашу в четверть часа очистить территорию!

— Согласно закону Совета народных комиссаров от двадцать третьего января одна тысяча восемнадцатого года от рождестве Христова, церковь отделена от государства. Для закрытия монастыря мне нужно указание от епарх...

— Ма-а-лчать! Я те дам указание! Хочешь под дулами винтовок вылететь за ворота? Немедленно очистить бывший монастырь.

— Я буду жаловаться по своим и светским инстанциям. Подчиняясь силе несправедной, мы уйдем.

— Вот-вот, жалуйся хоть своему бывшему богу. А ты, поп, дабы пожара не случилось, загаси свечи и лампы и тоже выметайся. Жаловаться иди, ха-ха-ха!

— До принятия официального решения гасить лампы не будем. Это богохульство.

— Хрен с вами. Махутка! Загаси огни.

Больше не оборачиваясь, Гоша пошагал к дверям жилого здания.

◆ Когда монахини и послушницы, за исключением двух поварих, которых Гоша насильно оставил на кухне и запер, игуменья и отец Сергей, перекинув через плечо котомки с нехитрыми пожитками, скорбной чередой вышли из ворот монастыря и остановились, обернувшись, отдать последний поклон обители, в горку вбежал Федор Трофимович с увязавшимся Мишко. Прибежали они на услышанный в селе взрыв гранаты. Спиридония вкратце рассказала о происшедшем, попросила позаботиться о сестрах и послушницах. Сама она переночует у Татьяны Третьяковой, церковной старосты Преображенского храма, а иеромонаха Сергея приютит до утра отец Игнатий. Еще она попросила назавтра отрядить кого-либо с повозкой — отвезти их с отцом Сергием до станции: поедут в Архангельск правды искать у епископа и советских властей. «Хотя и мало надежды», — скорбно сказала игуменья.

Забегая вперед, скажем, что Спиридония и Сергей назад уже не вернулись. Спустя год от отца Игнатия, ездившего в Архангельск к архиерею, который спешно собирал священнослужителей епархии по поводу появления декрета об изъятии церковных ценностей, узнали: о возвращении монастыря власти и слушать не пожелали. Оставшихся без дел Спиридонию и Сергея отправили в Москву на патриаршьё подворье. Некоторое время они пожили в Новодевичьем монастыре. Затем Спиридонию

благословили игуменьей Кременецкого монастыря на Украине, а иеромонах Сергей волею судеб оказался аж на греческом Афоне.

— Да-а,— захмурился Федор Трофимович,— перегибает власть, перегибает. Нехорошо это, многими бедами откликнется.

— А ведь нехорошее число их: исключая командира — тринадцать,— сказал отец Сергей,— не к добру...

Не успел иеромонах закончить слова свои, как изнутри монастыря раздался страшный крик и глухой стук, как падает свысока туго набитый чем-то мешок. Все замерли, а через минуту в незапертые ворота выбежал Махутка и заорал: «Фершала зовите, фершала!» За фельдшером Архипычем взялся сбегать Мишко.

Как выяснилось, едва последняя монахиня вышла из монастыря, Гоша велел водрозить повыше над взятой твердыней красное знамя. От маковки церкви и колокольни сразу отказались, поэтому Гоша послал Карла Каудзитаса, хотя и двухметровостого, но ловкого, укрепить стяг на верхнем ярусе колокольни. Тот скоренько взбежал по внутренней лестнице, осмотрелся и обнаружил в метре от открытой площадки на стене удобное отверстие. Перегнувшись через перила, Карл почти дотянулся древком до него, но сапоги его заскользили по замороженному каменному полу, туловище перевесило, и латышский стрелок вольной птицей полетел вниз. На его несчастье каменная же площадка округ цоколя колокольни аккуратно расчищалась монахинями после снегопадов и метелей.

...Пришедший спустя четверть часа Архипыч только развел руками. «Вот и двадцать стало,— тихо проговорил отец Сергей,— но и это число антихристам ничего хорошего не сулит».

Изгнанники спустились в село, а подоспевшие бабы, загодя предупрежденные старостой, по одной, по две повели монашек по своим домам. Послушницы же были из местных — из села и окрестных деревень,— поэтому и вернулись к родительским дворам.

Беспокоясь за судьбу двух оставленных послушниц-кухарок, Федор Трофимович вернулся в монастырь, спросил Гошу.

— Слушай, несознательный ты, а еще член нашей партии! Видишь, товарищ наш боевой погиб, с красным знаменем не расставаясь. Не до тебя. Кухарки будут при кухне. Должен же кто-то харч нам готовить. Вечером отпустим, а затем хоть их, хоть кого других каждый день присылай с утра готовить. Считай — по разрядке коммуны. Так что иди себе. Да-а, собрание пока отменяем.

◆ По всему чувствовалось, что Гоша был напуган потерей в течение суток трех человек команды, поэтому в кровь разбил рожу коммунару Егорке, на крик кухарки заглянув в кухонное помещение: от облапил послушницу (вторая в это время вышла за охапкой дров) и уже тянулся блудливой рукой к подолу темного монастырского платья. Более того, приказал охальника на трое суток посадить в карцер — келью на втором этаже жилого дома, заперев ее на внешний замок, кормить раз в день сухомыткой. Также велел поставить туда два ведра: одно с водой для питья, другое под парашу.

Карла, хотя тому при жизни и не снилось быть мусульманином, похоронили ввечеру того же дня. Похоронили с честью, в церковной ограде рядом с могилами архиепископов и митрополита Никодима. Памятник последнему несколько повредили: устав копать замороженную землю, далее углубляли динамитом, хозяйски прихваченным Гошей с архангельских складов. Покойного коммунара уложили в наспех сбитый хромым Мироном Карнауховым гроб (Гоша приказал старосте), хоронили под гудение горна и «Интернационал», исполненный хорошо владевшим гармонью землемером Холиным. Хромку также вытребовали из села с отдачей. Однако игра Холина понравилась Гоше, и он реквизирует музичинструмент.

Поминали опять же пением революционных песен, расположившись в просторной трапезной, приготовленным кухарками-послушницами ужином, двумя бутылками водки из Гошиного НЗ. По случаю траура командир объявил амнистию Егорке. Тот же в благодарность сообщил узнанное от кухарок днем — он был на сегодня назначен дневальным по коммуне, потому и вертелся на кухне, снимая пробу. А узнал он от простодушных послушниц, что в церковном подвале имеется запас вина кагора для причастий, сохраненного игуменьей еще с давних времен и крайне экономно используемого в годы лихолетья.

Гоша, прихватив Ваняю и Махутку, самолично пошел с проверкой. Подобрал ключ из отобранной у игуменьи связки, подвал открыли и обнаружили целых три ящика кагора хорошей, еще довоенной крымской лозы. Ради новоселья и похорон Гоша велел ординарцам взять целый ящик, а ключ от подвала снял с кольца связки и упрятал в левый карман френча рядом с партбилетом.

У команды при виде вина светлая грусть окончательно переросла в веселье. Холлин весь долгий зимний вечер играл плясовые. Потом под гармонь же завели разбойничьи и каторжанские песни.

Пока шло веселье, Гоша с Ваняем, взяв фонарь «летучая мышь», обошли все кельи второго этажа, размечая: кого куда поселить. И на первом, кроме трапезной с кухней, монастырской библиотеки, имелось несколько комнат, где раньше жили послушницы, занятые ведением хозяйства монастыря. Затем вышли на улицу, проверили замки на служебных постройках, что шеренгой расположились между жилым помещением, кладбищенской оградой и задней монастырской стеной.

Себе же Гоша и адъютанту Ваняю присмотрел маленький домик в левом углу монастырского двора, что раньше занимал отец Сергей. Бывшая поповка восхитила поотвыкшего от домашности своим уютом, отдельной крохотной спальней, гостиной с диванчиком, круглым столом, камином и приличной библиотекой духовной и естественно-философской литературы.

Перед самой полночью командир объявил общий отбой. Коммунары разошлись по кельям, захватив свечи в подсвечниках; еще днем Гоша приказал снести их из всех помещений дома в трапезную: для яркого света. Махутку назначили дневальным на эту ночь по дому, то есть он должен был при фонаре дремать в коридоре на вынесенном из библиотеки топчане. А непьющего китайца Люську, снабдив валенками, тулупом, малахаем и винтовкой, отправили постовым на охрану монастырского двора. На ночь установили три фонаря — у ворот, церкви и хоздвора. А часовому разрешили заходить греться в дом, печи которого натопили, не жалея дров.

Люську же отрядили даже и не потому, что трезвый, а про себя решили: ходить по двору рядом с кладбищем, где свежий покойник, страшновато, а Лю Сые — нехристь, ему все нипочем...

◆ Еще раз строго-настроено наказав Махутке не все время дрыхнуть, а особо присматривать за дверями в кухню и в библиотеку, она же комната для монашеских посиделок-занятий, куда временно сложили весь привезенный груз, Гоша сам и зашел на кухню, положил в мешочек хлеба, уворованной в поезде семги, в также припрятанную бутылку кагора, после чего отправился в *свой* домик.

Там ярко горели свечи, а Ваняю уже вовсю раскопчегарил камин и голландку, обложенную сиреневыми изразцами со сценами из Ветхого завета. Своими боками печка выходила в гостиную, спальню и прихожую с топчаном, на который и улегся уставший от хлопотного дня Ваняю, накрывшись шинелью. Командир вручил ему добрый ломоть хлеба с жирным куском семги.

Гоша же снял сапоги, обув натруженные ноги в меховые домашние обутки иеромонаха, а также заменил пропотевший френч на хозяйский же теплый халат монаше-

ской темно-синей расцветки. Удобно устроился в резном деревянном креслице с подлокотниками, протянув ноги к полыхающему камину. Тепло подумал о Ваняе, сгношившем и самовар. Гоша заварил настоящий чай из запасов иеромонаха, налил в серебряную лафитницу кагора. Выпил, закусил семгой. И чай к этому времени настоялся. В отличие от Ваняе, о прежнем хозяине дома подумал неодобрительно: «Со всем попы зажрались: посуда серебряная, каминные всякие том... шлепанцы меховые... Правильно товарищ Троцкий говорит, что дурман церковный в сто крат хуже контрреволюции с Антантой».

Разомлевший от давно забытого уюта, крепкого чая и умиротворяющей ночной тишины, нарушаемой только потрескиванием поленьев в камине да отдаленного дверью храпа Ваняе, комиссар Гоша впал в полудрему-полуявь. Мысли текли как-то отстраненно, но убедительно.

Из общения с местным населением Гоша понял: к коллективному труду эти куркули не готовы. Да и прямых директив партии не имеется, а грядущее введение продналога, как понимал Гоша, отсрочивает полную и окончательную коллективизацию деревни. Так что же — возвращаться с позором в Архангельск? Нет, это не в его характере. Просто надо подкорректировать задачу экспедиции: ставку делать на личный пример, создать в монастыре образцовую коммуны, пример совместного труда и жизни, а село? — Пропаганда, политпросвещение, агитация за советскую власть!

Все же сон окончательно сморил уставшего комиссара. Был он во всех отношениях приятен и оптимистичен. Минула холодная северная зима, растеклись и влились в разбухшую с ледохода Онегу весенние ручьи, зазеленела первая травка, а там и деревья... Но тут Гоша сам себя во сне поправил: здешние ели и зимой зеленые. Но все равно: белое ушло, осталась зеленая земля да голубое небо. Все село вышло на пашню, везде веселые переключки занятых коллективным трудом людей, вчерашних забитых бедняков и во всем сомневающихся середняков. Мрачноваты раскулаченные, но и они постепенно вливаются в ряды пролетариев сельского труда.

По просторным пашням едет он на коне (И во сне рачительный Гоша озаботился: а хорошо ли Ваняе с приданным ему в помощники Егоркой покормили коней, поставленных в монастырскую конюшню в соседство с двумя же монастырскими ездовыми лошадьми?). Рядом и тоже на коне — Ваняе с красным знаменем в одной руке и с горном в другой.

— Здравствуйте, товарищи трудовые крестьяне!

— И ты будь здоров, товарищ комиссар, с хорошей погодой тебя!

— Да, погода благоволит. Так и овсы скоро взойдут. А с житом-то управитесь в срок?

— Управимся, непременно управимся...

Беседа и дальше продолжалась, но как-то в общем, поскольку Гоша слабо знал сельскохозяйственную терминологию. Ваняе затрубил в горн, созывая работающих на поле крестьян на десятиминутную политбеседу. Гоша спешивается и достает из планшетной сумки свежую брошюру с тезисами съезда ВКП(б) по аграрному вопросу. На других полях и пашнях сеют доброе и вечное остальные коммунары, только Махутка дневалит в бывшем монастыре, да землемер Холин послан в соседнюю деревню: тамошние хлеборобы попросили обмерить пашню, чтобы равномерно распределить работу между двумя бригадами.

Санитар Шишкин помогает фельдшеру Архипычу в приеме легких больных; тяжелых в селе-коммуне давно уже нет. Малахай на соседнем поле, что справа от села, сам пашет на монастырских лошадях. Одноглазый Епифан плотничает с хромым Мироном Карнауховым; как люди слегка инвалидные, к полевой работе негодные, они оборудуют самый большой на селе амбар под клуб.

Семен, как человек политически грамотный, к тому же и художник-самоучка, на

том же дворе — под навесом на случай дождя — готовит наглядную агитацию для скороспелого клуба: натянув на деревянные каркасы кумач, выписывает красками цитаты из трудов Маркса, Ленина и Троцкого, время от времени справляясь с печатным текстом из книжки «Агитатор на селе».

Лю Сые тоже остался в коммуне-монастыре, но он кропотливо сажает огород: будет припас овощей для команды на всю долгую зиму! Юрис же Пумантис, сам из сельских кузнецов, с Левонтием с самого рассвета в кузне: приводят в годность поизносившийся инвентарь. А чем занят Дьердь Кáлоши? Никак не мог придумать Гоша подходящее занятие вечно хмурому, плохо говорящему по-русски мадьяру. В голову лезло все нелепо-плакатное: «А бывший боец Венгерской советской республики товарищ Кáлоши с винтовкой в руках охраняет мирный труд...»

И в этот прудутренный, последний за ночь сон явственно ворвался хлопок выстрела. Гоша открыл глаза и с минуту неподвижно лежал, угреть под шинелью. С улицы послышался топот, хлопнула входная дверь, кричал Махутка: «Калоша застрелили!»

...Наспех одетый Гоша, опережая Ваня и Махутку, ворвался в дом. У растворенной в библиотеку — комнату для занятий двери уже толпились необутые, полуодетые коммунары. Калоша лежал на полу в перевернутом стуле с подлокотниками: от двери виднелись только его поднятые и согнутые в коленях ноги в сапогах. Рядом лежал вороненый наган с блестящей рукояткой. На столе, от которого при выстреле отвалился Кáлоши, лежал лист бумаги — вырванная из книги подобложечная чистая страница. Впрочем, на листе было написано карандашом только два слова: «*Kedves Erzsi...*»^{*} Видно, Дьердь сообразил, что из этой глухомани письмо, да еще написанное по-мадьярски, никуда не дойдет.

Гоша нагнулся и поднял с пола щегольский револьвер с серебряной пластинкой на рукояти. Сколько он ни силился, но не мог понять ни слова из гравированного текста. «Украл, наверное, у кого-то», — подумал Гоша. Рядом стоял Юрка-латыш, он наклонился к револьверу в руке командира, наморщился, зашевелил губами.

— Что? Или прочитывать можешь?

— Знаете, я ведь из полулатышской, полуэстонской деревни, у нас там все оба языка знают. А венгерский и эстонский чем-то похожи...

Юрка взял протянутый Гошей револьвер, пару минут водил глазами по надписи:

— Получается так, что Дьердь Калоши награждается именованным оружием от председателя Венгерской советской республики Бела Куна за боевые подвиги. В этом смысле написано.

— Да, не простой человек был наш Калоша, мне еще в Архангельске намекали. И чего это он?

— От тоски, должно быть, — встрял Холин.

— Вы тут со своей тоской коммуну в похоронную команду превратите! Все это от безделья и пьянства. Баста! Объявляют на территории коммуны сухой закон. Провинившихся — в карцер на десять суток!

Гоша сорвался на истерический крик; с ним случился вроде как забытый с юности припадок. Коммунары оторопело смотрели то на мертвого венгра, то на дергающегося на полу командира. Шишкин растолкал зевак и деловито — на карантинной службе в порту всего насмотрелся — стал разжимать подвернувшейся щепкой изрыгающие белую пену стиснутые зубы комиссара.

◆ Николай Андреевич не только из рассказов матери представлял себе тот северный край и его людей. Во-первых, сам родом с Крайнего севера, что на тысячу с лишком километров ближе к полюсу, чем родина матери. А во-вторых, довелось ему и самому побывать на этой родине.

^{*} Дорогой Ержи... (венг.).

Учась на предпоследнем курсе политехнического института, решил он, поддавшись уговорам матери, съездить в ее родные места. Благо — впереди зимние каникулы, билет студенческий железнодорожный — льготный, в полцены. Да и сам не против проветриться после зимней сессии, слякотной долгой осени и вялой зимы. Захотелось в северный ядерный мороз, да и материного брата Михаила навестить: видел-то его только в самом раннем детстве, забыл, как и выглядит, дядя Мишкó, как его всегда называла мать Николая.

Сдав последний экзамен, Николай, прихватив сумку с материным гостинцем — вареньем из вишни и крыжовника, доехал на электричке до Москвы, перешел с Каланчевки на Ярославский вокзал и уже через пару часов сидел в купе поезда в приличной компании флотских офицеров, ехавших в Северодвинск принимать новую атомную подлодку. Флотские офицеры в те времена на публике не пили, а вот в соседнем купе всю ночь напролет веселились под гитару, как понял Николай, торговые морячки из Архангельска, пели что-то разухабистое про «Емцу-дрицу». Николай спал вполуха, но легко. А в одиннадцать утра следующего дня сошел на станции Плисецк, легко нашел восемнадцатый дом по улице Октябрьской, где, предупредительный материной телеграммой, его ждали дядька Михаил и тетка Катерина, равно и обильно накрытый стол. Оба сожалели, что в ближайшие две недели их дочь Светлана, работавшая инженером на космодроме в Мирном, не сможет приехать: дисциплина там военная, а сейчас каждый день ракеты со спутниками запускают.

Дом дядькин, хотя и одноэтажный, был построен им по всем северным порядкам: с духовым отоплением от русской печи; баня, туалет, мастерская по хозяйству — все под одной крышей. После бани для гостя сели за стол, выпили, завязали разговор.

Историю жизни дядьки Николай хорошо знал со слов матери. Когда он подросток, то в армию его не взяли по причине плоскостопия. Когда в тридцатых годах село коллективизировали, Мишкó очень скоро стал зваться Михаилом Андреевичем — сначала бригадиром, а потом и вовсе председателем колхоза «Красный Север» в двадцать пять лет. Тогда же и сестра его Маня вышла замуж в соседнюю деревню Погост. Женился и он сам, но в тридцать восьмом, лютом для начальников всех рангов году, не дожидаясь возможных доносов и ареста, съездил в Архангельск, нашел кой-каких знакомцев в тамошнем управлении Главсевморпути и получил назначение начальником маяка в Кольском заливе. Туда же выписал после войны и сестру Маню, оставшуюся без погибшего мужа, сама — трое с малыми детьми. Там она и встретила отца Николая.

Как только наступили хрущевские времена, дядя Миша, выслуживший льготную северную пенсию, вернулся в родные края, но не в село Великий Халуй, а осел и отстроился в Плисецке и еще с десяток лет проработал в райпотребкооперации на приличной, хотя и не верхней должности. Теперь заслуженно отдыхал.

В первый день заговорились до полуночи. Опять же дядька сожалел, что не удастся им в этот приезд съездить в родное село Великий Халуй. Благо и недалеко по здешним расстояниям, всего шестьдесят верст без гака, но зимой дорогу не ахти какую замечает, так что два-три месяца в году рейсовый автобус отменяют. «Вот приедешь летом — навестим Халуй, монастырь, хотя уже полуразрушенный, посмотришь...»

Неделю прогостил Николай у родни. Стояли в эти дни крепчайшие морозы при круглосуточно ясном небе, а в доме — пряное тепло духового отопления, тетка Катерина с утра пироги в печь мечет, уху из вяленой рыбы варит, а на ужин парит магазинную курицу. К курице дядька, нагнувшись под обеденный стол, подмигнув, достает из нарочно купленного к приезду гостя ящика бутылку «зубровки». На второй же день по приезду Катерина затушила и домашнего гуся.

После ужина Николай вышел прогуляться. За полчаса обошел весь невеликий поселок, остановился у входа в сквер, на зиму тоже закрытый. Улицы, освещенные

неяркими на морозе фонарями, еще больше оттеняли черноту безоблачного и безлунного неба. На улицах — редкие прохожие, зато в домах все окна горят. Тишина. Простучал через станцию товарняк. Снова полная тишина. В городе такой не бывает и посредине ночи. Николай посмотрел в юго-западную сторону неба: что-то там слегка зарозовело, а затем тоненькая, за десятки километров едва различимая огненная черточка, набирая скорость, ушла в небо и погасла. «Вот и привет от сестры Светланы, — подумал Николай, — через пару часов в вечерних теленовостях сообщат: запущен, мол, очередной спутник с номером тысяча такой-то в интересах народного хозяйства...»

Но сидя за столом и доедая с дядькой гусятину под остатнюю на сегодня рюмку «зубровки», услышал сообщение диктора, что сегодня одной ракетой-носителем запущены сразу шестнадцать народно-хозяйственных спутников.

— Это зачем так много и сразу? — поинтересовался безлично дядька.

— А это испытывают новую баллистическую ракету с разделяющимися боеголовками, — пояснил Николай со снисходительностью слушателя военной кафедры политеха.

◆ Теперь же, приводя в мыслях в строгий порядок слышанное от матери, от дяди Миши (после поездки Николая в Плисецк дядька дважды наезжал к ним в Т.), в контексте всего слышанного Николай Андреевич вспомнил, что, провожая племянника, дядя Миша презентовал несколько староизданных церковных книг, зная увлеченность того историей. Собственного говоря, посулы матери, что в Плисецке имеются старые книги, и убедили Николая поехать в гости.

Книги эти и посейчас стояли на лучшем месте книжного шкафа Николая Андреевича. Еще тогда дядька сожалел, что в свое время, навещая в Великом Халуе мать Татьяну Алексеевну, дожившую до возвращения сына с Крайнего Севера на родину, только эти несколько книг и забрал — для любопытства. «А ведь твоя бабка, мать моя то есть, в двадцатые годы, как бы сейчас сказали, старостихой на общественных началах при мирской церкви Преображения была. Туда же снесли все самое ценное и из монастырского Богородичного храма перед закрытием монастыря. Конечно, золото-серебро в двадцать втором году по декрету изъяла комиссия из Архангельска, но все самые ценные иконы (поплоше сельские бабки разнесли по избам) после закрытия комсомольцами в первую пятилетку Преображенской церкви отец Игнатий передал на сбережение Татьяне Алексеевне. Сам священник тогда же уехал с семейством из села. Так и стояли два поместительных сундука, на замок примкнутые, да укладка с церковными книгами в сенцах родительского дома, заваленные всяким хламом.

Говорил я ей: отдай в архангельский музей, а то сейчас Никита Сергеевич послабление стране дал, а при всяком послаблении сразу вороватый народ плодиться, как мухи на навозе в солнечную погоду, начинает.

Куда там! Отец Игнатий, мол, крепко-накрепко наказывал: отдашь только в церковь нашу, как ее вновь откроют... Вот и дождалась: за полгода как мать померла, нагрянули в село какие-то с виду приличные, в шляпах, все стариной интересовались. На машине легковой окрест все разъезжали. Отлучилась старая на пару дней — в Погост-деревню к тамошней знаменитой знахарке со своими болячками, — вернулась: сундуки-то с укладкой пусты. Так у нее ноги отказали, до смерти уже не оправилась».

...И еще тогда дядька, порывшись в кладовке, принес порыжелую картонную папку, явно погрызенную мышами, с оттиснутым словом *Дело №*.

— Если не лень в дороге тащить, возьми вот. Когда на похороны ездил — захватил на память. Тут пустяки всякие, записи хозяйственные по церкви — материным почерком. Еще какие-то записи, но не ее...

Приехав домой, Николай с интересом читал жития святых. Папку тоже раскрывал, порылся в разрозненных бумагах самого различного формата. Просмотрел половину стопки: действительно, все записи о фунтах лампадного масла, саженьях дров и прочее хозяйственное. Так и оставил в покое. Когда женился на последнем курсе и перебрался примаком в тестеву-тещину квартиру, то из родительского дома забрал только наиболее ценные свои книги, а весь хлам, старые учебники, студенческие конспекты, тож порыжелую папку, вынес в сарай, сложил повыше на грубо сколоченные полки, где размещался всякий инвентарь и инструменты, всегда необходимые в частном доме.

...А вот теперь вспомнил о папке, может какое-нибудь упоминание в тех записях о лихолетье коммуны имеется? Хоть в контексте нехитрых записей что удастся уловить? Но дело все осложнялось тем, что был тот дом уже не родным: после кончины матери (отец умер раньше) перешел он в чужие руки. Каким-то хитрющим манером теперь им вовсе незаконно завладела вдова недавно погибшего среднего брата, ушлая *m-я* бабенка: и Николая Андреяновича с младшим братом-художником к разделу не подпускала, и сама жила в собственной квартире, а в дом квартирантов пускала.

Николай Андреянович, как человек воспитанный и интеллигентный (хотя и без очков), слабо себе представлял: как объяснить свой приход какому-нибудь грубому работяге, его подозрительной и никому-ничему не верящей жене? Да и надежды, что бумаги в сарае сохранились через столько-то лет при сменяющих друг друга квартирантов, практически никакой...

Однако, пересилив эту самую интеллигентскую рефлексю, как-то в воскресный день вышел поутру из квартиры, купил бутылку вполне приличной водки, сел на автолайн и поехал на другой конец города в поселок металлургов.

Нерешительно постучал в столь памятные ворота с калиткой. Звонок уже не работал, да и сам ранее белоснежный, выбеленный дом посерел, как-то сник. Никто не шел. Николай Андреянович заставил себя разозлиться и загремел кулаком. Дверь с веранды растворилась, вышел всклокоченный мужик в неряшливой майке:

— Чегой грохочешь? Что нужно?

Сообразив, что мужик в самом пике неопохмеленных страданий, Николай Андреянович без промедления поднял над забором руку с бутылкой:

— Впусти. Разговор есть.

На радость гостя-спасителя и супружницы мужиковой не оказалось дома: уехала в подгороднюю деревню к родне то ли на крестины, а может и на поминки. Мужик с похмелья точно не помнил. Придя в чувство и не задавая лишних вопросов, тот ткнул рукой в сторону сарая, что виделся из кухонного окна:

— Иди сам смотри. Я там пока ничего не трогал. Думаю вот самогонный аппарат стационарный...

Не дослушав, Николай Андреянович вышел из дома, обогнул его и вошел в незапертый шлакоблочный сарай. Через несколько минут весь в пыли и паутине, но с заветной папкой в руке, Николай Андреянович зашел попрощаться с гостеприимным временным хозяином. Тот не возражал, инстинктивно придвинув бутылку к себе поближе.

Воскресный вечер, перешедший в ночь-за полночь, Николай Андреянович разбирал пересохшие и пожелтевшие листы разноформатной бумаги, исписанные вперемежку чернильным карандашом и выцветшими чернилами. Наскоро просмотрев уже когда-то виденные листы сверху пачки, Николай Андреянович залистал дальше. Где-то с середины между хозяйственными записями, непонятно почему справками о крещении, поминальными списками, черновиками писем отца Игнатия в епархию стали попадаться листы, исписанные нервическим, характерным почерком, довольно малопонятным. Фразы-записи прерывались датами. На всякий случай эти листы Ни-

колай Андреянович откладывал в сторону. Их было немного. Долистав до конца стопки, не найдя ничего интересного, он сложил все снова в папку, прилег на диван, захватив листы с малопонятным почерком.

После разбора первой же фразы кровь застучала в висках, от волнения подскочило давление — хотя гипертоником и не был: *это были разрозненные листы из дневника комиссара Гоши!* Всего Николай Андреянович нашел пять датированных листов записей, неведомо как попавших в церковно-хозяйственные бумаги его бабки.

*21 марта <1921 г.>**

◆ Конец марта, а мороз и не думает униматься. Впрочем, за последние годы к чему только не привык? А здоровье пошатнулось: здесь уже третий припадок падучей. Уж было и думать про нее забыл... Хворостов тоже хорош: позавчера лавочник Ключкин оказией привез со станции очередное, третье по счету предписание: рапортовать об успехах Первой образцовой коммуны имени Кондратия Булавина. Ему, видите ли, надо готовиться к докладу на бюро губисполкома. А что я ему отрапортую: жратва из монастырских запасов почти закончилась. Главное, не усмотрел — весь сахар Шишкин с Малахаем на самогон перевели: устроили самогоноварню в избе Мирона Карнаухова. Бил лично палкой, а потом Ваня с Юркой-латышом публично выпорол. Посадил на гауптвахту, а на второй день к ним же и Махутку определил. Сукин сын, ссильничал вдовую солдатку, что на краю села жила. Еле убежал от соседских мужиков — с топорами гнались! Здешний народ довольно терпелив, но за топор берется уже не для угрозы...

От монастыря мужиков отогнали пальбой из винтовок в воздух. На другой день староста приходил: требовал либо самим расстрелять охальника, либо под охраной отправить в район милиции. Сказал, что и так до крови наказали. Главное, подлец, теперь пусть опасается Ваня и Егорки, те чин-чинарем тож солдаток себе завели, что в кухарках прижились: Федор-староста объявил, что баб более в монастырь отряжать не будет. Пусть сами хлебово себе готовят. А из чего его готовить-то? Впору отряжать на село свой продотряд. Что-то в голове перевернулось: как-то снизу и от ушей вверх прихватывать начало. Опять гам и раздрай от казармы слышен. И Ваня куда-то задевался. Надо самому утихомиривать идти от тепла-то! Впрочем и дровам скоро каюк.

7 мая <1921 г.>

Давно не писал. Весна пришла, а приливы к голове все сильнее. Первого мая вышли из коммуны без оружия, с красным знаменем и двумя плакатами, изготовленными Семеном. Что-то он совсем ослаб, кашляет, все больше отлеживается под тулупом. Не жилец, видать. Староста, подчиняясь официальному празднику, собрал хилый митинг: местная интеллигенция вшивая, старухи, дети. Говорил о радостных перспективах: войну с Польшей окончили, хозяйственная жизнь в стране налаживается, вот и продрозверстку упраздняют...

При упоминании о продрозверстке толпа злобно ощерилась: их Гоша уже две самолично провел. Вторая и вовсе стрельбой завершилась — с нашей стороны: стреляли в воздух, отгоняя от амбаров. Но все равно Ваняю нос свернули, Лю Сые сломали два пальца на правой руке, выворачивая винтовку, а одноглазый Епифан уже третью неделю валяется и стонет с переломанными ребрами. Хорошо, фельдшер Архипыч, старой закалки лекарь, пользует и врагов... Впрочем, слегка подстрелили и одного парнишку, что броском кирпича вывихнул мне плечо. Но тут мы квиты.

Заклучили формальное перемирие со старостой. Он же пообещал скорый конец нашей коммуне: дескать, Егор Ключкин уже не одно письмо «в инстанции» лично в

* На листах дневника год не был обозначен, поэтому приводится в скобках <...>. Понятно, что и грамматика здесь приведена в норму современных правил.

почтовый вагон поезда «Москва — Архангельск» и в обрат передал; с официальными и коллективными жалобами.

Да-а, темен народ в стране, ох, как темен! Сколько ж придется его приструнивать, к коллективной жизни и труду переобучивать? Скольких это жертв с сознательной и несознательной сторон окажется? Страшно и подумать.

Вот сегодня допил последнюю бутылку реквизированного лично для себя церковного кагора. Хоть голова вечером и ночью отпустит. Уже полночь. В коммуне все дрыхнут, а со стороны села песни доносятся: это в просторном амбаре Мирона Карнаухова опять посиделки. Вот и заставь их в свободное время политграмоте учиться?!

30 мая <1921 г.>

Умер боевой товарищ и стихийный художник Семен. Чахотка в последней стадии, а он снова поехал с нами на передний фронт борьбы. Похоронили с честью... уже не одна коммунарская могила в этом бывшем поповском вертепе. Все же где-то умудряются гнать эту самогоновку: в ночь после похорон, напившись, открыли винтовочную палубу в сторону села неугомонный Махутка и Юрка-латыш. Последнее самое непонятное: хотя и не трезвенник, как Лю Сые, но всегда отличался благоразумием. Не иначе как проклятое это место, навеки пропитавшееся религиозным дурманом.

Стреляли, стервечи, в растворенные ворота коммуны. Юрку Лю Сые ввел в бессознание и лежачее состояние прикладом винтовки, а Махутка винтовку-то бросил, но выхватил гранату и с криком «Бей контру!» бросился по лунной дороге в сторону села. Как выяснилось в ночном расследовании при свете фонарей, Махутка бросил-таки гранату, но недалеко она упала и изранила смертельно осколками бросальщика. Все несчастья от этих гранат... и зачем только их взяли сюда?

Похоронили без почестей в дальней углу монастырского кладбища. Горн передал Ваняю. Впрочем, на утреннюю побудку и вечернюю переключку уже давно не горнили. Опять есть нечего. Позавчера староста передал у ворот полмешка муки. Сказал: все, это последнее до новины...

Расписался что-то. Так Бальзаком или Достоевским станешь в этих стенах!

20 июня <1921 г.>

Что ж сильно плотское в человеке! Не взирая, что староста ночную стражу завел с дробовиками, Ваняй все одно иногда бегаёт к своей солдатке. Но и польза имеется, вчера принес весть: на селе получили газету о замене продразверстки налогом. И частную торговлю, и ремесло снова разрешили. Куда товарищи Ленин и Троцкий смотрят? Оно, конечно, вожди смотрят куда надо, но ведь и курс на попятный опасно так сразу брать?!

Означает ли это конец (временный, конечно) идее коммуны? А был ли мальчик? Ведь только что...

(Далее запись, не достигнув и середины листа, прерывалась. По всей видимости, как сообразил Николай Андреевич, опять что-то не заладилось в коммунарской жизни).

11 июля <1921 г.>

Конечно, реквизиция золотишка-серебришка из внешней церкви, да еще с легким избиением попа Игнатия, угрозой револьвером старостихе Татьяны Третьяковой, это жест отчаяния. Ведь объяснил этому Федору: будем возвращать постепенно в обмен на продовольствие. А он сам укатил — видно было с монастырской выси — на летнем тарантасе в сторону парома и далее через Онегу.

Специально, хотя и ночь полнолунная, посылал Ваняя к своей солдатке узнать. Оказывается, поехал Федор Трофимович на станцию с намерением сесть в поезд — и к самому высокому архангельскому начальству. Что-то будет? А может и ничего.

Ведь на предыдущие кляузы там, по всей видимости, внимания и не обратили. Хворостов головой за коммуны должен стоять, иначе и сам погорит! Впрочем, уже два месяца как почты нет, а скорее всего староста не передает.

А потом я чист перед партией и советской властью. Если и были кой-какие грехи по молодости лет, то у кого их в это неустроенное время не было! Как это говорил бывший христианский бог: кто без греха, тот пусть первый выстре...— тьфу! То есть пусть первый бульжник — оружие пролетариата бросит...

Вандея... настоящая кондовая Вандея этот глухой край. А вся Россия? Сколько же ее придется ломать? Нашу коммуны лет через десять еще будут добрым словом вспоминать.

А чертов монастырь, поповское это гнездо, все же красив. Как это у Гумилева? «...Белый монастырь». Но что перед этой строкой — увы, забыл. Опять голову заломило.

◆Через неделю спешно прибывшая в сопровождении Федора Трофимовича выездная судебная бригада губчека с отделением бойцов разоружила и арестовала коммунаров. Следствие велось всего два дня в стенах монастыря, куда суровый гепеушный командир из портовых рабочих Соломбалы поочередно вызвал почти что все село. Наутро третьего дня всех девятерых коммунаров, что пережили эти злосчастные полгода монастырского сидения, вывели под конвоем из ворот и кучно поставили у белой стены обители.

При чтении приговора только при упоминании имени Ивана Прокофьевича Трефилова коротко всплакнула в толпе сельских зевак Ваняева солдатка.

«...Шишкина Александра Лукича, а также бывших красноармейцев Лю Сые и Юриса Вилисовича Пумантиса за контрреволюционную деятельность, вооруженный разбой, мародерство и грабеж приговорить к высшей мере защиты советской власти: расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно», — закончил чтение обвинения суровый председатель выездной судебной бригады.

Перед всплеском винтовочных выстрелов Гоша, преодолевая раскаляющую голову боль, все силился вспомнить ускользающие строки стихотворения Гумилева. Так и не вспомнил.

...Брат Николая Андреяновича, художник-пейзажист, где-то в конце восьмидесятых годов съездил-таки на этюды на материну родину. Подарил старшему брату свою картину в строгой черной рамке: вид на село и полуразрушенный монастырь с берега Онеги.

Рассказывал, что часть стены слева от ворот, где расстреляли коммуны комиссара Гоши, цела и какой-то турист, что много развелось на русском севере, то ли с умыслом, а может, и просто так... что называется «по погоде», начертал кирпичом по сохранившейся, хотя и посеревшей извести:

*Красным,
белым
и зеленым
Нагоняем сладкий бред...
Взгляд блуждает по иконам...
Неужели бога нет?**

* Николай Рубцов «Гость».

ПОЭЗИЯ

Виктор Пахомов



* * *

Чтоб в заоблачных высях витать,
Благоглупости множить, пророчить,
Стало белого дня не хватать.
Стал прихватывать ночи.

Вот бредет он — совсем не жилец,
Поглощенный ночью строкою,
И невидимый миру венец
Поправляет дрожащей рукою.

Он, распявший себя на миру,
Потакая безумью и блажи,
Сам с собою играет в игру,
Из которой нет выхода даже...

ПАМЯТИ ПОЭТА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВА

Вот и умер мой горький дружочек,
Разорвал ультиматум судьбы,
Счеты с жизнью свел без проволочек,
Без канюченья, слез и мольбы.

Жить бы мог припеваючи, вволю,
Позабыв о России-рабе.
Только русскую подлую долю
Поменять не позволил себе.

А была она впрямь без просветов,
Как у всех ветром сбитых птенцов.

Был он лучшим из нас, но об этом
Знал лишь Решетов да Кузнецов.

И, конечно же, тетка учитель
Смог кого на чуть-чуть пережить.
Почему ты позволил, Спаситель,
Оборвать драгоценную нить?

Сберегла, сохранила бумага,
Где слеза пролилась, где вино.
Только вызова смертного шага
Ни принять, ни понять не дано!

Мир живых — дорогой и постылый!
В нем пьют горькую чашу до дна.
Как тебе отдыхается, милый
«В колыбели последнего сна»?

КОМУ-ТО ЭТИ ВОТ ПОЛЯ...

Кому-то эти вот поля,
В которых зазмеились лужи
В осенней мороси и стуже,—
Всего лишь стылая земля.

Кому-то этот в небе грай
Над черным лесом и болотом —
Лишь ритуал перед отлетом
Прощающихся птичьих стай.

Кому-то осени печаль —
Всего лишь повод умилиться:
Какие краски, листья, лица,
Какой простор, какая даль!

А мне все это душу рвет.
Я будто бы и впрямь в ответе
За это все: тоску и ветер,
И этот день, и этот год...

ГОЛОС

Я шел по камням бездорожий,
И голос послышался мне.
И был он на мамин похожий,
И стало мне горше вдвойне.

От этого выплеска боли
Из мукой объятой груди:
«Везде я, сыночек, с тобою.
Постой, не спеши, погоди!»

Выходит, что даже у Бога
Ей успокоения нет.
Родная — ни мало ни много —
За сына все держит ответ!

И даже оттуда, оттуда,
Где замкнута брэнная речь,
Сыночка от всякого худа
Пытается предостеречь...

* * *

По израненной бедной стране
В дальнем прошлом, еще не забытом,
Бродит мальчик в зеленом сукне —
В пальтеце, из шинели пошитом.

На его изможденном лице
Тень тревоги с надеждою рядом.
Он не знает еще об отце,
Вбитом в землю немецким снарядом.

Он не знает еще и о том,
Что все эти несчастья — начало.
Слишком многое будет потом,
Чтобы в слове оно зазвучало!

* * *

Кто-то с улицы смотрит в окно,
Не стучит, не зовет, не таится.
Только смотрит с луной заодно.
Только смотрит. Но так не годится!

Выйду. Нет никого. Тишина.
Шорох листьев по кровельной жести.
В дом войду — он опять у окна.
Лампу выключу — там же, на месте!

Вон он, вон! Неподвижен и нем,
С неотступностью судного взгляда.
Кто он, что он, откуда, зачем?
И чего ему, собственно, надо?

Ничего? Так зачем же в окне
Все стоит он, таясь за жасмином?
Это напоминание мне,
Что плохим оказался я сыном!

Что не думал о маме всерьез,
Что де с ней приключится, с двужильной?
Приключилось: бурьяном порос
Ее холмик могильный...

* * *

Были весны холодными,
Были осени злыми.
Вот и стали свободными,
Вот и стали чужими.

Ни упреков, ни жалости.
Все, что было, утрачено.
За грехи и за шалости,
Видит Бог, переплачено!

Сколько можно так маяться?
Жизнь такая — на кой?
И душа разрывается,
И вины никакой!..

ДЕРЕВНЯ

Глуха предзимья полоса,
Слепы закаты и восходы
Там, где продрогшие леса
И льдом затянутые воды.
Во всем унынье и тоска.
Открыт простор, но сердцу тесно.
И участь каждого близка,
И эта участь неизвестна!
И месяц, как дорожный знак,
Завис у горизонтной кромки.
Сорочий стрекот, лай собак
Под завывание поземки.
Ты не забудешь этот вид
В чреде всех праздников и буден.
Нет ни души, деревня спит,
А сон тяжел и непробуден.
Ты ей желал такой судьбы?
И мог ли знать, что будет хуже?
На всю деревню три трубы
Еще дымят, борясь со стужей.
Старушек слышу голоса,
Гляжу в их страждущие лица.
Но что предзимья полоса
Пред тем, что в душах их творится?
Когда они, припав к окну,
Сжигают взглядами нам спины
Под ветра свист на всю страну,
Что знали славной и единой.
Что бросила, забыла их
С их верностью родному краю.
И потому свой горький стих
Им, безымянным, посвящаю...

* * *

Не пшеницей, ни рожью — снегами
Засеваются наши поля.
Зря ль в посадках вдали, за стогами,
Мечут гнезда с ветвей тополя.

На душе все больнее, все гаже,
Будто вляпался с ходу в дерьмо.
Гневом давится время само.
Жизни ход вековечный разлажен.

Прохожу, раздираемый мукой,
Чтоб не видеть весь этот содом.
И грядущих исчадий порукой
С Божьих высей свергается гром.

Зимний гром не простая примета!
Знак: болеет природа сама,
Что не будет весны, как и лета.
Будет длиться и длиться зима...

ПРИДИ!

На Куликовом поле ночью —
Приди, послушай, посмотри —
Поймешь, увидевши воочью,
Что происходит до зари.

Где в свете лунном резки тени
От постаментных черных плит,
Сам Сергей, павши на колени,
Молитву Господу творит!

И осознаешь, может статья,
Коль не собрался за кордон,
Что горькими слезами старца
Давно уж переполнен Дон.

А то, что в гуле небывалом
Встает, растет перед тобой,
Является народным валом,
Катящимся к передовой.

* * *

Залегла деревенька у брода,
В глухомани, вдали от дорог.
Нету русскому духу извода!
Как не верить такому я мог?

Вот они, два мальчика и девчонка,
Гонят стадо под сенью лозин.

Как кричат они дружно и звонко
Под замахы своих хвостин!

Загорели их руки и лица
На ветрах и под солнышком власть.
Не твои это дети, столица,
От которых давно отеклась.

Не твои! Это дети народа!
Ими будет Россия горда,
Та, которой не будет извода
Веки вечные, никогда!

Так живи, деревенька у брода,
В глухомани, вдали от дорог,
Будто в сердце родного народа.
Да храни тебя время и Бог!

ВОРОБЕЙ

Воробей — законный житель
Склада, где хранят зерно.
Где его гнездо — обитель
От невзгод защищено.

Где был рад он новоселам,
Словно каждому сродни,
Где в чирикание веселом
Проводил златые дни.

Но случилось в мире что-то,
Хоть лети отсюда прочь.
Склад пустует и ворота
Нараспашку день и ночь!

Воробей сидит, взерошен,
Неподвижен, глух и нем.
Он не только огорошен,
Изничтожен он совсем.

И глядит нептичьим взглядом:
Не накормишь, так убей!
Вот вспорхну и сяду рядом.
Я — такой же воробей!

ПРИЧТА О ПЕТРЕ

Был он Симоном — злосчастным рыбаком.
Кто бы ведал, кто бы помнил о таком?
Камнем веры стал, на коем вырос Храм.
Стал апостолом Христа и братом нам.
...Вот ладья его по озеру скользит.

Небо тьмою наползающей грозит.
Буря движется, недолго до беды:
Снасть ему уже не выбрать из воды!
Погружается в пучину сам рыбак.
Не добраться ему к берегу никак.
Еле выплыл, выполз тварью на песок.
Струйка крови изукрасила висок.
Пред Учителем таким он и предстал.
И Учитель его выбрал и призвал
К делу новому, великому труду:
Божий храм поднять у мира на виду!
Храм спасения, храм веры и надежд,
Примеренья посвященных и невежд!
...Головою вниз распятый на кресте,
Как и жил он, так и умер во Христе!
Был он Господа достойный ученик,
Своим мужеством и правдою велик.
За учителем шел смело, напролом
И мечом владел не хуже, чем веслом.
При аресте в гефсиманской тишине
Разметать бы мог он стражников вполне,
Потому что был отнюдь не херувим.
Поплатился стражник ухом лишь одним.
Увести Петра могли враги с собой,
Только чем бы завершился этот бой?
Но Спаситель поднял руку: «Брось свой меч!»
Неминуемое можно ли пресечь?
Как рыдал апостол, видя, что невмочь
Уводимому Учителю помочь.
Пусть три раза отрекался от Христа,
Но душа осталась все-таки чиста.
Не признал Господь его невольный грех.
Да поделится его вина на всех!
Человеческое — святости чета
Там, где Божеская милость разлита.
Не случайно веки вечные подряд
У Петра в руках ключи от райских врат.
Держит он за них пред Господом ответ.
И ответственной ответственности нет.
Свою жалость не пытаюсь превозмочь,
Толпы грешников он гневно гонит прочь,
Где в тоске от осознания вины
И России бедной грешные сыны.
...Из библейского того ли далека
В грубом рубище простого рыбака
Он несет по миру благостную весть,
Что у нас еще спастись возможность есть!
Что должны мы положиться на себя,
Божий мир не ненавидя, а любя.
Петр апостол, не с ума ли я схожу?
В лик твой грозный безбоязненно гляжу.
Уловил меня ты волею Его
И не надо мне от мира ничего!

Валентин Киреев



ДУРАЦКИЙ КОЛПАК

У поэта Глазкова есть такая строка:
«Нужно быть очень умным, чтоб сыграть дурака».
Только я не согласен на дурацкий колпак —
Дураков натуральных хватает и так.

Ну а в жизни для многих завидная роль,
Эта роль дурака — вдруг приблизит король!
И, глядишь, короля наставляет дурак,
А король надевает дурацкий колпак.

И трещит королевство, и рвется по швам,
Мне такое до смерти противно, а вам?..

ЭТО, ВЕРНО, СЛУЧИЛОСЬ...

Затухает закат. Словно пламя костра,
Утомившись от жара и света,
Поморгав, улеглось отдохнуть до утра
На уставшее тело планеты.

Оплывая, спускается ночь на дома,
Чуть заметно колышет крылами,
Вот такими ночами и сходят с ума
Это, верно, случилось и с нами.

А иначе, откуда, как искра, зажглась
И неистово вдруг разгорелась
В нас, степенных, такая кипучая страсть
Безрассудная, дикая смелость?

Будто сотни и сотни столетий назад
Я шагнул в эту бурную реку
И, вдохнув губ твоих колдовской аромат,
Умер, ожил и... стал человеком.

И наступит рассвет, и рассеется тьма,
Будет день на другие похожим,
Но и будущей ночью сойдем мы с ума
Потому что иначе не сможем...

СВОЕ МЕСТО

Из сотни слов я нахожу одно,
Которому в ряду одно и место —
Поставь не там — и загрустит оно,
И захворает, потому что тесно.

Любому слову плохо в тесноте,
Как людям в переполненном трамвае.
Оно свободы хочет на листе,
Неважно — в середине или с краю.

В строке слова, как к зернышку зерно
В своих ячейках, образуют колос
И, если все колосья заодно,—
Стихи, как поле, обретают голос.

И запах появляется, и цвет,
И признаки взросления и роста,
А это значит: всем словам поэт
Нашел места — все остальное просто...

РЖА

России так у нас надолго хватит ли?
Когда все то, что строилось века,
Прибрали и захапали предатели
И за копейки гонят с молотка.

Еще немножко,— говорят политики,—
И вылечим Российский организм!
Скрипят в огромном механизме винтики,
Съедает ржа огромный механизм...

СПРОСИТЕ МЕНЯ — Я ЗНАЮ...

Я встретил тебя в поселке,
Где все мы друг друга знали,
Где, кажется, каждый камень
Я в детстве ногой пинал.
Была ты совсем чужая
Баракам шахтерским нашим,
Снегурочкой ты казалась —
Я сразу тебя узнал!

Каким же холодным ветром
Тебя занесло к нам в школу,
Что даже Иван Петрович
С указкой примерз к доске...
А я почему-то верил,
Что ты подойдешь и сядешь
Со мною за третью парту,
Качая портфель в руке.

И ты подошла и села,
Сказала с насмешкой: «Здрассте»,
И я, вдруг собравшись с духом,
Чуть слышно шепнул: «Ты кто?»
А ты повела бровями
Над зеленью глаз огромных
И, взглядом ударив в душу,
Переспросила: «Что?»

Летели, как дни, недели...
Все было обычно в классе,
И только кудрявый классик
Меня понимал вполне —
Я письма писал стихами,
Выдергивая страницы
Из тонких своих тетрадок,
На парте и на стене.

Казалось, что «страшной» тайны
Никто не узнает в школе,
Что долго еще сумею
Я этот хранить секрет,
Но тот же Иван Петрович,
Когда я писал, терзаясь,
Посланье тебе, холодной,
Меня пригласил к доске.

Остался листок на парте,
Открытый и незащитный,
И ты пробежала взглядом
По строчкам... Была весна...
Мы вышли гурьбой из школы,
И ты оказалась рядом,
И вдруг, улыгнувшись робко,
Портфель протянула: «На!»

Бывает ли в жизни счастье? —
Ученые спорят люди, —
Такое, что небо в звездах
И в солнечный ясный день!
Спросите меня — я знаю —
Бывает оно, бывает,
Когда та, кого ты любишь,
Доверит нести... портфель...

ПОСЛЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ БАЛ

Был наш последний школьный бал,
И ты была царицей бала.
А я с другими танцевал,
И ты с другими танцевала.

А мне твердили: «Не ревнуй!
Напрасно это!»
А мне твердили: «Не горюй,—
В разгаре лето!
Еще ликуют соловьи
В зеленых кронах,
Бывает горечь от любви
У всех влюбленных».

Но мне-то что от этих слов?
Мне воздуха сегодня мало,
Была и кончилась любовь —
С другим моя царица бала.
А за окном бушует дождь
Над школьным садом;
Я знаю, ты меня не ждешь...
Ну и не надо!

НЕ ПОЙДУ!

Звезды бок у месяца отъели,
Лед на стеклах — в палец толщиной,
Я без сна ворочаюсь в постели
И творится странное со мной.

Будто все, что происходит, было —
Вот сейчас, в определенный срок,
Резкий, с неожиданною силой,
Телефонный прозвенит звонок.

«Извини,— ты скажешь,— разбудила?
Но молчать я больше не могла
Я тебя люблю, всегда любила,
Я тебя лет тысячу ждала...»
Я вскочу, отброшу одеяло,
В спешке одеваясь на ходу,
Брошусь к двери... Так уже бывало!
И опять, конечно, не пойду...

* * *

Если сердце рваться перестало,
Памятные даты вороша,
Значит, сердца у души не стало —
Вот она и мечется, душа...

* * *

Физической сущности тара —
Моя оболочка — крепка,
Она еще держит удары,
Хотя и помялась слегка.

Еще в этом грешном сосуде
Крепчайшее бродит вино,
И дышится полною грудью,
И сердце надежды полно...

ПРОПISKA

Прохожу по улице знакомой,
Долго под рябиною стою —
Вспоминаю и... не узнаю
В груди кирпича родного дома.

Сердце сбилось, снова застучало:
«Тук да тук», и память ожила —
Здесь меня любимая встречала,
Здесь из странствий мать меня ждала.

Весело скрипели половицы,
На диване кот привычно дрых,
А вокруг стола светились лица
Самых-самых близких и родных.

Тычась в складки занавески тонкой,
Лучики скользили по стене,
И сестра, совсем еще девчонка,
Мне казалась взрослою вполне.

За окном, склонившись, у забора,
Цвел подсолнух в нимбе золотом,
И велись неспешно разговоры —
Праздные беседы о... пустом...

В призрачные контуры былого
Вглядывался я, едва дыша,
И шептал четыре горьких слова:
«Здесь моя прописана душа...»

ХРАНИ

В путь отправляясь, в памяти храни
Поселков малых редкие огни,
Избушки близлежащих деревень,
Завалинку у дома и плетень,

Девчонки первой золото косы
И поле — в самоцветах от росы,
Хрустальную прохладу родника
И перистые в небе облака.

Все прожитые по минутам дни
В краю родимом, в памяти храни...

Серафим Лавров



* * *

Я весной опять уеду
В ту родную глухомань —
В край отцов моих и дедов
Под названьем Епифань.

Глухомань, где я родился,
Глухомань, где вырос я,
Где учился, где крестился,
Где живет моя родня.

Глухомань, где утром ранним
Рос под песни соловья.
Глухомань, где в Епифани
Были вместе: ты и я.

1996 г.

* * *

Я помню, как воскресным днем
С волнением, впервые
Траву косил я под окном —
Цветочки луговые.

Косил дрожа, и был я мал,
Впервые шел прокосом,
То «пяткой» сильно нажимал,
То зарывался «носом».

Неровный ряд, кривой прокос —
Тому свои причины.
Но помню, как я вдруг подрос
И сразу стал мужчиной.

Косил потом на берегах,
На поймах, на равнинах,

Косил на клеверных лугах,
Я как крутой мужчина.

Но помню, как воскресным днем
С волнением впервые
Траву косил я под окном,—
Цветочки луговые.

1998 г.

ЛЮБЛЮ

Люблю я тихий шелест трав,
Покой долин и запах пашен,
Немую красоту дубрав,
Что может этого быть краше?

Люблю расхолмленные склоны,
Медовый оком полей.
В саду раскидистые кроны,
Где душу тешит соловей.

Люблю грозу и день морозный,
Люблю осенний листопад.
Люблю росинку жемчуг слезный...
Я все люблю, всему я рад.

1999 г.

НА ЗАРЕ

Брезжит летний восход —
Над долиной встает,
На цветной хоровод
Свет лучей своих льет.

А в ночных камышах
Шепот слышен сильней,
И внимает душа
Запах сонных полей.

И предвестником дня
Жаворонок поет,
На родные поля
Трель монетную льет.

Серебрится роса
На просторах долин,
И звенят голоса
Над красою вершин.

1960 г.

* * *

Облака курчавые
Над полями кружатся.
Степи величавые
Спелым злаком выюжатся.

Над простором солнечным
Солнце улыбается,
А глубокой полночью
Месяц в небе мается.

Пыльною дорогою
Стадо к лугу тянется,
Голосом с тревогою
Эхо отзывается.

1994 г.

ВЕТРЫ ОСЕНИ

Обезлюдил край,
Обезрыбил Дон.
Лишь собачий лай,
С четырех сторон.

В октябре шальной
Выпал снег в полях,
Нудный ветра вой
Навевает страх.

Ветры осени
Бьют метелицей
И колосьями
Поле стелется.

Ветры осени,
Будто волк свиреп,
Словно простынью,
Укрывают хлеб.

Ветры хриплые
Навевают грусть.
Ну и влипли мы,
Дорогая Русь.

1998 г.

* * *

Среди заснеженных полей
И засугробленных откосов,
Среди ответов и вопросов
Несу в молчанье тяжесть дней.

Написана моя судьба
Ошибками моих сомнений,
Ненужных жалких устремлений
И психологией раба.

И пусть душа переболит
Для ясных дней и новой жизни.
И сердце пусть мое стучит,
Грустит и плачет об Отчизне.

И слезы тихие в саду,
И золотой луны свеченье,
Души святое облегченье
И Вера, что не упаду.

2005 г.

* * *

Осенний лес и чист, и светел.
Ветрами наголо раздет.
Как жаль, что я тебя не встретил,
Когда мне было двадцать лет.

На сердце боль, в душе тревога,
Как будто было все вчера.
Как сделал я ошибок много,
Как мало сделал я добра.

Я часто мечен был судьбою,
Я жилы рвал, я жег года.
Я рад, что мы теперь с тобою
И буду верить — навсегда.

Листовою устлана дорога,
Печать судьбы лежит на ней,
И грустно нам с тобой немного
В тиши осенних студных дней

1996 г.

* * *

Любой погоды я поклонник,
Но эта — гонит со двора.
Дождинок бисер в подоконник
Стучит с утра и до утра.

Молчит прогноз, молчит наука
И не понять, что впереди,
А за окном такая скука,—
Неугомонные дожди.

Я сквозь стекло смотрю на дали
А струи нитей с крыши льют,

Но сердца грусть и боль печали
Надеждой солнечной живут.
1997 г.

ТИШИНА

Тишина! Подруга ты моя,
С возрастом ты мне дороже стала.
Милые, родимые края
Ты своим молчаньем приласкала

Будто все в округе крепко спит,
Будто замерло единым разом,
Нежным светом месяц лишь пылит,
Разгоняя тьму багряным глазом.

Будто бы на долгие года
Погрузилась в тишину природа,
Лишь гуляют звездные стада
По холмам бугристым небосвода.

Где-то льют свинцовые дожди,
Где-то стонет фронт непроходимый.
Тишина, постой, не уходи,
Задержишься в краях моих родимых.

Пусть гуляет по полям война,
Пусть ее законы очень круты,
Спрячься в моем сердце, тишина,
Пережди тяжелые минуты.

1999 г.

* * *

Улеглись сугробы по опушкам,
Зимний день морозен, нелюдим.
Лишь под снежной шалью деревушка
Дремлет, выпуская трубный дым.

Снеговой водой помою волос.
До чего ж чисты у нас снега!
И любимый, нежный, грустный голос
Принесет мне снежная пурга.

И в своем любимом полушубке
Лягу в снег, закрыв на миг глаза,
И увижу в поле незабудки,
На которых росная слеза.

Разгуляюсь в снеговых просторах,
Раскружусь, расплачусь, рассмеюсь.

Чую сердцем: скоро, очень скоро
Я к тебе, любимая, вернусь.

1996 г.

* * *

Мне бы в вечность уйти не спеша и без боли,
Чтоб светила спокойно в окошко луна,
Чтоб стонал коростель за ложиною в поле,
Чтоб взгрустнула немного моя сторона
Чтобы пел жаворонок над ширью бескрайней,
Чтоб вечерней закат был красив и багрян,
А еще я хочу, чтоб за рощею дальней
Заливался, как в детстве, душевно баян.

2004 г.

* * *

Я как будто секунды толкаю,
Я как будто минуты веду,
Я все время, всю жизнь ожидаю,
Месяцами, неделями жду.

В ожиданье какой-то тревоги
Я в машине весь день нахожусь.
Полевые в ухабах дороги,
Бездорожная, грустная Русь.

Русь, в себя твои боли вбираю,
Жилы рву без поддержки, без прав.
Жду, когда ж ты, Россия родная,
Богатырский проявишь свой нрав.

Книзу катится солнце за хатой
Тихо росы в лугах улеглись.
Ведь была же и слава когда-то.
Ведь была же когда-то и высь.

1997 г.

КУДА ИДЕМ?

Куда идем, кому откроем двери,
С кем сердце успокоим мы свое?
Безбожие, бездушие, безверие
Вокруг нас словно в поле воронье.

И каждый вечер кровоточит рана,
Ни умных слов, ни светлого лица,
Когда глядим на зло телеэкрана,
Что нам вливают в души и сердца.

О, Господи! Кругом одна тревога,
Душа на все затравленно глядит,
А впереди такая безнадега
И стыд такой, что сердце холодит.

А на холмах кудрявятся березы,
Туман в лощинах словно молоко.
И льет Россия покаянья слезы,
Ей так сегодня бедной нелегко.

Мы, как она, вбираем боль позора,
Кресты церквей взметнулись к небесам.
Ее глаза, глядящие с укором
Сердца и души обжигают нам.

2003 г.

БЛАГОДАРЕНИЕ

Спасибо, Господи, тебе
За то, что я на свет родился,
Что русский я и что крестился,
Что ты один в моей судьбе.

Спасибо за Россию-мать,
Ее подъемы и паденья.
За боль, за муки, за спасенье,
За то, что с ней могу страдать.

Спасибо за любовь, рассвет,
И за вечерние закаты,
Что дети есть и есть внучата,
Что зла и зависти в них нет.

За красоту родных берез,
За пенье в поле жаворонка,
За первый в жизни вскрик ребенка,
И за раскаты майских гроз.

Спасибо много, много раз,
Что дал на жизнь благословенье,

За мудрое твое творенье
За каждый миг, за каждый час.

2003 г.

Владимир Тимохин



* * *

Мне приснилась война в черно-белом обрывочном сне.
Серый день заметала постылая зимняя вьюга,
Так похожие люди метались в смертельном огне,
Подставляя под пули себя и стреляя друг в друга...

И я тоже, как все, задыхаясь, куда-то бежал
По колено в снегу, спотыкался и падал, ругаясь,
И куда-то вперед беспорядочно, слепо стрелял,
Как и все, убивал, в правоте своей не сомневаясь.

Мне приснилась война в черно-белом обрывочном сне.
С ног сбивала постылая, всем надоевшая вьюга.
Люди с разных сторон, без сомнений в своей правоте,
В этот пасмурный день истребляли друг друга...

1987

* * *

Е. Ю.

Ты у окна, я закрываю двери,
Темно, фонарь и мечутся слова,
Ты говоришь: «Я никому не верю...» —
Я молча жду. Болею — голова...

Пустынны улицы, обрывки полусвета
То здесь, то там — мне их немного жаль...
Ты говоришь: «Хорошая примета...» —
И кутаешься в розовую шаль.

Строфа: «Мария... Коночки... Звоночки...»,
Пурга, парадные, одиннадцать часов,
Ты у окна случайно ловишь строчки,
Сплетенные из чьих-то адресов.

Я молча жду. Ты спишь, раскинув руки...
Двенадцать, свечи, выпито вино,
Скрипят шаги, на улице — ни звука.
Какая жалость — все предрешено...

* * *

День катился за вечером,
А зима — по весне,
И опять делать нечего
Мне...

Расплескались бубенчики
В частоколе берез,
И пасхальною свечкою
Пост...

На тебя не нарадуюсь,
В косы ночь заплету,
Ты мне станешь наградой —
Украду...

И весна старой матерью
Повздыхает тайком,
Мы построим старательно
Дом...

Будет он с русской печкою
Да на курьих ногах,
Пред иконой под свечкою —
Страх...

* * *

Н.М.

Который год я Вам пишу письмо,
Надеясь, что плохого не случится.
На этих ненаписанных страницах —
Чужие лица, мертвые зимой.

Который год я вижу те же сны
О том, что Вы одна и Вам не спится.
На этих ненаписанных страницах
Чужие лица под рукой весны.

Который год я думаю о Вас...
Вы — обо мне: легко и несерьезно...
В пустынном доме бьет двенадцать. Поздно.
Еще страница — на часах уж час...

Звенит будильник. Сны в пустом трюмо.
Осколки зеркала и кто-то строго в черном...
Я Вам хотел бы рассказать о многом.
Да жаль — никак не допишу письмо...

* * *

Я между небом и землей,
Я между правдой и неправдой,

Я здесь знаком собаке каждой —
Брожу меж летом и зимой.

Мои рассказы — вещей сон,
Я для знакомых непонятен,
И среди множества понятий
Один — не понят, не прощен...

Я в мире песен и стихов,
В дороге одинокий странник,
И, Боже мой, тоски избранник,
Дождя, грозы и чьих-то снов.

Я между вечностью и днем,
И, дай мне Бог, остаться с миром,
Закрыв глаза, неторопливо
Покинув мир, где мы живем...

* * *

Мы все теряем понемногу
Друзей, что лучшие из нас,
И, все прощая, слава Богу,
Все забываем через час.

Февраль весной серьезно болен,
Жизнь — ожидание весны.
И с деревянных колоколен
Мне машут ветхие кресты.

Приветствие или прощанье?
Как знать, кому мы здесь нужны?
Прощения и обещанья,
На миг — пожатие руки...

* * *

Я в жизни многое увидел,
Летал, парил и просто шел,
И никого я не обидел,
И ничего я не нашел...

Нет, я нашел: дома пустые,
Тома заброшенных стихов,
И понял: пули боевые
Слабей неосторожных слов...

* * *

В любом Начале есть счастливый миг,
Когда уже начертан план событий
И есть тетрадь для записи открытий...
В любом Начале есть подобный миг.

И я решил ступить на зыбкий путь,
Проверить правильность неоспоримых истин,
Проверить сразу, ведь потом немислим
Без этих истин мой дальнейший путь.

Глубокой осенью предавшись торжеству...
Я счастлив был, а может, и не очень...
Заметила победу только осень,
Роняя грустно желтую листву...

ВАСИЛИСЕ

Лампа. Стул. На стуле плащ
Черный звездочета.
Стол. Бумага. Карандаш —
Тонкая работа...

Феи... Звезды на стене,
Лодки у причала.
За окном — игра теней
Фонари качала.

Мандарины. Апельсин.
Дольки мармелада.
На пластинке — клавесин,
А в углу — лампада.

Ночью — черно-белый сон,
Старая картина —
Бонапарт Наполеон,
Лувр. Гильотина...

* * *

Я возвратился — был ноябрь.
И ветки падали продрогшими руками
В слепые лужи...
Был простужен
Холодный день,
И птицы, что остались с нами,
Скорей напоминали тень.

Был свет в окне, когда-то мой,
И капли на ветру дрожали,
Как мокрое белье
В веревочной петле...
В проекции терялись дали,
Как тень прошедших по земле...

Добро и зло, от зла не ищут зла...
Все верно... — кем-то был предсказан

Такой расклад.
И я был просто рад,
Что не был никому обязан,
Вернувшись на чуть-чуть назад...

* * *

Когда-нибудь сюда вернусь.
Когда? — Вот этого не знаю,
Пока я только уезжаю,
А это навевает грусть.

Здесь у меня буквально все:
И друг, и недруг, и удача,
И дом, в котором жить я начал,
И листопад в саду еще...

Я уезжаю в те края,
Куда влечет меня дорога,
Но, право слово, ради Бога,
Не надо осуждать меня.

Я бедный странник — пилигрим,
Вся жизнь которого — движение,
Хлопот дорожных наслаждение,
Стихов пустых прозрачный дым...

Людмила Стаханова



* * *

*...Я ухожу от дома и от сада.
Навряд ли я вернусь...*

Белла Ахмадулина

Мой славный старый сад,
ты снишься мне все чаще.
Как хочется в твою
прохладу, полутьму,
Лес детства моего,
хоть и не настоящий,
Открытый только мне
и больше никому,
В котором было все
до мелочи знакомо
(Еще бы мне не знать —
мы вместе столько дней!).
На несколько шагов
чуть отступив от дома,
Меня ты поджидал,
зеленый мир теней.
Твои стволы для игр
мне подставляли спины,
Где прячется звезда
от сутолоки дня,
Колодец открывал,
а заросли малины
Последних ягод горсть
хранили для меня.
Ты защищал меня
надежно и ревниво:
Потянет холодком
предчувствия беды —
Колючие кусты
и жгучая крапива
На выручку спешат,
чтоб замести следы.
Ты утешал меня,
к тебе я приходила,

Когда мне не везло
 (увы, в который раз!),
Досаде и слезам
 здесь дань сполна платила,
Укрытая тобой
 от посторонних глаз.
Спешила я к тебе,
 куда б ни отлучалась,
На сколько б ни пришлось
 исчезнуть со двора.
Не ждали перемен,
 о прошлом не печалась.
Нежданной подошла
 прощальная пора.
Как ты меня молил!
 Как вслед за мной тянулось
Все сонмище твоих
 травинки и ветвей!
Ты не простил меня:
 ты ждал — я не вернулась,
Решил: я отреклась
 от верности своей
И предала тебя.
 О, нет, не отрекаюсь!
Нас случай подстерег,
 как нож из-за угла.
Умом приемлю все,
 а сердцем горько каюсь,
Что убережь тебя
 не смела, не смогла.

* * *

По чьему-то слепому,
 едва различимому следу,
Когда заново землю
 покрепче скуют холода,
Если только решусь,
 не простившись ни с кем, я уеду,
И сюда в этой жизни
 уже не вернусь никогда.
Будут мимо мелькать,
 будто встарь, полосатые версты,
И гудеть провода
 от ветров, безрассудно-шалых;
А морозная ночь
 поторопится вывесить звезды,
Чтобы стало светлей
 заплутавшим в просторах земных.
Пусть не раз оглянусь,
 понимая, как мало осталось,
Но соленую влагу
 со щек я украдкой сотру:
Что поделаешь тут,

если мне почему-то досталась
Обреченность свечи,
что бездумно зажгли на ветру.
Я так долго твержу,
и так прочно усвоила это,
Что, не споря, за все
и всегда слишком щедро плачу.
Да вот только не знаю,
какой расплатиться монетой
За возможность припасть
хоть на миг к дорогому плечу.

* * *

Нарисуйте мне сад —
и за мною туда поспешите.
Не смотрите с тоской,
будто задай вам трудный урок,
А укройтесь в тени...
и прохладой ее подышите,
Полной грудью, взахлеб
(ах, как жаль — не надышишься впрок!).
Нарисуйте мне дождь,
да такой, чтоб мы оба промокли.
Только сделайте так
(Вас не будут винить в колдовстве!),
Чтоб все звуки на время,
хотя б не надолго, умолкли,
Кроме звука скольжения
струй по упругой листве.
Нарисуйте мне птиц
и на волю вы их отпустите,
Чтобы не уставали
над нами кружить и кружить...
Ну, а после рисуйте,
пожалуйста, все, что хотите.
Только дом не рисуйте —
нам вместе в том доме не жить.

* * *

Кончается июль,
а вместе с ним и лето.
Не выменять тепла
на августовский сад,
Не выкупить его
сентябрьскою монетой,
Дождями октября
не выплакать назад.
И все сильнее тоска,
и все бессильнее злоба.
Запутает следы
ноябрьский первый снег;
Уйдя за перевал
декабрьского сугроба,

Со мной минувший год
 расстанется навек.
Смету еловый сор
 из сказок новогодья
И вытряхну с крыльца
 в февральскую метель,
И стану с мартом ждать
 то птиц, то половодья,
Покуда не придет
 спасительный апрель.
Май выпустит листву
 из тягостного плена,
Я вместе с ней с ума
 от радости сойду!
Июнь, не торопи
 июль себе на смену —
Ведь я живу всего
 три месяца в году.
Вновь кончился июль...

* * *

Мы припомним потом этот день,
 и не раз, может статья,
Упрекая себя, что не тотчас
 воздали хвалу
Тем, кто дверь отворил, и был добр,
 что позволил остаться
На своем, запоздавшем так кстати,
 осеннем балу.
Беззаботно смеясь, мы там счастливы
 были, как дети.
Может быть, оттого различили не сразу,
 не вдруг,
Что не в желтом уже, а в ином,
 холодеющем свете
Понемногу стал видеться зала
 очерченный круг.
В раззолоченной раме привычно
 сменилась картина,
И по-зимнему завтра уже
 заалееет восток.
А чуть-чуть погода оголенных
 ветвей паутина
Снова примет последний в году
 календарный листок...
Мы припомним потом, что ведь так
 не однажды бывало.
Есть положенный срок — значит
 выбелит иней стекло.
Но с восторгом и грустью шального
 осеннего бала
Нам, наверное, свыкнуться время
 еще не пришло.

* * *

*«Январем запорошила нас
Белоснежно-хмельная сирень...»*

Из песни

Подари мне сирень,
 так давно мне ее не дарили.
Принеси мне частичку
 хмельной, сумасшедшей весны.
Подари мне букет,
 что бы после там ни говорили о намереньях наших,
 что нам и самим не ясны.
Из тумана былого
 проклюнется тонко и остро
Лучик слабой надежды
 на то, что не все позади.
Подари мне сирень!
 Ну, пожалуйста, это ж так просто!
Пусть не целый букет,
 так хоть веточку где-то найди.
Я пойду с ней по улице,
 вешним дыханьем согретой,
Прижимаясь щекой
 к ее влажным, упругим цветам.
Не отказывай мне
 в предвкушении радости этой –
Безотчетное, детское счастье
 опять испытать.
Подари мне сирень.

* * *

Уже дымится осени костер,
Туман сплетая с утренними снами.
О, как суров, безжалостен и скор
Природы суд: она не шутит с нами.
И эти дни не золото дарят:
Приняв зимы седую неизбежность,
На жертвеннике мудрости горят
Весны наивность, трепетность и нежность,
Не разучившись слепо доверять,
Не перестав, почти вконец истая,
Заученно-бездумно повторять
Привычное: что осень — золотая.

* * *

За окнами — декабрь,
 безвыходность нагая,
И сумерками день
 спрессован и зажат.
Все тяготы судьбы
 с трудом преодоляя,
До пояса в снегу
 два деревца дрожат.

Ах, бедные мои,
 нам путь еще заказан
В июльского тепла
 хмельную благодать.
Противится душа,
 когда диктует разум,
Терпения урок
 стараясь преподать.
В науке выживать
 вы больше преуспели,
И первенство я вам
 охотно уступлю.
Ах, нам бы дотянуть
 до мартовской капли.
Все зимние грехи,
 быть может, искуплю?..
С утра уже в снегу
 барахтается город.
Прохожие, скользя,
 по улицам бредут...
Ах, милые мои,
 весна еще не скоро.
Я, так же, как и вы,
 ее с надеждой жду.

* * *

Мне эту зиму жаль — ей было неуютно
На улице моей, где всем — не до нее
И где в любой сезон так тихо, так безлюдно
И, вовсе обнаглев, пирует воронье.

Зиме и невдомек, привыкшей к поклоненью,
Откуда неудач сплошная полоса?
Как непомерна дань ветшанью и старенью,
И тает никому не нужная краса.

Яснее с каждым днем (действительность — жестока,
Смирная всех подряд с весенней правотой) —
Растерянна-слаба зима и одинока,
Хотя почти сжилась с растерянностью той.

И мне не по себе, мы в чем-то с нею схожи.
Пусть только в мелочах, а все-таки сродни:
Ведь чувствую порой, отчетливо до дрожи,
Как тают свыше мне отпущенные дни.

Мне эту зиму жаль...

29 ФЕВРАЛЯ

Последний день зимы. Касьяна чтут в народе,
Доедены блины и выпито вино...

По улицам, как тень, везде за мною бродит
Февральская тоска, привычная давно
Ах, спутница моя, не мне тебя чуждаться!
Гадай иль не гадай, одна и та же масть.
Как видно, не дано в советах не нуждаться
И собственной судьбой навластовать всласть.
Но теплится в душе и в искушенье вводит
В правдивость аксиом неверие Фомы...
А может, ничего и впрямь не происходит?
Всего лишь за окном последний день зимы.

* * *

Безветрие. Беззвучное паденье
Мохнатых хлопьев... Гаснут фонари...
Как радуется простое совпадение
Того, что вне меня, с тем, что внутри.

Садится снег на ветки и на крыши,
В ладонь мою, озябшую уже.
Торжественнее, праздничнее, тише
Становится вокруг и на душе.

С наскучившею зимнею одеждой
Нескоро распрощается земля,
Но я смотрю теперь уже с надеждой
В сиреневое небо февраля.

* * *

Господи, какая ж нынче осень!
Золота-то, золота вокруг!
Почему ж того, чего не спросим,
Слишком много, запросто и вдруг,
Полной мерой, так по-королевски
Щедро, и не впрок, и невпопад?
Ишь как озорует в перелеске
Ветреный гуляка-листопад.
Розданы червонцы и медали,
И не жаль — не нажиты трудом...
Почему же те, кого не ждали,
Чаще долгожданных входят в дом?
Почему же те, кого не любим,
Больше всех нуждаются в любви?
И бегут по водосточным трубам
Слезы ль? Дождь? Ах, как ни назови...
Остывает, делаясь все уже,
Светлая дневная полоса...
Почему же те, кто нам не нужен,
Так наивно верят в чудеса?
Вот и я не оскудела верой,
Все еще надеясь, и шепчу:
«Господи! Не надо полной мерой —
Каплю, но того, чего хочу!»

Анастасия Самарина



СИРЕНА

Смотрит ласково, нежно сирена,
Теребя жемчуга слегка,
Они белеют, как пена,
И сверкают, маня моряка.
Ее взоры влекут всех так мило,
Но от них леденеет кровь.
В ее взгляде навеки застыла
Девы жертвенная любовь.
Поцелуй алых губ стоит жизни —
В них таится смертельный яд.
В ее перстнях светятся призмы,
Преломляющие пылкий взгляд.
Нет к ней жалости, нет сострадания,
Только вечно проклятье на ней —
Одиночество, боль, изгнание,
Безысходность бесплодных дней.
А когда-то она любила
Так восторженно и светло,
Но предательство деву сгубило
Породило коварство и зло.
Приютили сирену лишь скалы,
За волною обзор небольшой...
Это люди в ней растоптали
То, что сами назвали душой.

РЕЦЕПТ КРЫЛЬЕВ

От моего балкона до звезд
Примерно сто литров слез,
Два литра чистого счастья
И крови пять капель с запястья.

Хочешь, я дам тебе чудо,
Достану из ниоткуда,
И ты из него возьмешь
Сто литров прозрачных слез.

Хочешь, я дам тебе песни,
Они не будут пресны.
В них будет душевное чайнье,
Два литра счастья случайного.

А кровь — это тоже слезы,
А кровь — это жизнь, это счастье.
И мы летим уже к звездам,
И крылья прорвали платье.

МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Устало плетусь по асфальту —
Мне некуда больше бежать,
И дождь промочил мое платье,
И время движется вспять.

И ходят трамваи по кругу,
И нервно дрожит телефон,
И люди встречаются друг друга,
И кто-то в кого-то влюблен.

И кто-то попал, да мимо,
И кто-то все проиграл,
И чье-то сердце ранимо,
А кто-то на сердце плевал.

А я всего лишь устала
Ото лжи, от предательства, зла,
И я бы сейчас закричала,
Если бы только могла.

А я не могу — другая
Стою на асфальте сыром,
Под майским дождем промокая,
Под свежим весенним дождем.

НЕ ИЩИ МЕНЯ

Не ищи меня в горе и пропасти,
В пепелище, где чувства горят,
В одиночестве или в кротости,
На коленях у алтаря.
Не ищи меня слабой и немощной,
Не ищи на щеках моих слез,
И не жди, что мой взгляд будет верящим
Или полным ревнивых угроз.
До свидания!

Все переболено.
Все загладил времени бег.

Моим сердцем навек переборены
Чувства трепетные к тебе.
Из осколков разбитую душу я
По частям соберу в монолит.
Воспылет мечта потухшая —
Но тебя не сумею простить.

СТРАНИЦА

Пустая комната. Бездонное окно.
Холодный свет, скользящий по обоям.
И я, как тень, как будто бы никто,
Сижусь, объята призрачным покоем.

Одна. Молчит усталый телефон,
Дрожит в руке листок бумаги,
Я отдаю последний вам поклон
И улетаю, полная отваги.

Теперь одна, и нету больше слов,
Мне надоело быть лишь отраженьем,
Лишаюсь я цепляющих оков,
И побеждаю силу притяженья!

Асфальт. Распахнутая дверь.
Вокруг спешат и суетятся люди,
Но мне легко, и не до них теперь,
Неважно, кто из них меня осудит.

Пойду пешком в бессмысленную даль,
Покину этот мир, мне так и неизвестный,
Оставлю вам свою печаль
И растворюсь в лазури поднебесной.

Михаил Невижин



ПРИХОД ОСЕНИ

Расшумелась осень резвыми ветрами,
И деревья стали желтыми шатрами,
И дома проснулись горьковатым дымом,
Птицы к югу рвутся бесконечным клином.

Темными ночами звезды замерзают.
В том, что дни короче, мы виновны сами.
Было ведь и лето, и весна парила,
Но туманной дымкой осень окурила.

Ранние закаты, поздние восходы,
И спешишь куда-то, словно ищешь что-то.
Только солнце светит все еще не скупю,
По зеленой краске желтый лист тоскует.

День пройдет поспешно, и осенний ливень
Сменит скоро в небе птиц косяк крикливый.
И в мгновенье станет сумрачно, ненастно,
Но и с этой грустью, осень, ты прекрасна!

* * *

Ночь увязнет в снегу по пояс,
И пойму я: уже ни к чему
Торопиться на скорый поезд,
Уносящий тебя во тьму.

Так бывает: от вечного сглаза
Не сбежать, не вернуться назад.
И вагоны зеленые разом
Растворятся в зеленых глазах.

С сердцем в такт отстучат колеса,
И остынет души накал.
Все так сложно, и все так просто:
Не хотел, не спешил — опоздал.

На вокзале холодно-стылом
Провожу лишь вдогон поезда.
И скажу, что давно простился
С той, которую годы ждал.

Ночь увязнет в снегу по пояс,
И пойму я: уже ни к чему
Торопиться на скорый поезд,
Уносящий тебя во тьму.

ЗАСНЕЖЬЕ

Вечер свалился снежный,
Только не быть зиме.
Больно крупинки режут,
Тают, упав во мгле.

В чистом покрове белом
Спрятана стынь-вода.
Долго метель хотела
К ночи прийти сюда.

Здесь затерялись звуки,
Слившись в заснежья вдох.
Здесь холода упруги,
Но не свивают льдов.

Вечер укутан ветром,
Свет фонаря дрожит.
С тоненьких хлестких веток
Тень пробежит в тиши.

И, растворясь в метели,
Чтоб не видал никто.
Робко заплачут ели,
Снежный держа платок.

СВЕТОСИНЬ

Весна освежила февраль,
Признаться, а я не заметил,
Мечтая о теплом лете,
Как снег кто-то взял и украл.

Согрел долгожданный прилив
Деревьев дрожащие пальцы.
Забывшись в искристом танце,
Дождинки коснулись земли.

Привьюжная песня допета,
На небо легла светосинь.
Признаться, а я не спросил,
Откуда взялось столько света.

ЧУЖАЯ

Ты сегодня такая чужая,
Все обычное вдруг изменилось.
Вот и дни в поездах уезжают,
Оставляя немилую милость.

Ты скажи мне, скажи, ну как же
Избежать нам лихвы поворота?
Чтобы встречи не ждать, а жаждать,
Чтобы верить еще во что-то?

Ты молчишь и глаза отводишь,
Тишина нарастает, слушай.
Вместе слушаем, вместе вроде,
Но все дальше и дальше души.

Ты сегодня такая чужая,
Только я ничего не заметил.
Вот и дни в поездах уезжают,
И в окошко ворвался ветер.

ЛЕНА

Милая девочка, Лена-Ленуля!
Как поживаешь, кого ты целуешь?
В радостном сне, на рассвете парящем,
Вспомни о прошлом, живя настоящим.

Милая девочка, Лена-Ленуля!
Нет, ничего не прошу, не ревную.
Тень воцарилась под облаком спящим,
Серые будни — под миром блестящим.

Милая девочка, Леночка-Лена!
Старится день, ночь колдует замену.
Лучшее с нами, но лучше не будет,
Клочья тумана — взбитые кудри.

Милая девочка, Леночка-Лена!
Нет мне ответа от звездной вселенной.
Впрочем, ответ был всегда, нет вопроса,
Время тумана — спрятаться просто.

Милая девочка, давность забвенна!
Звал тебя, кажется, Леночкой-Леной?
Снова мечтою зажил, заболел,
Где же ты, милая девочка Ле..?

ВРЕМЯ ЛАНДЫШЕЙ

В глубине приходящего вечера
Облака разбежались легкие,
До свидания, юность доверчивая,
День за днем мы все дальше, далекие.
Только звезды напомнят прошлое,
Скажут то, что не было сказано.
До свиданья, пора хорошая,
Мы немного с тобою разные.
До свиданья, любовь моя первая,
Дни счастливые и безмятежные.
Не вернется уже, наверное,
Время ландышей — юность нежная,

Николай Ушаков



* * *

Так мало дней нам выдано судьбой,
Где мы земному счастью не мешаем,
Где неземную женскую любовь
Своей мужской любовью украшаем.

Так мало дней, когда в любом из нас
Цветут букеты чувств и комплиментов.
Восьмое марта — это же для Вас,
Для женщин всех широт и континентов.

Восьмого марта хочется кричать,
Читать гостям веселые куплеты,
И в каждой строчке женщин величать,
И оставаться искренним при этом.

Иные дни веселием красны,
А этот пусть ни больше и ни меньше,
Приходит к людям праздником весны
И светлым днем благодаренья женщин.

* * *

С каких немислимых вершин,
С какой звезды ты в мир упала?
Что от тепла твоей души
Сама зима теплее стала.

В каких пространствах и веках
Тебе все таинства открылись,
С каких планет в твоих руках
Добро и нежность приютились?

В каком созвездии наук
Ты женской мудрости училась,
Что в нашем хаосе разлук
Любовью близких заручилась.

Ты и в наивности своей —
Очарование без грима.
Живи, сияй среди людей
И будь их памятью хранима.

* * *

В твои глаза, и в голос твой,
И в сарафан малиновый
Влюбился я под цвет садов
И песни соловьиные.

Зарю будили петухи,
Цвела сирень пахучая.
Я для тебя писал стихи,
А ты молчаньем мучила.

Летели песней в адрес твой
Почтовые послания,
Но и они остались все
Без твоего внимания.

Мою раскрытую любовь
Знобила грусть осенняя,
А я все ждал тебя и ждал
В кино по воскресениям.

Когда же сам к тебе домой
Пришел как на распятие...
Перед тобой сидел другой
И предлагал объятия.

ИВУШКА

Наклонилась с берега над волной певучею
Молодая ивушка, ивушка плакучая.
Зябнет в одиночестве над речной прохладой,
И слезинки-капельки тихо в речку падают.

Грусть-тоска без ложности клонит неповинную
Грузом безнадежности на любовь взаимную.
Счастье бродит рядышком, да не приближается.
Обреченность ивушки в речке отражается.

Рвут лихие в шалости ветры мимоходные
Без стыда и жалости красоту природную.
Наклонилась с берега над волной певучею
Молодая ивушка, ивушка плакучая.

* * *

Пусть я мучаюсь и плачу
И от боли сам не свой,

Все равно всю жизнь потрачу
На любовь, пока живой.

На любовь, а как иначе?
Перед ней мы все в долгу.
Все стерплю и отбатрачу,
По-другому не могу.

И богатство все, что будет,
Буду тратить вновь и вновь
На любовь, а кто осудит
Человека за любовь?

Пусть я много и не значу,
Но и с тем, чего достиг,
Я всего себя потрачу
На любовь для нас двоих.

Пусть нам лет уже немало,
И пришла пора стареть,
Будем жить, как ты сказала,
Чтобы вместе умереть.

АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА

Дмитрий Ракитин



ГРАЧ

— А что, Анютка,— обращается Иван Павлович к жене.— Налей-ка мне рюмочку. Семьдесят пять годков стукнуло, глядишь, и помрешь не опохмелившись! А?

— Да уж, помрешь! — ворчит жена.— От водки и помрешь!

— Э-э-э, мать, не скажи-и! — не соглашается Иван Павлович.— Кабы не водочка, замерз бы твой ненаглядный в поле или в лесу да на чужой, неведомой сторонуще! А так, хоть и калека хромоногий, а доковылял до дома, четверых детей народил да поставил на ноги.

Иван Павлович, как всегда, живой, подвижный, говорливый. И, как все фронтовики, по поводу и без повода, после рюмки войну вспоминал. Анна Даниловна уж давно все его рассказы наизусть помнила, а слушала внимательно, сосредоточенно, хоть и ворчала. И Иван Павлович за пятьдесят лет совместной жизни хорошо знал характер своей Анютки и любил ее так же, как и в юности. Хоть и располнела она, вроде бы не та она, а видел он ее худенькой рыжеволосой девчужкой-веселушкой, певуньей и хохотуньей.

«Огонь девка»,— говорили про нее, да Иван Павлович тоже не промах, гармонист такой лихой был, что девки вокруг него веером кружили.

— Ну, что замолчал-то? Сказывай,— заговорила Анна Даниловна.

— Да та-а-ак, вспомнил кой-что,— улыбнулся Иван Павлович,— вот и призадумался.

Он опрокинул граненую рюмочку, занохал хлебушком, заел соленым огурчиком.

— Э-э-эх, хороша! — крикнул Иван Павлович.— Всякую водочку пробовал: и немецкую, и австрийскую, и польскую, а лучше нашей, хлебной, нет на свете!

— Так то ж самогон! — заметила Анна Даниловна, улыбнувшись.

— Ну, самогон и самогон, я ж в принципе говорю,— поправился Иван Павлович.

— Ну, так сказывать-то будешь али забыл? — поторопила Анна Даниловна.— Я слушаю.

Она и сама в такие минуты, забывшись, возвращалась в прошлое, вспоминала детство, юность, и дикой ей казалась мысль, что вдруг бы ее Ванюша сгинул где-то в незнакомых краях, и сама не замечала, и как слеза скатывалась со щеки.

— Я помню, на Орловщине это было. За грачом пошел на нейтральную полосу, — начал Иван Павлович. — А дело как? Трое суток не жрамши были — кишка кишке шиш показывает. Приглядел я грача да из винтовки-то и подстрелил. А он, поди ж ты, нет же, чтобы ближе к нашим упасть, угодил на нейтральную полосу. Ну-у-у, покумекал я: «Э-э-эх, Иван, где наша не пропадала, аль грудь в крестах, аль голова в кустах». Взял да и пошел в сторону фрицев, едри их в корень. Те не стреляют, видать, думают, что сдаваться иду. А хрен им! Схватил грача и стреканул до своих. Тут пальба! Батюшки-святые, пропала моя жистушка! Ну а как добрался до своих, чую — дух аж заперло. Перекрестился Матушке-Заступнице: ведь за грача, не за барана даже, чуть Богу душу не отдал.

— Поди ж ты! — привстала со стула Анна Даниловна, всплеснув руками. — Как же ты добеж-то, окаянный, ведь могли и убить! И понесла ж тебя нечистая! — Еще больше заволновалась Анна Даниловна. — Да ты и в деревне был отчаянным, что я! — улыбнулась Анна Даниловна.

— Ага, — механически произнес Иван Павлович и продолжил рассказ: — На мою беду, за моим подвигом политрук наблюдал.

— А-а-а! — подбежал он ко мне. — В плен хотел сдаться?

— Да что вы, — говорю, — товарищ командир. Какой плен? Харч добывал!

— Не-е-ет! — орет политрук. — Не верю! Ты в плен хотел сдаться! Под арест тебя!

Ну, думаю, под арест — не под расстрел. Что поделаешь? А какой такой арест — все в одном окопе. Конечно, ремень да винтовку отдал.

Ну, сижу. Бойцы-то быстренько того грача оскубли, костерок в окопе развели. Я-то думал: ну, потешу дурака, побуду без винтовки до первого боя. А политрук командиру полка доложил, что дезертира поймал. Во-о-о дела!

— Так что ж он, совсем глупый? — возмутилась жена. — Неужто ж не понятно ему?

— Что про него говорить — велик пень, да дурень! — заметил Иван Павлович.

Вызывают меня в полк. А пахать по жару, полем да полем. Ладно, и политрук тоже упреет. Пришли. А там, возле избенки, где штаб, бойцы-снайперы забавляются, все ж таки тыл какой-никакой: мертвую ласточку к дереву подвесили и упражняются в меткости. Ну, конечно, они как узнали про грача, сразу предложили мне разок стрельнуть. Подшутить хотели. Я-то юнец совсем, а они волки матерые. «А что, попробую», — говорю им. Взял у одного винтовку, прицелился, выстрелил. Вмотлах разлетелась ласточка. Их-то, похоже, задело, что какой-то юнец так метко стреляет, они предложили по летящей ласточке выстрелить. Опять прицеливаюсь — бах! — и, правда, сбил!

— Ты ж погляди, — заулыбалась жена. — Какой меткай! Где ж ты научился? Не думала, не гадала, что ты такой!

— А ты что думаешь? — распрямил плечи Иван Павлович. — Не гляди на рост, а спрашивай разума! На войне всему научишься! Ворона вон за море летает, а дура вертается! А мы — солдаты, бойцы!

— Ну-ну, а дальше-то что? — просит продолжить жена.

— Да что? Заходим к командиру полка. А тот на меня уставился, ровно просверлить хочет. Ну, думаю, хана мне,

— Это как же ты из винтовки ласточку снял? — спрашивает. Так и так, докладываю, прицелился и попал.

— А из каких же ты краев будешь?

— Да туляк я, — отвечаю.

— А-а-а, — улыбнулся командир, — это у вас Левша блоху подковал! Тогда все ясно, иди!

— Вот такая, Анютка, история со мной приключилась.

— Так что ж с этим политруком-то, дураком? — напоминает жена.

— Да что! На другой же день его в другую часть перевели. Видно, сам попросился. Опозорился-то как!

— Так ему и надо, дурню! А ты сме-е-лай, Вань! Как же ты не боялся! Прямо медаль на грудь вешай!

— Так ведь медаль я и получил за это! Только через пятьдесят годов! Помнишь, прошлым годом открытку из военкомата прислали — медаль «За отвагу» получить.

— О-о-ох, Господи! — подхватила Анна Даниловна.— Разнюнилась я тут с тобой! Поросятам месиво готовить надо, корову накормить, а мы тут с тобой лалы разводим.

— Э-э-эх, Анютка,— вздохнул Иван Павлович.— И травки я тебе скошу, и поросят накормлю... Да все сделаю! Жисть-то какая! Тяжелая вроде, а такая хорошая! Внучки приедут, с ними покалякаю... Золотую свадьбу отметим, все соберутся. Такой праздник закачу!

— Ладно, ладно,— мягко, ласково остановила Анна Даниловна мужа.— Делом займись. А нам, что ж, людям в глаза не стыдно смотреть. Прожили, как прожили. Деток воспитали, внучков и внучек нянчим... Нам с тобой теперь только жить и жить! Ты вот что, выпей еще рюмашечку, да сенца скоси.

Геннадий Маркин



СТАРИК И ПОЛЕ

Под первыми лучами, пробиравшимися сквозь плотные заросли камыша, уплывавая дымкой вверх, таял серый утренний туман. За рекой радужным многоцветьем переливалась от солнечных лучей набухающая соком луговая трава. Наливные стебли, склонившись к земле, ждали, как ждут замужние молодые бабы рождения первенцев, своего сенокосного часа, чтобы под косой косаря лечь ровными рядами, освобождая место под солнцем новым молодым растениям.

Александр Григорьевич Цветков отложил в сторону косу, снял резиновые калоши и, сбивая босыми ногами прозрачные слезинки утренней росы, прошелся по прохладному зеленому ковролину. «Эхма, красотища!» — закричал он от удовольствия и под пение пробудившихся птиц с наслаждением вытянул вперед руки и сделал несколько приседаний.

Размявшись таким образом, он взял в руки косу, и над округой зазвенели ровные звуки косовища, отдаваясь в соседнем лесу гулким раскатистым эхом. Бывший механизатор колхоза «Светлый путь», он в свои шестьдесят с гаком был подтянут, строен и не по возрасту энергичен. Мог дать фору своим молодым односельчанам в любой работе. Раньше, как и большинство механизаторов колхоза, он после изнурительного трудового дня мог пригубить рюмочку-другую водки или местного самогона, но после сердечного приступа решил для себя: с этого момента ни-ни. Ни капли спиртного. Не потому, что ему было жалко расставаться со своей жизнью — на мизерную пенсию колхозника он жил за чертой бедности и давно махнул рукой на свое нищенское существование — просто он не хотел, чтобы его жена Нина Матвеевна осталась одна, а еще он очень любил свою кормилицу — корову Мальшку, сено для которой он и пришел накосить в столь ранний час.

Когда на луговом поле было скошено довольно-таки много травы, рядом с Александром Григорьевичем остановился огромный зеленого цвета внедорожник. Из салона вылез грузный, слегка лысеющий молодой человек.

— Старик, ты почему здесь сено косишь? — спросил он у Цветкова.

— Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, что значит почему? — вопросом на вопрос ответил Александр Григорьевич.

— Здравствуй, здравствуй, — скороговоркой и как бы нехотя поздоровался молодой. — Ты почему, я спрашиваю, здесь сено косишь? Это мой луг, я купил эту землю.

— Как это? — не понял Цветков.

— Вот так! — молодой выставил вперед руку и стал энергично тереть большой и указательный пальцы.

— Так я всю жизнь на этом лугу сено косил, — удивился Александр Григорьевич, — и все жители нашей деревни здесь косили. Нам колхоз этот луг выделял специально для сенокоса.

— Все, старик, нету больше колхоза, теперь здесь все мое.

— Как это ваше?

— Чудак-человек,— ухмыльнулся молодой,— тебе русским языком говорят: купил я эту землю.

— А у кого же купили-то?

— У государства, дед. Ладно, все. Давай забирай свою косу и иди домой, некогда мне с тобой тут философствовать. У меня вон поля кругом засеяны свеклой и гречихой, надо рабочих проверить.

— И поля, стало быть, ваши?

— Мои. Здесь все мое.

— А в лощине-то, у реки, мне можно покосить?

— Нет, лощина тоже моя.

— Да куда же вам столько сена? Раньше с одного этого луга всей деревне хватало!

— Что ты, старик, заладил как долдон: раньше, раньше... Все — прошла ваши «совковые» времена, забудь.

— Стало быть, теперь ваши времена пришли?

— Наши, дед, наши. Ну ладно, все, иди отсюда.

— Что-то мне лицо ваше знакомо. Вы, часом, не из Запрудовки будете, не из многодетной семьи?

— Часом, старик, часом.

— Ребят-то у вас много было, а вот который ты, не узнаю. Как звать-то тебя?

— Юркой.

— Так ты старший будешь. А говорили, что тебя того... во время последней отсидки прирезали в тюрьме.

— Жив, как видишь,— засмеялся Юрий.

— А родители-то ваши — Николай Васильевич и Вера Ивановна — живы?

— Померли.

— Жаль. Хорошие люди были, трудолюбивые, царствие им небесное. Так вы, выходит дело, всю округу купили?

— Купил.

— А где же мне, Юра, сена теперь накопить можно?

— У меня выкупай. Будешь моим пайщиком, а я тебе подешевле продам, раз ты моих родителей знал.

— Это за сколько же?

— Другим десять метров на десять отдаю за пятьсот, а тебе отдам за четыреста.

— Для меня это, Юра, дороговато.

— Ну, тогда, старик, будь здоров!

Юрий уселся в машину и, развернувшись, поехал прочь. Затем, как бы вспомнив что-то, остановился и задним ходом подъехал к Цветкову.

— Не вздумай, старик, сено, что накопил, домой забрать без моего разрешения. Зимой спалю его у тебя, так и знай,— проговорил Юрий и, закрыв дверку машины, рванул с места.

Дома Александр Григорьевич все рассказал жене.

— Да не может такого быть, чтобы он всю землю скупил в округе, — отрицательно замотала головой Нина Матвеевна,— это он все тебе наврал. Ты сходи в правление колхоза и узнай.

Поселок, в котором не был Александр Григорьевич больше двух лет, поразил его своим разорением и неухоженностью. Заколотили досками здание бывшего медпункта, зиял дырами вместо окон хозяйственный магазин. Какие-то шабашники, как понял Цветков, выходцы из Закавказья, разбирали на кирпичи бывшее общежитие для молодых специалистов, рядом с которым с оторванной воротинной и брошенной поржавевшей сельскохозяйственной техникой, зарастала травой машинно-тракторная станция. В здании бывшего правления колхоза размещался теперь продовольственный магазин.

— Дочка, а где ж теперь правление-то? — осторожно спросил Цветков у молодой продавщицы.

— Теперь его нет, а здесь уже давно магазин.

— А где же власть поселковую найти, к кому же теперь обращаться по всем вопросам?

— К Юрию Николаевичу Соловьеву все обращаются. Вы подождите, он скоро должен подойти. Это его магазин.

Покивав головой, Александр Григорьевич вышел из магазина, как бы в насмешку, перед его взором предстала ржавая вывеска с сохранившейся надписью названия бывшего колхоза «Светлый путь». «Вот и привели нас по светлому пути в темные казематы капитализма», — с грустью подумал Цветков и, вздохнув полной грудью воздуха, зашагал прочь. Сзади магазина бойко шла стройка жилого дома. За возведенным кирпичным забором работал автокран, который поднимал строителям на третий этаж добротный красный кирпич.

— А это кто ж строится-то? — спросил Александр Григорьевич у незнакомого человека.

— Так это Пупок себе дом новый строит.

— Это кто ж такой Пупок?

— Ты что с луны свалился? Это Юрка Соловьев.

— Ну, что тебе в правлении сказали? — вопросом встретила жена Александра Григорьевича.

— Нет больше никакого правления, — после долгого молчания ответил Александр Григорьевич, — и колхоза больше нет.

— Как это нет? — не поняла Нина Матвеевна.

— Вот так нету. Теперь Пупок — у нас власть.

— Кто? Какой еще Пупок? Каковую-то ты ерунду мелешь, ты, что выпил, что ли? — заглянула Нина Матвеевна мужу в глаза.

— Да не пил я, не пил, — проговорил Александр Григорьевич и в подтверждение своих слов с шумом выдохнул ртом воздух в лицо жены.

— Власть нынешняя — Юрка Соловьев, что мне косить не разрешил, и есть Пупок. Уголовник, всю землю скупил в округе: и луга, и поля! Я на этой земле всю жизнь ишачил, хлеб для людей выращивал, пыль днями и ночами глотал, а теперь этот... щенок меня с этой земли прогнал, как собаку паршивую, — у Александра Григорьевича на глаза навернулись слезы, руки сжались в кулаки, — его это земля, видите ли! Помещик, мать его!

— Ты успокойся, — тихо проговорила Нина Матвеевна, — криком делу не поможешь. В район ехать надо, в администрацию, там люди умные — разберутся что к чему.

Над луговым полем, то взлетая высоко в небо, то камнем падая к земле, летали стрижи и ласточки. Зависнув над полем в бездонной синеве неба и кувыркаясь через голову, пели жаворонки, с надменным гудением, переливаясь слюдяными крыльями, перелетали от цветка к цветку в поисках нектара трудяги-пчелы. От легкого дуновения ветерка качались из стороны в сторону колокольчики, незабудки и васильки, как бы сопротивляясь ветру, с надменной горделивостью стоял розовый иван-чай, напротив, будто кого-то благодаря, низко кланялся до земли степной ковыль. А вдоль поля, по проселочной дороге, заложив за спину сильные натруженные руки, шел старик. Он шел к руководству района, чтобы пожаловаться на несправедливость. Он, по своей стариковской доверчивости и по крестьянской доброте, наивно полагал, что сидящие в высоких кожаных креслах и бестактно демонстрирующие всем на своих руках перстни и печатки новые русские руководители выслушают и поймут его. А поняв, призовут к ответственности зарвавшихся и отдадут ему его политое потом и кровью стариковское поле.

Александр Хадарцев



СЭР МАЙКЛ

Проснувшись, Алина посмотрела вокруг. Круглый старинный стол стоял все там же, посередине комнаты, справа поблескивал стеклами темного дерева книжный шкаф. На второй полке стояла поблекшая, но сохранившая привлекательность сочетания цветов, написанная акварелью открытка, на которой был изображен незабудковый ливень. Это был не букет, а именно цветопад. Голубое и зеленое, цветы и листья,— вдруг стали гармонировать между собой, радуя глаз. «Так вот оно что!» — мелькнуло в ее окончательно не пробудившемся и все еще дремлющем сознании. Причиной пробуждения был яркий луч света утреннего солнца, отражавшийся в стекле шкафа. Она привстала, сморщившись от боли в неудобно подвернувшейся руке, в которой тут же появилось покалывание, словно тысячи тонких иголочек впились по ходу мышц.

Осторожно помассировав руку, она медленно опустила ноги на покрытый старенькой ковровой дорожкой пол, стараясь не замечать пришедшее на смену покалыванию чувство жара и боли в плече. Привстав, дотянулась до стоящего на краю стола телефона, подняла трубку и набрала номер. Послышались длинные гудки, но на противоположном конце никто трубку не брал. Подождав немного, Алина отставила аппарат в сторону, потрогала отекавшие бледные щиколотки, голени. Вдавления от пальцев сохранялись долго, были глубокими, но не такими плотными, как к вечеру. С утра и дышалось легче. Тем не менее, она положила на язык свои четыре утренние таблетки, запила их из старинной чайной фарфоровой чашки, подаренной ей лет шестьдесят назад, на последнем глотке вспомнив, что врач не советовал ей запивать лекарства холодной водой, поскольку холод мог быть провокатором загрузинных болей. Но идти на кухню включать чайник не хотелось. К тому же вчера он, кажется, уже и не включался. «Китайская продукция. Наверное, и гарантии никакой! Надо бы Люсе сказать, чтобы отнесла в магазин. Ведь с момента покупки еще и четырех месяцев не прошло!» Люся приходилась Алине троюродной сестрой, жила неподалеку и частенько навещала свою больную родственницу, помогая по мере своих сил, так же достаточно иссякших на протяжении семидесяти пяти недавно отстукавших лет.

Алина вдруг почувствовала головокружение, уносившее ее куда-то за пределы наполненной светом комнаты. Болела она давно. Три года назад перенесла инфаркт, развившийся после нескольких приступов стенокардии. Восстановилась быстро, может быть потому, что характер ее был уравновешенный, настроение всегда восхищенно-радостное, оптимистическое. Несмотря на свои восемьдесят пять промелькнувших как один день лет, она даже к критическим ситуациям относилась с юмором, поддерживая окружающих. Такие приступы головокружений по утрам бывали и раньше. Она сама нашла им объяснение, которое позднее подтвердил кардиолог в диагностическом центре. «При вставании — кровь не успевает из-за

слабости сердечной мышцы поступать через забитые склеротическими бляшками сосуды к головному мозгу! Вот и все! Организм защищает и укладывает сам себя в горизонтальное положение, чтобы возобновить протекание крови через мозговые сосуды».

Только на этот раз она долго не приходила в себя после вынужденного падения на кровать навзничь. Ей явственно привиделись события двадцатилетней давности.

Как-то, записывая в формуляр фамилию курносой девчонки лет пятнадцати в веснушках, с туго заплетенными косичками, она вдруг почувствовала, что при повороте туловища появляется болезненность в грудной клетке справа. Так как на днях у нее было повышение температуры, некоторое неудобство при дыхании, то она отнесла боль к мышечной «простуде». Однако с тех пор боли то нарастали, усиливаясь при дыхании, то успокаивались, но полного комфорта не было. Появилась тяжесть в боку, дыхание стало затрудненным, вдох и выдох были короткими, вновь дня на два поднялась температура. Растирания вонючей мазью «Бом-Бенге», порекомендованное кем-то из знакомых, не помогло.

Участковый врач, ткнув на приеме фонендоскопом с грудную клетку, но так быстро, что, кажется, и не ожидал там чего-либо услышать, спросил, кем она работает. Услышав, что библиотекарем в детской библиотеке, потерял всяческий интерес к дальнейшему обследованию, сказал, что это миозит, выписал анальгин в таблетках и растирание «Финалгоном», выдал на три дня больничный листок и вызвал следующего пациента.

Алина не стала уточнять, как быть дальше. Она боготворила врачей, как носителей каких-то никому не ведомых тайн человеческого организма, слепо и беспрекословно доверяла им, хотя сама имела высшее образование и была энциклопедически начитана не только в силу своей профессии, но и от природной любознательности и наследственной аристократичности. Именно эти качества позволили ей усомниться в правильности выводов участкового.

По дороге из поликлиники, которая занимала обычно минут десять спокойной ходьбы, а теперь становилась непреодолимым марафоном из-за нарастающей одышки, она зашла к давнишней подруге Полине.

Полина была бойкой, подвижной, но крупной женщиной, работавшей заведующей гинекологическим отделением и, будучи всего на год моложе Алины, прочно удерживала позиции ее «младшей» подруги. Она великолепно оперировала женщин, поражая столичных светил быстротой, сложностью диагнозов оперированных пациенток и хорошими результатами вмешательств. Фронтальной опыт, помноженный на природный талант (который в народе называется просто — «легкая рука»), воплощались в Полине с максимальным эффектом. Был у нее сын, грузный, рыхлый детина лет тридцати пяти, работавший ударником в одном из известных вокально-инструментальных ансамблей страны, но уже в те времена запутавшийся в выборе между наркотиками, богемной жизнью, алкоголем и женщинами. Не сумев отдать долги, он был осужден и жестоко, по-лагерному, наказан на зоне. Слухи о посвящении его в «петухи» добрались до города, он не выдержал и повесился, окончательно сведя с этой жизнью счеты. Остались жена и сын. На воспитании внука Полина была сосредоточена целиком, но смерть сына поколебала даже ее испытанные войной и временем нервы. Стала плаксивой и даже внешне состарилась: кожа стала морицинистой, в некогда мерцающих голубым светом глазах появилась тусклость.

Рассказ Алины о своем самочувствии был коротким, но ясным для Полины. Она тут же посоветовала ей обратиться в клиническую больницу, где работала сама.

— Знаешь, у нас есть очень хороший специалист — Пал Палыч. Немедленно приходи, он решит, что дальше делать. Я думаю, что у тебя выпотной плеврит, может потребоваться пункция, а это должен делать только специалист!

— Ну, не пугай меня, Поляночка! Может, обойдется! Ты уж сразу какую-то пункцию придумала! Я боюсь. И Пал Палыча твоего боюсь! Давай подождем!

— Не дури, Алинка! Поверь моему опыту, что это не шутки. Чай, не первый раз вижу такую одышку. Ты сама даже можешь ее не замечать, но меня-то не проведешь! Завтра утром жду тебя, отведу к Палычу сама!

Уговаривая Алину на консультацию, Полина уже думала о предстоящей ее госпитализации. А это было не таким уж простым делом. Главный врач больницы — Лискин Герман Георгиевич — был неисправимым педантом, погруженным в свои ощущения мизантропом, избалованным близким знакомством с сильными мира того времени (обкомовскими работниками, директорами заводов, видными учеными). Было ему лет около пятидесяти, он относительно рано защитил диссертацию, долгое время был областным специалистом, с людьми обращался по принципу «я начальник — ты дурак», фиксировался на мелочах. Так, мог преследовать тех, кто в больницу проходил по более короткому пути — через больничный сквер. Для этого на их пути даже воздвиг металлический забор с узкой, постоянно запертой калиткой, который, тем не менее, преодолевался молодыми докторами и медсестрами, как на воинских учениях. Санитарки, получавшие грошовую зарплату, выживали только за счет ведения домашнего хозяйства, подспорьем в котором не последнее место занимали так называемые пищевые отходы. Их было достаточно — перловая каша и жидкие безвкусные супы (а что еще можно было готовить на скудные бюджетные деньги, выделяемые на питание больных!) безжалостно сбрасывались пациентами с тарелок в ведра для пищевых отходов. Но решением главного врача даже этих «благ» они в соответствии с изданным приказом были лишены под страхом увольнения и привлечения к уголовной ответственности «за хищение государственного имущества». Попытка упорядочить госпитализацию реализовалась в распоряжении, согласно которому лишь с разрешения «главного» заведующий отделением мог госпитализировать того или иного пациента, особенно в так называемые «люксовые» (просто более приличные и менее загруженные) палаты. Конечно, врачам это препятствие удавалось обходить, госпитализируя часть пациентов «по экстренным показаниям», но воспринимались эти нововведения в штыки. Однако Полина решила помочь подруге, вплоть до обращения «к самому», который только и ждал таких моментов, когда становился необходимым для сотрудников, которые обычно старались с ним не встречаться. Видимо, так он преодолевал комплекс собственной значимости в собственных глазах.

Наутро Алина, захватив из дома все необходимое в больнице (паспорт, тапки, полотенце, мыло, зубную пасту, щетку и кое-что из женского белья), поднялась к подруге по скрипящему лифту и села перед ординаторской в ожидании. Закончив обход, Полина затащила подругу к себе, связалась по телефону с Пал Палычем. Тот пригласил их обеих для предварительной беседы. Спустившись на два этажа, они очутились перед дверью кабинета Пал Палыча.

— Ой, я что-то боюсь! — улыбаясь, но, дрожа всем телом, прошептала Алина.

— Вперед! Я тебе дам трусить! Все будет хорошо! — твердо сказала Полина и, взяв подругу за руку, постучала.

Из-за двери донесся низкий баритон Пал Палыча: «Войдите!» Полина почти силой втокнула Алину в дверной проем. Навстречу из-за стола поднялся невысокого роста, коренастый, гладко выбритый человек лет сорока в халате и высоком колпаке.

— Здравствуйте, Полина Ивановна! Рад видеть вас в добром здравии! Как зовут вашу спутницу, думаю, мою будущую пациентку? Мы с ней обязательно подружимся!

Последние слова Пал Палыч произнес намеренно, увидев в глазах Алины страх и

понимая ее состояние. Лучший вариант добиться спокойствия пациента — это включить его самого в круг близких доктору людей. Расчет был правильным. Алина тут же заулыбалась, дрожь прекратилась, в глазах и манерах появились признаки кокетства, что настраивало на хороший контакт и обеспечивало доверительные отношения. После опроса и тщательного осмотра Алины, Пал Палыч сделал заключение:

— Действительно, у вас имеется экссудативный плеврит справа и, естественно, необходима плевральная пункция. Надо освободить место для расправления легкого и исследовать полученную жидкость, чтобы лечение было эффективным. Так что, Полина Ивановна, если вопрос с главным о госпитализации решен, то милости прошу уважаемую Алину Геннадьевну в 629 палату. Палата на двоих, ей будет удобно. Завтра же начнем обследование и сделаем пункцию.

— Полина, я, наверное, соглашусь, правда?— посверкивая повеселевшими глазами, спросила Алина.

— Ну, чего ты у меня спрашиваешь, если сама согласна? Конечно, не теряй время зря, укладывайся, разрешение главного беру на себя! Идем в приемное отделение, будем оформляться! Спасибо, Пал Палыч, за внимание! Вы уж приглядывайте за моей ветреной подружкой!

— Не беспокойтесь, Полина Ивановна, она в надежных руках!

Пал Палыч проводил женщин до выхода из отделения, несколько успокоив их, но не себя. Дальнейшие события, развернувшиеся на следующий день, подтвердили это сомнение. Правда, Полине удалось довольно быстро решить вопрос о госпитализации. «Главного» не было, а его заместитель тут же подписал направление. Но во время плевральной пункции у Алины было извлечено около двух литров кровянистой жидкости, темный цвет которой свидетельствовал скорее в пользу ее опухолевого происхождения. Клиническая картина позволяла сомневаться в первичном легочном происхождении опухоли. Это Пал Палычу стало ясно после анализа сделанных еще утром рентгенограмм и томограмм, поэтому он ввел в плевральную полость лечебную дозу цитостатика. Результаты цитологического исследования установили железистый низкодифференцированный рак. Еще два дня обследований показали, что первичная опухоль нигде не выявляется. Тогда Пал Палыч пригласил на консилиум Полину Ивановну.

— Знаете, складывается мнение, что первичный очаг, скорее всего, локализуется где-то в яичниках. Поэтому-то его трудно выявить, но метастазирование оттуда бывает отдаленным, в том числе в плевральную полость.

— Хорошо! Я сейчас ее посмотрю, но сомневаюсь, потому что недавно она была у меня на приеме, и ничего там не определялось!

Через полчаса Полина спустилась к Пал Палычу и категорически отвергла возможность первичной опухоли яичников. Однако уже через год после выписки Алина вновь обратилась к Полине с жалобами на увеличение живота в размере, слабость, снижение гемоглобина в анализе крови, сделанном амбулаторно. Осмотр и последующая пункция брюшной полости выявили наличие в ней такой же, как и год назад в плевральной полости, кровянистой жидкости с идентичными раковыми клетками. Проведенное после пункции исследование подтвердило локализацию первичной опухоли в одном из яичников, которая за год увеличилась в размере и стала доступной опеределению. Была сделана радикальная операция. Опухоль и другие пораженные ткани удалены, проведено несколько курсов лечения химиопрепаратами. После химиотерапии Алина облысела, дважды были эпизоды гнойных осложнений, которые вновь приводили ее в больницу. Но потом все нормализовалось. В течение пяти лет она наблюдалась в диспансере, но нерегулярно. Повторных курсов лечения не проводила, считала себя практически здоровой. Потом внезапно поднявшаяся температура

привела к длительной госпитализации и насторожила всех знакомых и врачей, не является ли эта лихорадка рецидивом опухоли. Но нет! Несмотря на тяжелое течение, оказалось, что это обострение хронического пиелонефрита, которое было успешно купировано. И еще несколько лет подряд Алина ограничивалась наблюдением участкового врача, да изредка посещала Пал Палыча, которого стала называть почему-то — «сэр Майкл». Если бы не стенокардия да злосчастный инфаркт, породившие одышку, отеки, малую подвижность, она готова была вновь вернуться в свою любимую библиотеку. Правда, библиотека к тому времени уже перестала существовать, а в ее помещении вольготно расположился какой-то очередной банк то ли в ожидании своей клиентуры, то просто готовясь к очередному банкротству и разорению вкладчиков.

За это время умерла, чуть перешагнув за семьдесят, подруга Полина. Вначале ее оперировали по поводу рака грудной железы, операция была успешной, лет семь рецидивов не было. Но потом вдруг обнаружился рак щитовидной железы, который не поддавался лечению. Опухоли, преследовавшие ее, как будто соревновались за право вцепиться в увядающее тело. Да и череда переживаний за судьбу сына и внука привнесла свою лепту в преждевременный уход Полины.

Друзья и знакомые, которых обычно было много вокруг, понемногу исчезали: кто-то также покинул этот мир, кто-то затерялся в нескончаемых буднях. Очень редко, но все-таки появлялся Пал Палыч, внося в обыденность атмосферу проходящей мимо нее бурлящей и по-прежнему для кого-то радостной жизни. Алина почти не выходила из дома. Пятый этаж и одышка не доставляли ей удовольствия ощущать пульсирующий ритм жизни. Телевизор и книги создавали какой-то особый полуреальный мир, в котором, тем не менее, взаимопереплетались воспоминания и люди из прошлого, фантазмагория нынешних дней, созданные писателями образы и воображаемые ей самой события.

Перед ее глазами вдруг предстала картина Рембрандта «Вирсавия у колодца». Она где-то вычитала, что великому художнику для этой картины позировала его служанка и любовница Хендрикье Стоффелс. По сохранившимся документам, она вскоре (в 1662 году) умерла. И только через триста лет, в 1967 году, ей был поставлен диагноз одним врачом, который обратил внимание на четко прописанную Рембрандтом припухлость левой груди «Вирсавии» ближе к подмышечной области, и отчетливо видные изменения кожи в виде «лимонной» или «апельсиновой» корки. Эти признаки запущенного рака левой молочной железы позволили не только поставить запоздалый диагноз, но и выявить степень мастерства художника, ничего не упустившего во внешнем облике позировавшей ему женщины.

Алина представила на месте того итальянского врача, поставившего посмертный диагноз «Вирсавии», — «сэра Майкла» и почему-то пришла к выводу, что он точно так же не пропустил бы ничего из однажды увиденного.

Сознание постепенно восстанавливалось. Алина, не пытаясь приподняться, стала анализировать ситуацию. «Конечно, прежде всего, надо проверить действуют ли руки и ноги. Хоть бы с ними все было в порядке!» Перспектива остаться обездвиженной в таком возрасте, да в придачу с «букетом» разнообразных «болячек» ее никак не могла устроить. Попытка пошевелить пальцами рук и ног увенчалась успехом. Они ее слушались! Осторожно повернув голову сначала влево, потом вправо, она убедилась, что эти движения достаточно свободны, головокружения не было, тошноты тоже. За долгие годы работы в библиотеке она проштудировала огромное количество медицинской литературы, начиная со справочников, энциклопедий и вплоть до специальной литературы. Особенно в последние годы, когда болезни не шуточно пытались с ней расправиться. Поэтому симптомы инсульта, других видов нарушений мозгового кровообращения она знала не хуже любого третьекурсника мединститута. А о

чем же еще могла подумать Алина, очнувшись, лежа навзничь на собственной кровати? Инсульта она боялась еще и потому, что ухаживать за ней, кроме больной не менее ее Люси, было некому. Умирать почему-то не хотелось, а оказаться в доме инвалидов или каком-нибудь хосписе было во сто крат хуже, чем просто и быстро расстаться с этим светом.

Убедившись в отсутствии каких-либо ограничений движения, Алина медленно привстала, опираясь на руку, которая еще недавно болела, покалывала иголками, а теперь была просто тяжелой, как бы набухшей. Посидев минуту другую, она медленно потянулась за телефонной трубкой, мысленно сожалея, что отказалась от Люсиного предложения купить дешевенький сотовый телефон. «В теперешнем состоянии он бы очень пригодился! Хотя, если кондрашка хватит, то и телефон не поможет!» — тут же успокоила она себя. Набрала номер Люси и, наконец, услышала ее голос.

— Ты что, Алина? Мы же договорились, что я сама к тебе приду часов в одиннадцать. Сейчас вот только зайду в булочную, у тебя, наверное, черный хлеб кончился!

— Люся, не надо за хлебом! Зайди прямо сейчас, а то у меня, кажется, поднялось давление. В общем, я потеряла сознание...

— Бегу, бегу!

Алина положила трубку, подвинула телефон поближе, взглянула на вторую полку старого шкафа, туда, откуда ей улыбались акварельные цветы с открытки. Солнце перестало отсвечивать в стеклах, от этого цветы приобрели сочность, открытка раскрыла глубину замысла художника — показать в двухцветности изображения через множество оттенков красочность природы. Это ему удалось вполне. Таких рукотворных открыток у Алины было много. Они аккуратной стопкой лежали в ящике того самого старинного книжного шкафа и доставались лишь по торжественным случаям, да в минуты приступами наступавшей грусти.

Входная дверь скрипнула, выдавая старость не знавших смазки петель. «А кто бы смазывал, да и зачем? Зато я знаю, что пришла Люся», — подумала Алина. Вошедшая родственница, наскоро сбросив пальто и сапоги, быстрым (насколько возможно) шагом вошла в комнату, не забыв прихватить с собой пакет с хлебом.

— Ну вот, Люся, ты как всегда успеешь и за хлебом заскочить и ко мне подняться! Смотри, у самой одышка... Береги себя, ты еще молодая!

— Конечно, в семьдесят пять — стала девкой опять! Ты так перепугала меня, что я быстрее такси прискакала, чуть скакалку не потеряла, как говорит мой внук! Что с тобой случилось? Выглядишь вроде бы ничего!

— Ладно, отдышись, сейчас расскажу. Только и рассказывать вроде нечего. Ты обо мне и так все знаешь, а видно опять с сосудами не порядок. Боюсь, как бы не свернуться в последний клубок. Там у меня на столе тонометр, измерь-ка, пожалуйста, мне давление, хотя оно, может, особенно-то и не подняться! Склероз все-таки добирается до меня, но своими особыми путями.

Люся профессионально измерила давление, натренировавшись на своей сестре за последние годы, и сообщила, что давление для Алины — обычное, то есть где-то 170 и 90.

— Алина! А ты лекарства утром принимала? Ничего не перепутала?

— Конечно, приняла все, что прописано, вот только вода холодноватая была...

— Так, может от этого?

— Да навряд ли! Болей в груди не было, а доктор говорил, что холод провоцирует стенокардию, а об инсульте ничего не говорил! Но ты побудь со мной, а то я что-то боюсь одна оставаться!

— Ну, конечно, я сейчас и обед тебе приготовлю, чай вместе попьем!

Люся ушла на кухню, послышался грохот разбитой тарелки, ворчание виновной и шарканье веника, сгребающего осколки.

«Ну вот, старость и до Люськи добралась!» — подумала Алина, переводя взгляд на открытку, которая уже отсвечивала новыми красками. Успокоенная присутствием сестры, она почувствовала умиротворение, прикрыла глаза и задремала.

Очутилась она в городе своей юности, когда ей было не более двадцати лет. Тогда еще на месте одного из ныне обросших многоэтажными строениями проспектов поблескивала в дождь булыжная мостовая. По ней были протянуты трамвайные пути до вокзала. Улица пролегла между покосившимися одноэтажными частными домишками. Трамваи грохотали и позвякивали, проплывая своими красными боками мимо. И еще не были построены обезличенные мавзолеи губернских, городских и районных органов власти (сначала для райкомов и обкома партии, затем для неизмеримо разросшихся администраций). Не были снесены старые двухэтажные дома на главном проспекте города, еще вовсю работали заводы и фабрики, а люди довольствовались тем немногим, что можно было приобрести в магазинах или привезти из столицы на электричке в один из выходных дней.

Случайная встреча Алины с известным на всю страну художником, одним из легендарных Кукрыниксов, определила всю ее дальнейшую жизнь. Он был элегантным, но душевным, простым в общении, несмотря на всенародную известность. С ним было легко и трудно. Она, встряхивая кудряшками смоляных волос, вся искрилась от счастья, просто прогуливаясь с ним по зеленокудному парку или стуча босоножками по растрескавшемуся асфальту. Встречи их были недолгими. Беседы — интересными и памятными. Каждый год, по любому случаю: будь то женский день или ее день рождения, или государственный праздник, он сам разрисовывал поздравительные открытки и присылал их по почте, заставляя изумляться ничего подобного не видевших почтальонов. Она бережно сохранила все, что напоминало о человеке искусства и человеке судьбы. Она связывала сюжеты и сочетания красок с теми событиями и настроением, которые были в те годы. Вспомнилось, как на один из дней рождения он подарил ей старинную китайскую фарфоровую чашку, ту самую, из которой она теперь запивала лекарства. Тогда он познакомил Алину с восточной литературой — с древней китайской «Книгой перемен», из которой девизом своего бытия она взяла слова: «Созерцай наступления и отступления собственной жизни». Он читал ей хокку и танки древних японцев. Она вспомнила танку Сайге:

*С особым волнением смотрю...
На старом вишневом дереве
Печальны даже цветы!
Скажи, сколько новых весен
Тебе осталось встречать?..*

Не менее четко врезалось в память из Басе:

*О, Сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему,—
Вот высший подвиг цветка!*

Но самым запомнившимся оптимистическим трехстишием было:

*Вот он — мой знак путеводный!
Посреди высоких трав луговых
Человек с охапкою сена.*

Он для нее и остался таким — человеком с охапкой духовного сена, который продолжает вести по жизненным тропам уставшую, но полную надежд Алину. И в том многолетней давности городке ей уже не надо оставаться.

Заверещал телефонный звонок. Алина проснулась с ощущением ясности мыслей, с улыбкой на губах. Приложив трубку телефона к уху, она услышала знакомый, бодрый и дарящий здоровье голос Пал Палыча:

— Как вы там, Алина Геннадьевна? Что-то я забеспокоился, давно вас не слышал!

— Не беспокойтесь, мой любимый сэра Майкл! У меня все в порядке, как и у всякой восьмидесятилетней дамы. Да! Сейчас собираюсь позавтракать. Лекарства принимаю во время. Как хочется встретиться!

— Хорошо бы! Но сейчас дел невпроворот, как только разгрузусь, постараюсь посетить вас! Вы уж не подводите!

— Не подведу! Спасибо, что позвонил!

Она положила трубку на место, встала и вышла на кухню. Удивленная и обеспокоенная Люся округлила глаза:

— Ты что делаешь? Сейчас же ложись в постель!

— Нет уж, сестричка! Хватит! Сейчас видела хороший сон со стихами, потом позвонил сэра Майкл. Жизнь налаживается!

И они начали пить чай, приготовленный Люсей. Алина пила его из старой китайского фарфора чашки, вдыхая густой чайный аромат, не испорченный приторностью сахара.

Солнце стояло в зените. Цветы на открытке светились по-особому ярко.

2006 г.

Анна Семироль

**ИЗ ЦИКЛА
«ЗАПИСКИ ГОРОДСКОЙ ДУРОЧКИ»**



СКАЗКА ПРО МУСЮ

Муся просто красавица. У нее густые волнистые светлые волосы и темные восточные глаза. Муся носит платья, не скрывающие круглых розовых коленок, и заплетает роскошную гриву в длинные толстые косы. Ей чуть больше двадцати, и она одна на всем белом свете.

Муся любит Вивальди, красный чай, незаметно рисовать тонким карандашиком на обоях в коридоре и нанизывать землянику на соломинки. Зимой Муся катается на лыжах — выгуливает серебристо-серую курточку, полосатый шарфик тропических расцветок и любимые зеленые варежки; осенью Муся собирает в сквере яркие листья и прикрепляет их булавочками к стене в спальне; летом носится по двору с лейкой и спасает от жары нехитрые цветы на газоне и пару грустных кудлатых дворняжек. Весной Муся грустит, часто ходит в театр и носит на голове старомодный, но очень милый синий беретик. Она улыбается, когда ей неловко и стесняется своей улыбки, потому что кто-то сказал, что у нее при этом нос картошкой. Наврал, конечно, но Мусю легко смутить — она скромница и весьма тонкокожа.

Муся живет одна и по вечерам сидит на подоконнике — смотрит в окно на засыпающий город и представляет себе, чем живут проходящие по улице люди. Людям все равно, что о них думает какая-то Муся, а Муся думает о людях гораздо лучше, чем они того порой заслуживают.

На Мусиной кухне живут цикламены и кофе в кадке. Цикламены любят Мусю и цветут, чтобы доказать это. А кофе маленький и скромный, ему хочется цвести и радовать Мусю плодами, но он слишком юн, увы... Муся любит их всех. И улыбается им. Когда пасмурно — гораздо чаще, чтобы хоть немного заменить солнышко.

По ночам Мусе снится музыка. Музыка берет ее за руки и говорит, что Муся прекрасна. И что если бы у музыки было тело, она стала бы самым лучшим из мужчин и женилась на Мусе без промедлений. Муся улыбается в ответ и просыпается в пять утра в маленькой кровати под одеялом с самодельным лоскутным пододеяльником. Лоскутков много, и к каждому пришит маленький цветок. Муся ночует под цветочным одеялом.

Муся любит молоко и грустит, когда денег хватает только на белый холеный батон. Молоко можно пить горячим, холодным, с медом, с пряниками, с мюсли, с плюшкой... а батон крошится. Муся чистит картошку и поет про не растущих в огороде друзей. Картофельная шкурка вьетса веселым серпантинком.

Муся боится мечтать о любви. Первый раз ей было больно, от второго и третьего удовольствия тоже не было никакого, а на четвертый раз парень сообщил ей, что нашел себе более подходящий вариант. Муся не пишет стихов, потому что верит в то,

что все изложенное на бумаге где-то воплощается. Свои неприятности она рассказывает бегущей из крана холодной воде. Вода согревается, когда Муся поет в душе.

У Муси есть ракушка с пленным морем. Иногда они разговаривают друг с другом Муся говорит, что обязательно съездит на юг и выпустит море на волю, а море вздыхает в ответ, потому что знает: Мусе в жизни не заработать на поездку «на юга»... но все равно море надеется. Муся странная: она всех может заставить поверить в сказку. Даже себя.

Муся водит трамвай и по утрам подрабатывает дворником. Хватает на то, чтобы оплатить квартиру и нехитро покушать. Над Мусей смеются знакомые, но ей нравится то, что она делает, потому что она ко всем делам подходит так, что у окружающих тут же поднимается настроение. Жаль, что практически никому нет до этого дела...

Муся просто живет. Следит за порядком в маленьком бестолковом городе. Под ее чутким надзором сменяют друг друга день и ночь, идут дожди и снег, светит солнышко и прилетают весной птицы. В Мусином дворе всегда безупречно чисто, а пассажиры ее трамвая никогда никуда не опаздывают. Муся тщательно хранит свой маленький секрет: хочешь быть счастливой — незаметно делай счастливыми других.

И мир теплом отзовется.

ОРИКС

Она весь день провозилась во дворе, напрочь игнорируя окрики матери с балкона. Пару раз ее пытались увести силой, но она почти тут же возвращалась и принималась за свое дело с прежним усердием. Сбросив мокрые варежки, розовыми маленькими ладошками делала послушным совсем не строптивый январский снег, пела зимние сны. Снежинки вились вокруг в шаманской пляске, воздух дрожал прозрачной пленкой волшебства. Детские руки возводили Город. Многоярусные дома-деревья, хрупкие цитадели Ртутной Измороси, девственно-белые храмы Изнанки Холода, башни Морозного Дыхания, крохотные замки Младших Детенышей Неба...

Нехолодно, когда творишь чудеса. Странно, почему люди равнодушно мимо проходят... Это же так приятно и здорово — творить Город. Если петь, в домах загораются огоньки — это приходят Жильцы. Меняешь мотив — играет цвет: синий, красный, малахитовый... Это Жильцы становятся Разными. Иногда подпевают — тоненько, очень странно и красиво. Странно, почему люди не хотят послушать...

— Орикс, домой! Ну, сколько можно...

— Сейчас, мама! Мне чуть-чуть осталось!

Последние ноты — пусть в храмах горят свечи...

Снежинки замедляются, засыпают в воздухе. Она маленьким пальчиком проводит границу Города: дальше нельзя. Берет одну снежинку на ладонь и серьезно так:

— Спаси и сохрани. Они же дети...

— Орикс, домой!!!

Медленно уходит, у подъезда оборачивается.

Где-то в темноте под едва слышную песню мерцают огоньки.

Как ни странно, не нашлось желающих уничтожить Город одним точным ударом ботинка. И весной Город не растаял. И люди не восприняли его как что-то чуждое и не подняли панику, требуя уничтожить живое и непонятное. И с Детенышами Неба стало светлее. И Орикс пронесла ощущение созидания чуда через всю свою долгую-долгую и удивительно счастливую жизнь...

Сказка? Нет. Каждый сам творит свою реальность.

Во что ты веришь, скажи?

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

*Моим прилетающим
на подоконник галкам.*

Инга тайком курила на балконе, когда к ней прилетели черные птицы числом семь. Она спрятала руку с сигаретой за спину и застыла, часто моргая короткими рыжими ресницами. Птицы опустились на перила и сказали, что они ничьи, им грустно и хочется хоть немного еды. Инга кивнула, засунула сигарету в цветочный горшок с трещиной на боку в виде цифры 4 и убежала в кухню. Вернулась, поставила перед птицами тарелку.

«Из вкусного были только сырники с клюквой,— сказала она.— Но еще есть хлеб. Вчерашний».

Птицы вежливо поблагодарили, с аппетитом съели сырники и предложили Инге просто посидеть с ними на балконе. Инга облокотилась на перила, птицы устроились рядом, и они два часа смотрели на падающий снег, постепенно заливающие двор сиреневые сумерки и одно за другим зажигающиеся окошки дома напротив. Шел снег, шли люди, потом пришли с работы Ингины родители.

Ей влетело за птиц и за то, что она торчала на балконе.

— Инга, у тебя грипп, ты кашляешь, а на улице минус двенадцать! — сетовала мама.

— От них было тепло,— честно ответила Инга, но ей никто не поверил, и она удалилась в постель под одеяло — думать о птицах.

На следующий день снова прилетели черные птицы числом семь, и Инга сказала:

— Будьте моими. Мне с вами хорошо.

Они снова сидели на балконе и молча слушали зимний город. Инга решила, что курить — пошло.

Птицы прилетали и на следующий день, и через день, и через два дня. Через неделю отец наорал на Ингу, и она поняла, что он чего-то боится.

— Посмотри на себя! Развела курятник! Весь балкон обосрали, ты им каждый день продукты на жратву переводишь! Соседи матерятся, скоро ведьмой считать начнут! — бушевал отец.

Инга молча обижалась. На балконе было чисто, а на продукты для сырников она тратила собственные деньги. А на соседей ей было с младенчества наплевать.

Через две недели мама сказала, что черные птицы хотят забрать Ингину душу.

— Мама, им от меня ничего не нужно, кроме внимания. Они одни, они всего лишь хотят с кем-то быть рядом.

— Они черные, Инга. Ты помнишь, что это значит? Инга, люди осудят, и тогда... Вспомни, в какое время мы живем.

— Они не черные. Они просто плачут,— сказала Инга и ушла в супермаркет за творогом и клюквой.

Птицы стали нужны. Рядом с ними Инга читала город, как книгу, смотрела за творящимся в закатном зареве горизонт и внимала сокровенным мыслям всех живущих. Оттенки запахов, паутинки эмоций, нехитрая жизнь и тайная любовь старенького трамвая № 15... Тарелка сырников, радость в глазах-бусинках, переливающиеся в лучах зимнего солнца глянцевые черные перья, узор снежинок на сильных крыльях... Живое тепло, настоящее. Черные птицы очень любили, когда Инга смеялась. Они ловили каждый звук, будто дети, замороженные, зачарованные новой чудесной игрушкой...

Через три недели соседи по-хорошему предупредили Ингу. Она отлежалась, синяки сошли, ссадины и царапины затянулись, перестал болеть низ живота. Птицы не

расстраивались из-за отсутствия сырников. Им хватало хлеба, крупы и Ингиных слез вместо приправ...

Через четыре недели соседки накормили черных птиц сырниками с ртутью. Птицы, истосковавшиеся по любимому лакомству, спешно глотали и доверчиво смотрели в глаза добрым женщинам. Инга в то время в супермаркете покупала творог...

Она хоронила птиц за домом, копая снег равнодушными к холоду руками, и думала: «Когда умирает человек, его тело становится легче на 21 грамм. Столько весит душа. Мои же птицы стали почти невесомыми...» Черные птицы числом семь ложились в снежные ямки — грустные, снова очень грустные и потерянные...

Инга долго звонила в дверь — отец не открыл. Мама плакала где-то в глубине квартиры. Монотонно урчал холодильник. По всему дому надрывались телефоны. Она поняла, что обратно ее не примут.

Спустилась во двор, села на качели, нахохлилась. Тепла попыталась взять хоть немного — не вышло. Не было птиц. Двор внезапно людьми наполнился — загомонили, кольцом душным стиснули.

«Что же ты, тварь? Изведешь нас теперь всех, сука, нежить? Мы суда ждать не будем — сами, сами! Ведьма рыжая, дьяволова подстилка!» Металась, билась, под ноги кидалась. В угол загнали, женщины в кудри непослушные вцепились. Рванулась, затыкала тоненько, глазами звериными полоснула. Охнула толпа, отхлынула. Один только смелый — вилами ткнул. Была бы, как секунду назад, девчонкой напуганной — убил бы. Вывернулась, проскользнула меж рук жадных — бегом, бегом, бегом, прочь...

У кромки Леса Ингу встретил Единорог. Мордашки, слезами залитой, губами теплыми коснулся. «Пойдем,— сказал,— провожу». «А встретят?» — всхлипнула Инга. «Обязательно»,— пообещал он...

Ведьму искали долго. Даже со спутников Лес просматривали, но сунуться туда, естественно, побоялись. Не нашли. «Благодарите за то, что ничего плохого она вам сделать не успела»,— сказали Инквизиторы Ингиным соседям и родителям.

И действительно: спасибо вам, добрые люди. От души спасибо.

ЛЕРКА

*«Так бы они и жили, эти зеленые мужики,
и никто бы о них никогда не узнал, если бы не один Вася...»*

И. Денежкина. «Вася»

Лерка была дурой. Временами — абсолютно долбанутой. А какой еще вы хотели наследственности от родаков-алкашей, по папиной линии — аж в девятом поколении?

Жила Лерка вместе с маман в малосемейке на краю города, училась в ПТУ, а по выходным пела в подземном переходе слезливые песни вместе со Стасером и Лехой. Заработанные деньги Стасик и Леха пропивали, а Лерка откладывала на краски. Время от времени Леркины деньги находила маман, и на радостях устраивала попойки с мужиками. Довольные мужики надирались, трахали маман, трахали привычную к подобному обращению Лерку и уходили ближе к утру. Некоторые, правда, прихватывали с собой еще чего-нибудь более-менее ценное, но это случалось очень редко, так как ценного в квартире практически не водилось.

Кроме нарисованных Леркой картин.

Рисовала Лерка с самого детства и дело это любила. Бабушка даже отвела ее как-

то в изостудию, но Лерку туда не взяли, потому что увидели, что она рисует. А рисовала она всякую дрянь: чудовищ, смерть, жмуриков, глюки разнообразные. И чем старше становилась Лерка, тем реальнее и лучше выходили ее картины.

Только из-за этих картин с ней и водились. Еще в школе подходили и просили нарисовать что-нибудь гадостное. И Лерка безотказно рисовала. А так... не было в ней ничего примечательного. Дура душой. Тощая, бледная, вечно голодная, сутулая, одетая в старье, чумазая, с немой неделейми головой, молчаливая и одержимая чертовой пропастью страхов и предрассудков — вот и вся Леркина характеристика. Разве только пела хорошо — жалобно и красиво.

Лерку не любили кошки, зеркала и троллейбусы. Первые шипели, бросались, стараясь покусать и исцарапать. Вторые так и норовили упасть на Лерку и поранить осколками. А третьи постоянно закрывали двери перед вечно опаздывающей с утра Леркой и уезжали. И еще Лерку боялись птицы. Ничего странного: птицы боятся всех. Но от Лерки они шарахались так, будто она всю жизнь только и делала, что на них кидалась.

Приятели прикалывались и обзывали Лерку «вороньим пугалом». И старались при каждом удобном случае подбросить кошку. Или завести Лерку на мост.

На мостах Лерка дурела совсем. Ее начинало плющить и колбасить не по-детски. Она тряслась, визжала и закатывала глаза, а потом вдруг резко успокаивалась и застывала, вцепившись в перила тонкими пальцами и уставившись неподвижно куда-то с моста вниз. Приятели хихикали, задирали Лерке юбку повыше и убегали.

А потом Лерку забирали менты. Они ее очень любили. Привозили к себе, пользовали всем отделением, потом угощали чаем с сушками и сгущенкой и отвозили домой. Там они меняли Лерку на собутыльников маман и уезжали.

Еще Лерку любил художник Юра. Он упорно не желал верить в то, что она просто дура, и все старался разглядеть в ней что-то уникальное. Юра рисовал Леркины портреты, таскал ее по выставкам, знакомил с какими-то шишками, показывал им ее картины и все твердил, что Лерка — гений. Конечно, ему никто не верил. У Лерки на лице было написано, что она тупиковая ветвь эволюции *homo sapiens*.

Иногда Лерка и Юра вместе курили траву, и Лерка начинала Юру учить. Юре было сорок два года, он уже все умел, но все равно с удовольствием учился. Лерка учила его ходить по теням, собирать дождь в стеклянные банки и наблюдать за солнечными лучами, пролезающими сквозь щели в крыше чердака заброшенного дома. Короче, вешала Лерка челу лапшу на уши, а тот и радовался.

Однажды, когда Лерка была еще совсем сопливая и ребята ее всячески шпыняли, подошел изрядно датый нестриженный чувак с бородой как у Толстого и поведал заплетающимся языком, что Лерку обижать низ-зя, потому что она в своих картинах запирает дурную реальность, и, пока Лерка верит, что ее твари надежно заперты на бумаге, конца света не будет. Ребята посмеялись, назвали чувака мудозвоном и прогнали его камнями. Чувак ушел, а Лерка увязалась за ним. Так вот Юра и явился народу впервые.

А еще однажды Юра предложил Лерке замуж. Лерка послушала о том, какая она замечательная и как Юре хочется сделать ее жизнь достойной, похлопала плохо накрашенными ресницами, хлюпнула носом и сказала, что она дура, дети ее будут дебилами и она против такой байды. Юра, конечно, обиделся, но ненадолго.

Странно, но, несмотря на дурную наследственность, Лерка презирала алкоголь. Не употребляла ничего кроме пива. Это был еще один бзик: она боялась, что напьется, и чудовища с ее картин полезут в нашу реальность.

Шутки шутками, а как-то Стасик и Леха уговорили-таки Лерку. Залили все втроем полные баки, и понеслось. Неизвестно, можно ли верить непросыхающим роке-рам, но и Леха, и Стасер в один голос клялись, что Лерка наплодила им полный под-

вал чертей и натравила на них летучую зеленую собаку. Протрезвевшая Лерка наутро ничего такого не помнила. На всякий случай опыт решили не повторять.

История эта получила широкую огласку, и Лерка прославилась едва ли не на весь район. Соседка баба Тоня — старуха болтливая и склочная — всем своим знакомым бабкам растрендела, что Лерка водится с барабашками, летает ночью голая на метле по квартирам и крадет вещи. Прослышав о способностях дочери, маман самолично обложила бабу Тоню матом, что лишь убедило окружающих в правдивости бабатиных рассказов.

Лерка же не принимала никакого участия в дебатах и спокойно рисовала своих монстров, сидя в углу маленькой тесной кухоньки. Если бы не дурость, Лерка могла бы служить эталоном пофигизма, и ей поклонялись бы панки. Хотя панки ее и так любили, почему-то считая в доску своей, и раздражались приветственными возгласами, когда встречали Лерку на улице, даже если она шла по другой стороне. Обычно Лерка отделялась коротеньким: «Хой!» — и спешила скрыться. Те, кого любили панки, поняли бы, почему она так поступала.

Что еще сказать про Лерку... Она любила осень. Набирала в сквере огромные охапки ярких листьев, перлась с ними через весь город, устраивалась на берегу реки и по одному листу кидала в воду. Когда листья заканчивались, Лерка бросала тоскливый взгляд на дымящий завод по ту сторону реки и понуро плелась домой. Иногда — к Юре. А еще иногда по пути ей попадались Леха и Стасер, и она шла с ними петь песни в переход. Больше всего денег накидывали за шансон и «Наутилус». Цоя и Шевчука народ не понимал, а за Дельфина можно было и от местных скинов в репу получить («Рэп же голимый, гля!»).

Вот так и жила дура Лерка, и не было в ее жизни ничего особенного. И прожила бы она еще неизвестно сколько, если бы не выкинул ее из окна очередной пьяный сожитель маман. Извещенный добрыми людьми, тут же примчался Юра, а через полчаса приехала «скорая», и добрые доктора увезли Лерку умирать в реанимацию, потому как после падения с пятого этажа жить в ней было уже нечему.

Леркина маман с пьяного горя поехала крышей, клонула своего сожителя ножом, а потом зачем-то выволокла на середину комнаты все Леркины картины и запалила их разом. На лестнице Юра долбился об заплыванную дверь квартиры и орал, что картины жечь ни в коем случае нельзя и чтобы его пустили. Леркина маман по традиции обозвала Юру мудозвоном, заперла дверь на оба замка и цепочку, пошла и повесилась в туалете.

И никто кроме Юры и персонала реанимации, не знал, что Лерка умирала в бреду, и чудилось ей, чудилось...

Лерки не стало ночью.

А в четыре утра любимая псинка бабы Тони подошла к спящей хозяйке и вкусно захлюпала в момент перекушенным старушечьим горлом. В соседнем подъезде из зеркала выползли кошмары десятилетки Ванечки и принялись жрать сперва рыбок в аквариуме, а потом и Ванечкину семью. Из теней домов потекли чудовища — искать завтрак.

В пять двадцать какая-то ранняя пташка, зевая, выглянула в окно и обнаружила, что небо любитесь на город тысячами огромных глаз. В то же время асфальт начал постепенно покрываться копошащимися червями, а троллейбусы в парке медленно ушли во внезапно появившуюся под их колесами магму.

В шесть утра небо зарыдало огненными слезами, и город накрыл протяжный трубный рев.

Так начался конец света.

Мария Наумова

АРТЕМКА

*Юному разведчику 16-й
Смоленской партизанской бригады
Аркадию Кравцову посвящается*

Однажды немцы решили уничтожить партизанский отряд. Но сколько их, с какой стороны ждать и когда, никто не знал. Командир понимал, что от этого зависит жизнь всего отряда. Наконец, ему стало известно, что они сгруппировались в деревнях Язвище, Хохлово и Яшено.

Всю ночь заседал штаб, но придумать так ничего и не мог. Послать в разведку кого-то из партизан — нельзя. Посторонних немцы сразу заметят и схватят... Принять бой — рискованно, не зная численности врага. Только с рассветом пришло решение.

— Как, товарищи, не крути, а в разведку придется идти Артемке,— сказал командир отряда.

— А ведь верно...

— Не должны немцы мальчика тронуть...

— Да и на селе знают, что он сегодня ночует у дядьки в Язвищах.

— Опыт у него немалый. Мальчишка смысленный, справится.

— Ну, что ж, иного пути у нас нет, товарищи. Буди, Степаныч, хлопчика,— обращаясь к комиссару, вздохнул командир.— Да не напугай спросонок-то.

...А Артемке снился детский дом, куда отдала его мама, чтобы он не умер от голода, как его старшие братья, и как ребята устроили ему «темную» за отказ воровать. А потом, как он убежал к маме ...А потом, как Федька, кулацкий сын, тоже сильно бил его, сдергивая с шеи красный галстук... Но выручил вороной, и он, Артемка, ускакал в лес... В лесу было тихо-тихо. Солнечно. И мама, улыбаясь, шла ему навстречу...

Вдруг стало так темно, что он от страха упал в муравейник. Муравьи бегали по его телу и кричали страшное слово — война! А потом опять его били: и староста, и мама за то, что он шатался по лесам и собирал оружие возле убитых красноармейцев. Только Ваня, эвакуированный с родителями из горящего Смоленска, всегда помогал. На найденных минах они подорвали немецкую машину. В селе была облава. Ваня испугался,— рассказал отцу. Тот выпорол его. Артемке долго пришлось отсиживаться в подполе. Староста грозил: « Расскажу немцам, рас-с-ска-жу немца-ам-ам!» Но Артемка не боялся предателя. Боялся, как бы Ваня не выдал старосте, что он носит под рубашкой, и поэтому даже во сне крепко держался за алые концы...

Степаныч некоторое время смотрел на спящего Артемку. Ему не хотелось пре-

рывать мальчишеский сон, но время не ждало. Лишь только он дотронулся до рыжего вихра, как юный разведчик подскочил на нарах.

— ?!

— Собирайся, командир вызывает.

Наскоро протерев глаза, Артемка вышел из землянки в росную тишь. Через минуту он, подтянутый, по-взрослому серьезный, докладывал командиру:

— Партизан Артемка прибыл по вашему приказанию.

Командир улыбнулся, а в глазах сверкнули слезы. Трудно, ох, как трудно было ему посылать на такое серьезное задание этого худенького, совсем маленького росточка, но отчаянно смелого хлопчика.

— Слушай, сынок, внимательно,— усадив Артемку на грубо сколоченную лавку, командир начал выкладывать существо задания...

— И последнее. Идя в разведку, коммунист свой партийный билет отдает комиссару. Разрешаю носить тебе красный галстук только в отряде. Под рубашкой не спрячешь — немцы могут найти его. Идешь на задание — сдай комиссару. Вот так, сынок,— закончил разговор командир отряда.

Артемка все понимал, но расстаться с алым галстуком просто не мог. Он некоторое время стоял недвижимым, потом несмело посмотрел в глаза командира, комиссара, но увидел в них только сочувствие, а разрешения — нет. И, повинувшись приказу, медленно развязав алые концы, аккуратно свернул их и передал Степан Степановичу.

— Задание понятно. Разрешите идти!

— Идите. Завтра утром жду, ответил командир, и только фигурка мальчугана выпорхнула из землянки, выдохнул:

— Чуть не оставил хлопца...

Артемка шел лесными тропинками. Солнечные лучики играли его золотистыми вихорками. Птицы, перелетая с ветки на ветку, рассказывали ему новости леса. Но мальчугану некогда было прислушиваться к ним. Думы его были серьезные, дела взрослые и трудные. Осторожно подойдя к селу, он залег в кустарник. Во дворах домов, стоявших близ леса, Артемка увидел минометы. «Раз, два, три,— считал он,— а вон — машина. Нет, три, четыре... И мотоциклы — раз, два, пять, шесть, семь, точно, семь.— Считая технику врага, он забылся. И испуганно вздрогнул от раздавшихся вдали выстрелов: в лесу началась перестрелка.— Это, кажется, у избушки лесника,— подумал Артемка и прислушался,— наверное, немцы нарвались на нашу засаду. Так. Надо торопиться».

Артемка нарвал березовых веток и смело пошел в деревню. У первого же дома его остановили два немца. Один был до тошноты толстый, а другой — походил на салку, которой мама раскатывала когда-то тесто. Они ощупали ветки, потом бросили их в крапиву и стали допрашивать. Только когда подошла их группа из леса, они отпустили Артемку, приказав не шляться за селом.

— Гут, гут,— пролепетал он в ответ и не спеша, пошел к своему дому.

А дома плакала мама, которая, увидев с огорода, что Артемку схватили немцы, не думала уже, что его отпустят. Едва сын переступил порог, она еще сильнее зарыдала.

— Мам, мам, ты, не надо,— успокаивал он,— ты знаешь? — и рассказал, как обдурил немцев.

— Ой, сыночек, а я уж думала тебя не отпустят.

Уже радуясь, она быстро спроворила ему поесть и, сев на скамейку у стола, с гордостью смотрела на сына, который торопливо ел.

— Какой ты у меня проворный — весь в отца...

— Мама, к вечеру я должен быть в отряде.

— Ну, что ж, сынок, я стара и больна. Хоть мал ты еще, но ты старший мужчина в доме, тебе и слово. Бают в селе: немцы завтра на партизан пойдут.

Артемка заторопился. И сердце сжималось у Прасковьи, глядя на босые, израненные лесом ноги сына, но ни дать обуток она не могла, ни остановить его...

Уже с первой темнотой Артемка прополз огородами к лесу и, взяв в тайнике бинокль с гранатой, хотел уже встать и уйти, как рядом раздалась немецкая речь. «Граната есть — уложу! Нельзя! У меня важные сведения! — бешено мелькали мысли, а четверо немцев шли прямо на него.— Отползти, пока не поздно!» — решил Артемка и, прижимаясь к уставшей земле, впиваясь в нее ногтями, пополз в сторону, потом вскочил и побежал к лесу. Немцы мгновенно открыли огонь в его сторону. Дело оборачивалось плохо: до большого леса было далеко, а немцы — совсем рядом.

Тогда он выхватил из коротких штанишек гранату и запустил ее в другую сторону от себя. Обман удался. Фашисты перенесли огонь туда, где произошел взрыв, а Артемка в это время бежал, что есть мочи к зеленому другу партизан. И только обняв первую сосну, обернулся. Немцев не было.

Передохнув немного, он направился к дому лесника. Еще издали увидел сгоревшую сторожку и, как ни хотелось узнать судьбу связного, прошел стороной.

Командир, несмотря на то, что приказал быть утром, ждал его. Коротко, докладывая самую суть, Артемка рассказал все, что видел в селе.

— Что ж, спасибо за службу, поблагодарил его командир, — сведения важные.

— Служу Советскому Союзу! — радостно ответил он.

А назавтра, чуть прояснилась темнота, Артемка по приказу командира повел своими тропами группу партизан в село. Им надо было отвлечь немцев от основных сил отряда, который уже уходил в другой лесной район, на свою запасную базу. Не прошли и половины пути, как увидели мелькающие между деревьями фашистские фигуры. Партизаны залегли. Впереди эсэсовцев шел местный житель, который часто привозил в лагерь продукты, собранные крестьянами окрестных деревень. Его все партизаны считали за надежного человека...

— Предатель! — вырвалось у Артемки.

— Этого надо уложить первым! — поддержал его командир заслона. — Окопаться!

— Окопаться! — раздалось по партизанской цепочке.

— Но что-то маловато их здесь, глядя на приближающихся немцев, сообщил Артемка. — В селе было их не счесть!

— Говоришь мало. Вот что, малец, дуй-ка ты в село: разужнай, в какую сторону пошли главные силы и — в лагерь. Знаешь, где запасная база?

— Знаю-знаю. А как же вы?

— Э, браток, здесь и без тебя справимся. А твои ноги сейчас нужны сотням людей! Отшвартовывайся! Одна нога здесь — другая там! Давай-давай, Артемка, — командир заслона почти вытолкнул мальчика из вырытого на ходу окопчика.

...Артемка успел пробраться в огород деда Архипа, как перестрелка заслона захлебнулась немецкой артиллерией. Вернуться обратно он уже не мог: целая дивизия фашистов с двух сторон начала блокаду партизан...

Пролежав в картофельной ботве до полудня, Артемка никак не мог придумать: как же войти в село. Беспощадно пекло солнце. Слезы беспомощности и отчаяния душили его. Нестерпимо хотелось пить. Откуда-то взявшиеся слепни кусали его так, что он еле сдерживал крик. Рядом с огородом текла спокойная речушка, которая так и манила к себе, но окунуться в ее прохладные воды, он не мог — в селе тоже были немцы.

Разъяренно прихлопнув очередного слепня, Артемка от боли и досады чуть не заплакал, как вдруг увидел приближающегося дядьку Илью с возом сена. Как только воз поравнялся с домом деда Архипа, Артемка стремглав бросился навстречу и, подмигнув старому дядьке Илье, зашагал, разминая затекшие ноги как ни в чем ни бывало.

Уже идя по деревне, Артемкино сердце успокоилось, что все обошлось. Поравнялись с домом старосты.

— Крафцов! — как из автомата прозвучала на ломаном русском языке его фамилия.

Артемка остолбенел. Вместе с ним остановился и дядька Илья, а переводчик, коверкая его фамилию, подзывал перчаткой:

— Кла-аф-сов!..

Мгновенно сзади встали два немца, держа наготове автоматы. Ему ничего не оставалось делать, как подойти к переводчику. Пока он под конвоем переходил улицу, дядька Илья отчего-то сердито прикрикнул на Серко и пошел дальше, идя рядом с возом и ворча во весь голос:

— Совсем стар стал мерин, чтоб его мухи закусали...

Артемку привели в дом старосты. Глухо закрылась скрипучая дверь. За столом сидел офицер в черной форме, поодаль, у печки, подбоченившись, усмехался староста. Переводчик тоже сел за стол, с краю. Автоматчики, широко расставив ноги, остались у двери.

— Кравцов, — начал переводить немец слова офицера, обращавшегося к Артемке, — ты мальчик еще, жить тебе надо, мамке помогать. Мы все знаем про тебя. Ты связанной партизан. Где партизаны? Сколько их?

Артемка понял, что его уговаривают и начал хныкать:

— Дяденьки, я не знаю... Я ничего не знаю... Я к мамке хочу!..

— Слушай, хлопчик, — залезил староста, глядя его по голове, — раз к мамке хошь, так скажи правду, и тебя отпустят. Ты ведь хороший хлопчик, — и, перейдя на шепот, больно ущипнул его за нос.

И тогда Артемка понял, что пока он не выдаст, где находится отряд, его не выпустят — хоть реви, хоть притворяйся. И замолчал.

— Ты скажешь! — закричал офицер и сделал знак автоматчикам.

Те выволокли мальчика на улицу.

— И почему у старосты дверь такая скрипучая. Аж на нервы действует, — подумал он.

Его поставили к завалинке, наведя безжалостные автоматы. Поняв, что это расстрел, мальчуган чуть не закричал: «Мама!..» Еле сдерживая этот рвущийся из груди крик, Артемка крепко зажмурился, так крепко, как когда-то, играя в прятки, и, пожалуй, еще сильнее. Но выстрела не последовало.

— В дом! — приказал переводчик солдатам.

Его снова затащили и стали допрашивать. Он по-прежнему молчал. Тогда его привязали к велосипеду и потащили в райцентр, в Касплю, к главному начальнику. Артемка едва успевал переставлять ноги. Там тоже допрашивали, а потом били, но он от боли стискивал зубы, чтобы не сказать ни единого слова... А когда, теряя сознание, он падал на пол, на него лили колодезную воду из ведра. Снова придя в сознание, Артемка решил: хватит изгаляться надо мной! И разжал зубы:

— Партизан полтыщи.

— Откуда ты можешь знать, сколько их?

— Примерно. В лесу дрова рубил и видел, — процедил он.

Но фашисты не поверили ему, снова стали бить, и он снова потерял сознание. Худенькое тело было все изранено, когда офицер из Каспли ласково заговорил с ним:

— Я не дам больше тебя бить этим людям. Покажи, где отряд, и сразу пойдешь домой.

— Хорошо. Покажу.

И повел их Артемка в лес. Туда, где раньше был отряд. Он знал, что связные увидят, как его везут под автоматами на телеге, и своевременно сообщат командиру.

Так оно и случилось. Связной Никита, как только увидел конвоированного Артемку, стал пробираться огородами в лес. Но неожиданно наткнулся на дядьку Илью. Тот молча подвел Серко и протянул Никите уздечку. Никита искренне удивился странному поведению старика, который никогда не ссорился ни с сельчанами, ни с немцами, и люди не знали, на чьей же он стороне. А тот так же молча повернулся, и, переваливаясь с ноги на ногу, медленно пошел прочь. Никита еще раз посмотрел ему вслед, потом вскочил на Серко и поскакал в отряд.

А Артемка тем временем вошел с фашистами в лес. Его поставили впереди колонны и приказали:

— Веди!

И он повел их в бывший старый лагерь. Землянки были разрушены. То тут, то там валялись мины от минометов, которые партизанам в спешке пришлось бросить, нехитрая кухонная утварь. И все. Поняв обман, они стали жестоко бить Артемку.

— Где отряд?

— Здесь был, когда я дрова рубил.

— А где они сейчас, говори, сволочь!

— Давайте поищем...

Но фашисты в глубь леса идти побоялись и повернули обратно. Артемка от радости плакал, причитая:

— Дяденьки, я же вам показал... Отпустите меня к мамке.

А про себя подумал: «это вы сволочи, изверги проклятые. Думали, покажу вам новое место — шиш! Все равно наши всех вас перестреляют, как чумных собак. Захотели, чтобы я-то, я! показал вам партизанский лагерь. Не на того напали, фрицы проклятые!»

Всю дорогу немцы что-то кричали по-своему, злобно смотрели на Артемку, но не трогали — так старший приказал.

Немцы заперли Артемку в амбар. Долго он проплакал в нем. Больше всего на свете боялся он крыс, а те здесь поминутно шуршали в сене. И Артемка забился в угол. От часового, который принес ему миску с обедками, он узнал, что завтра его повесят. По привычке схватился он рукой за ворот рубашки, но... красного галстука не было — остался в отряде. И все-таки Артемка как никогда почувствовал прикосновение алых концов и гордо поднял голову.

— Бежать! — мелькнула мысль.

Он лихорадочно стал ощупывать стены и пол старого амбара. Когда он, наконец, обнаружил шатающиеся половицы, дверь распахнулась, и яркий пучок света ослепил его. Артемка плюхнулся в прелое сено и... оцепенел: его рука придавила что-то мягкое, холодное и неприятно гладкое...

— Крыса! — с ужасом понял Артемка, но подавил вырывающийся крик и, не шевеля ни одним пальцем, остался сидеть на месте.

Часовой просунул голову, долго не мог разглядеть арестованного, а когда обнаружил, успокоившись, загремел засовами.

Через мгновение, преодолевая брезгливость и страх, Артемка начал расшатывать доски пола. К его счастью, он был настолько прогнивший и съеденный крысами, что ему сравнительно скоро удалось оторвать одну половицу. Передохнув немного, он не помнил, сколько копал крысиную нору, но когда отверстие осветилось лунным светом, и он ясно увидел небо, со стороны мельницы вдруг раздались выстрелы. Напрягая последние силы, он вылез наружу, вдохнул ночной воздух и сломя голову побежал под гору, не чувствуя ни радости освобождения, ни сучьев, ни камней, ни боли в отбитых фашистами пальцах. Сзади тоже началась стрельба, но темнота спасла его. Только с последними бликами звезд Артемка постучал в родное окно...

А через некоторое время обессиленный, с котомкой за плечами и винтовкой, что отрыл в сарае, он шел в отряд, опережая рассвет.

Вдруг впереди, между деревьев, замелькали фигуры людей. Он залег в кусты. Болело все тело. Израненные пальцы вряд ли смогли нажать на курок. И он, затаив дыхание, надеялся, что фашисты не заметят его. Но когда они стали проходить мимо, Артемка вдруг узнал...

— Дядь Степа! — вырвалось у него.

Партизаны остановились. Артемка побежал им вдогонку да упал, споткнувшись о коренья...

— Дядь Степа, дядь Степ! — рыдал он, обняв пожухлую траву, не имея сил подняться и выбраться из опутавших его котомки и винтовки. Партизаны бросились к Артемке.

— Дядя Степа!.. — обнимал Артемка комиссара, а тот, прижимая его к груди, шептал:

— Соколик ты наш, мы ведь отбили амбар, а тебя там не оказалось.

Партизаны наперебой просили Степана Степаныча понести Артемку, но он отрезал:

— Ничего, я сам...

Лина Бендера



САНЬКА-ВОР

Телеграфные столбы мелькали за пыльным окном вагона с удручающим однообразием. Унылый вид поросших от затяжных дождей травой отлогих придорожных склонов нагонял сонную тревогу. По-осеннему пустынные поля не радовали глаз. Чем дальше за город, тем гуще становились леса, и из вагона было хорошо видно, как ветер кружит в воздухе последние облетающие листья.

Большинство пассажиров ехало за грибами — начинался сезон поздних опят. У Саньки под сиденьем тоже стояла плетеная корзина, но рассчитывал он на особый улов. Санька воровал цветной металл. Дело прибыльное, но, увы, уголовно наказуемое. За этим нехорошим занятием его недавно поймали в лифте девятиэтажки. Были суд и срам со всеми вытекающими последствиями. На Саньку наложили штраф. В результате на работе в дни зарплаты получать ему стало и вовсе нечего. Обида на милицию осталась большая и колючая. И задумал он официальные органы обхитрить. Дело было не только в деньгах, сколько в оскорбленном самолюбии.

Санька считал себя парнем крутым и находчивым, тайные похождения бывали ему не в диковинку. Придумал и в этот раз. Рассудил здраво: если в городе, на глазах, можно сказать, у широкой публики, красть глупо и опасно, то на загородных просторах нет ни свидетелей, ни милиции. И, угадав в аккурат в грибной сезон, Санька отправился на промысел, но — за своим.

* * *

Судьба в лице железнодорожных контролеров выдворила безбилетного пассажира, не доехавшего двух остановок до намеченного места. Здесь тянувшийся до того нескончаемой чередой лесной массив неожиданно расступался, открывая широкие просторы полей, кое-где взрезанных оврагами, перемежающихся большими и малыми купами деревьев. Идеальное место для задуманного, тем более — вдали виднелись верхушки трехногих столбов высоковольтной линии. Наверняка и пожива с них будет не маленькая — сколько унесешь.

Санька отбил на перроне каблуками чечетку и ручкой сделал неприличный жест в хвост уходящему поезду, выражая таким образом презрение хитрого и находчивого деятеля оставшейся в дураках законности.

Время приближалось к полудню, но холодное осеннее небо хмурилось, грозя затяжным дождем. Сидевшие на проводах накупленные вороны смотрели в сторону гения тихого разбоя подозрительно, точно прокуроры. Санька весело погрозил кулаком.

— Ну, вы! Небось, не засудите!

У подножия монументально вросшего в землю просмоленного треножника он опрокинул кошелку и вытряс снаряжение: пояс, резиновые перчатки и монтерские «кошки», — деловито потер ладони, приступая. Задрал голову вверх — прикинуть высоту столба. Да, не маленько! Прямо перед его носом красовалась пожухлая от времени табличка с перекрещенными костями и угрожающей надписью: «Не влезай! Убьет!»

— Не запугаете!

Он лихо подмигнул качавшимся на проводах воронам. И тут вдруг — шлеп! Белый свет померк перед глазами грабителя. Остервенело ругаясь, он утирал рукавом заляпанное лицо. Продрал слипшиеся ресницы, пригляделся, и ему показалось, будто мерзкие птицы глумливо ухмыляются.

— Вре-ешь! Не возьме-ешь! — завопил разъяренный Санька и, нашарив под ногами камень, с гиком запустил им в воронью стаю.

С недовольными криками воронье очистило территорию.

— То-то же! — проворчал удовлетворенный Санька и полез вверх по столбу.

Ноздри ему щекотал терпкий птичий дух, и он думал о том, как некстати подвернулась дурная примета. Однако не бросать же наполовину сделанное дело из-за гнусного плевка вороньего помета. Пусть даже и не в бровь, а прямо в глаз!

Пока Санька штурмовал трехногий Эверест, вороны осмелели и снова успели оккупировать насиженные места. Присутствие над головой посторонних свидетелей, пускай и бессловесных, раздражало его до мандража в конечностях, напоминая бывшему преступнику строгих прокуроров — не одного, не двух, а целую дюжину. Казалось, все городские суды собрались здесь, чтобы вынести ему обвинительный приговор.

Для поддержания пошатнувшегося равновесия духа Санька в голос матерился. Вороны сосредоточенно внимали. Так слушают в зале последнее слово подсудимого. Они совсем не боялись Санькиного присутствия, словно он был не человек, а так, неодушевленное нечто.

В какой-то момент он вдруг поднял голову и обомлел. Напротив сидела крупная взбешенная ворона. Саньке с дурных глаз она показалась величиной с орла. Ну, чем не сердитый прокурор в черной мантии?

— Кыш! — пытаясь рассеять наваждение, замахнулся он.

От резкого движения нога соскользнула с мокрого дерева, и с пронзительным воплем Санька канул вниз. С оглушительным хаем взвилась в воздух потревоженная стая. Санька повис, зацепившись «кошкой» за перекладину, суетливо размахивая руками и, как щелкунчик, дергаясь всем телом, и сверху его поддерживал прорезиненный пояс. Железный коготь впился в дерево намертво. Сорваться не удавалось. От бессильной ярости Санька взвыл испуганным котом, которому больно наступили на хвост.

Осмелевшие вороны возвратились и внаглую расселись вокруг. Вертевшийся на привязи воришка смущал их ничуть не больше надоевшего огородного пугала. Суд пришел, точнее, прилетел. Можно было начинать...

* * *

Так прошел час, второй, третий... Санька все еще висел. Безлюдное место не располагало к пустопорожним прогулкам, а грибники обычно проезжали до следующих станций, предпочитая для «охоты» лес, а не чистое поле. И тогда на убогое Санькино счастье выехал на заросший проселок мужик на тракторе. Притормозил, присмотрелся, покачал осуждающе головой и покатил себе дальше.

— Стойте! Куда же вы? А как же я? — осипшим от воплей и ослабевшим от голода с жаждой голосом кричал вслед Санька.

Но скоро за ним приехали — милиция и пожарная команда. Измученного, с мокрыми штанами, с головы до ног обгаженного воронами, сняли Саньку с перекладины. О намерениях его даже не спрашивали — весь преступный реквизит был налицо.

— Не буду! Ей-богу, больше не буду! — покаянно бия себя в грудь, вопил Санька, когда его запихивали в милицейский «воронок».

Вслед несостоявшемуся грабителю громко и насмешливо что-то орали ликующие вороны.

Лариса Гладкова



ТОСЬКА

Детские воспоминания неразрывно связаны с только что ушедшей войной. Еще гудели учебные воздушные тревоги, от которых маленькое сердце заходило от страха. Не было вдоволь хлеба и негде было жить, город разрушен полностью. Над пожарищами торчали печные трубы, кругом ямы от снарядов. Неразорвавшиеся мины и снаряды еще долго гремели за городом, где их подрывали саперы или мальчишки, которые играли в войну. Слава богу, что я была девочкой и в войну не играла. Несмотря на все тяготы, жизнь продолжалась, причем воздух был наполнен ощущением счастья и радости, что все страшное позади, а впереди жизнь, достойная народа-победителя.

Территория детства казалась огромной и величественной рядом с отцом и железнодорожным техникумом, в котором он работал, и где я с ним часто бывала. Город до войны был пограничным, станция маневровочной. При станции до революции было построено депо, где ремонтировали паровозы. Нужны были высококвалифицированные кадры, и до войны открыли железнодорожный техникум. Техникум после бомбежек уцелел. Двухэтажный, с колоннами и мраморными стульями, большими дубовыми дверьми, высокими окнами. Это было солидное заведение. Кроме того, после войны все сотрудники носили форму. Техникум входил в железнодорожные войска. Носил форму и мой отец, он был лейтенантом.

Как военнотружущим, преподавателям и мастерам производственного обучения было выделено жилье в доме, построенном Мельником еще до революции. Мельник покинул его давно. Дом стоял у края городской черты, возле реки, и его просто случайно не разбомбили. Как разбомбили рядом стоявшую мельницу.

Дом был большим, с подвалом, множеством комнат, огромной застекленной верандой и высоким крыльцом. Взрослому населению дома было от тридцати до сорока. Невозможно было не запомнить жажду их возрождающейся послевоенной жизни. Это можно было понять, как много было во дворе орущих младенцев, кривоногих и сопливых двух- и трехлетних малышей. Мы, я и моя подруга Нина, возглавляли эту компанию. Нинке было четыре, мне — около пяти лет. Дом был окружен вишневым и сиреневым садом, в садах как грибы росли сараи, в которых плодилась живность: коровы, козы, куры, гуси. Летом, когда шли дожди, вся малышня с матерями сидела на веранде. Там мы слушали, чем жили родители — и сплетни. Вечной темой для сплетен служила Тоська. Молоденькая секретарша техникума. Замужем она не была, характер у нее замечательный. Мы с Нинкой ее очень любили, она нас тоже. Иногда мы заглядывали в ее комнатку и видели красивую Тоську, одетую в роскошную комбинацию. Наши матери знали ее привычки. Вера Ивановна, подруга матери, с возмущением говорила: «Представляете, она ходит дома в комбинации». Возмущению не было границ. Лейтенанты техникума, конечно, заглядывались на Тоську, но Тоська брала выше. Многие судьбы

решали ее комбинации. Завучу техникума, красавцу Кирилову, так и пришлось уехать с женой и двумя малыми детьми из города, бросить жилье, место работы и Тоську. Тоська немножко погоревала. На место Кирилова пришел Семенов, хороший хозяйственный грубиян и примерный партиец. Его сразу стали звать просто Семен. Загулять с Семеном было бесполезно, но приспособиться и понять можно. Тоська ему во многом помогала дельным советом. Ведь Семен пришел из депо, он был производственником, впоследствии Семена поставят директором и тоже не без участия Тоськи.

Директора западали. На нее их жены шли жаловаться в партком. Директоров снимали, они были партийные. Тоська оставалась на своем месте, она была беспартийная. В перерывах между директорами Тоську водили в кино настоящие, но уже бывшие полковники. Они появлялись на веранде в туго обтянутых мундирах без погон, уже слегка располневшие в мирной жизни, но все еще молодые и любвеобильные, гладили нас по русым головкам. Нервно курили, поджидая Тоську, и вот появлялась она, стройная, беленькая, в кудряшках (спала всю ночь на бумажках). На ней было надето крепдешинное платье в маленький цветочек, на ногах лакированные черные лодочки, в руках маленький ридикюль.

Зимой на ней было синее габардиновое пальто, сшитое в талию, на плечах лежала чернобурка, на голове маленькая шляпка, на ногах кожаные с опушкой румынки-полуботинки. На Новый год для детей сотрудников устраивали елку. Тоська была Снегурочкой, Семен — Дедом Морозом. Елку ставили огромную, игрушки самодельные, подарки скромные, но как там было хорошо и весело, все были свои — и мама, и папа, и сопливые сверстники, и Тоська.

Вскоре мы переехали в новое жилье, отец построил дом. Я пошла в школу, город поднимался из руин. Жизнь становилась лучше, отец снял мундир. Железные дороги перешли на мирные рельсы. Появилось вдоволь продуктов, хороших вин. Дома заиграл приемник с проигрывателем. Елки для детей стали устраивать в драмтеатре, техникум давал билеты. Там было очень красиво и скучно, терпеливо дождавшись подарка, я шла домой и рассматривала его содержимое: «Мишка на Севере», «Белочка», «Стратосфера» — предел мечтаний.

За новыми делами и впечатлениями Тоська была выпущена из вида.

Счастливая мама обживала новый дом и принимала гостей. Появилась и Вера Ивановна с подругами. Они судачили опять о Тоське, у нее бурный роман с Жолдэцким, фамилия произносилась через «э». Он был пловец-спортсмен. С появлением хлеба нужны стали зрелища. И они в городе были: футбол, забеги, заплывы лихорадили город все лето.

Жолдэцкий — крупный мужчина в водной резиновой шапочке в очередном заплыве прыгал в ледяную воду реки, достигал другого берега и к обеду стоял с лентой через плечо и кубком на высокой тумбе, рядом пониже стояли не достигшие. Город ликовал, поздравляли. Он был знаменитость, куда он потом делся, не помню, видимо, канул в Лету. Тоська так и не вышла замуж. От лет или от горечи несостоявшейся женской судьбы становилась уже не так свежа, появились первые морщины. Семена поставили директором, заведение крепло, приобретало престижность. Тоська при Семене была уже больше, чем секретарь. Ее уважительно стали звать Тосей. Вера Ивановна с мамой стали ее жалеть за неудавшуюся личную жизнь, за то, что нет у нее ребеночка. Тося перестала крутить кудельки, сделала стрижку, дома стала ходить в спортивном финском костюме. Живая, веселая, мобильная, с богатым рабочим и жизненным опытом, и звездный час пробил: Тося вышла замуж. Александр Васильевич Дежнюк был рекомендован на должность парторга техникума райкомом партии. По своему внешнему виду и обаянию, манере поведения он полностью отвечал требованиям к номенклатуре. Был высок, слегка полноват и хорош собой. По каким-то

жизненным обстоятельствам он оставил прежнее место жительства и семью на Кубани, и партия направила его на Западный фронт.

Они сошлись чуть ли не в первый день его приезда. Александр Васильевич был в Тоськином вкусе. Растерявший все, еще не остывший от обид Александр Васильевич был объят Тоськиным пониманием, заботой и нежностью. Куда было деваться, да и зачем.

В то время дом Мельника начал пустеть. Жильцы уезжали в новые хрущевки со всеми удобствами, оставались только те, кто по тем или иным причинам не стоял в очереди или не желал перебираться в каменные городские джунгли — дом Мельника был все так же добротен.

Семен выделил молодым лучшие апартаменты, квартиру с большой прихожей, кухней и двумя комнатами. Сам он продолжал жить с семьей в том же доме, у него уже была личная «Волга», и он любил выехать за город с супругой. Для компании брали Тосю с мужем.

Вечерами Тося и Александр Васильевич гуляли под ручку возле реки, по воскресеньям ходили на базар. Дежнюк любил борщ; закупив все что нужно, Александр Васильевич занимался его приготовлением. Это было его хобби и конечно рюмочка, другая, третья и пятая перед обедом. Лишние рюмочки и были тем обстоятельством, по которым он покинул родные пенаты.

Лет через пять безоблачного Тоськиного счастья на горизонте появились тучки. Семен вышел на пенсию, но все еще был у руля, когда внезапно скончался от инсульта. Новое руководство сменило секретаря и парторга.

Василич, так стали звать Дежнюка во дворе, располнел, завел курочек и самогонный аппарат. После ужина супруги появлялись на веранде веселенькие и разговорчивые. Вера Ивановна доложила, что Тоська пристрастилась к рюмочке. Возле реки уже не гуляли, Тоська иногда выходила во двор с синяками.

Не чревоугодничай, этот грех и явился причиной ранней кончины Тоськиного мужа. Схоронив супруга, Тоська перестала прикладываться к рюмочке, сделала химию, чтобы волоски были в порядке, и пошла гулять к реке под ручку с Верой Ивановной. Когда я приезжаю домой в отпуск, обязательно захожу ее проведать. Я уже давно не была дома, знаю, что когда приезжала в прошлый раз, заходила к Тоське, она оформляла завещание на квартиру на кого-то из нас детей, кажется, на Нинку. Она приезжала к ней чаще всех, не забывала Тоську, я ее тоже не забыла. Она была Мэрилин Монро моего детства.

Роман Романов



ИСЧЕЗНУВШИЙ ИЗБАВИТЕЛЬ

Направляясь за покупками по магазинам и микрорынкам, возвращаясь домой, я не раз замечал нетрезвых мужиков. Иные занимали места отдыха в палисадничках, на тех же скамейках, а то и прямо на асфальте. Я было примирился с этой картиной, но потом начал замечать их отсутствие. А за домами появились большой локатор и маленькие металлические штырьки, установленные чуть ли не в каждом дворике. Когда я попытался приблизиться к одному из них, то услышал за спиной возглас:

— Постарайтесь не приближаться! Это пока опасно. Обернувшись, я увидел мирно сидящего на скамейке седого мужчину в черном берете, роговых очках, светлом плаще, джинсах и кроссовках.

— Не подходите, прошу Вас. Это экспериментальная установка,— сказал он и, видя мое удивление, продолжил.— Идите сюда, присаживайтесь. Если курите — вот сигареты. А я расскажу Вам, что я задумал. Меня зовут Сергей Александрович Меклушев.

И вот я сижу рядом с Сергеем Александровичем и слушаю его рассказ. С детства, сколько он себя помнит, ему доводилось туго. Мать умерла, когда парню было семь лет. Она лежала в гробу опухшей и неестественно пожелтевшей. Собиравшиеся втихомолку винили спойвшего ее отца. Сам он продолжил после похорон пить еще сильнее. На долгие годы поселились в их опустошаемом и неприглядном доме кампаний. Так просиживали они за столом или отсыпались где-нибудь неделями. Сергею же приходилось готовить уроки на подоконнике, спать урывками и питаться, чем добудет сам.

— Но у меня уже тогда была цель: избавить мир от пьянства, и ради нее я шел на все и овладевал необходимыми знаниями,— говорил он.— Но многое приходилось держать в голове или выписывать в припрятываемые тетрадки, ведь на пропой шло все, даже библиотечные книжки. Но не только учебой было занято мое время. Крутился с соседями в их гаражах, помогая по мере сил ремонтировать мотороллеры, мотоциклы и машины. И изучил это дело так, что через несколько лет своими руками собрал из неопишуемого хлама несколько мопедов, именуемых в народе «газульками». За них я получал от пацанов деньги на жизнь. Но когда несколько парней из другого микрорайона нагло отобрали у меня мое изделие и я не смог найти концов, забросил это занятие. А еще из гаражей я забирал подаренный мне металлолом, собирал на свалках и просушивал тряпье и макулатуру. Все это сдавалось в специализированные пункты приема утиля, именовавшиеся тогда «Стимул». На них я получал дефицитные тогда крышки для домашнего консервирования, китайские термосы и другую мелочевку на продажу. А как же иначе было жить?! Правда, иногда приходилось брать «Тройной» или другой одеколон, чтобы успокоить нуждающегося в опохмелке или требующего продолжения банкета ныне покойного отца. Как и все пьющие люди, он потакал своей слабости и не знал, как изменить свою жизнь, чтобы до-

биться чего-нибудь. Так и прожил без следа. Но потом я понял: так добывать средства можно только временно. И тогда я пошел в ПТУ осваивать специальность радио-монтажника. Потом были завод, армия, снова работа в цехе. Но при этом я успевал учиться в радиотехническом институте и слушал лекции в медицинском училище. Это позволило рассчитать прибор, снимающий радиоволнами не только болезненное состояние утром, но и тягу к спиртному вообще. А заодно и выяснить через подобранные частоты информацию о задатках человеческой души. Ведь медикаментозное лечение алкоголизма, разного рода блокады, кодирование, «вшивание» могут отрицательно влиять на психику. Да и мало кто занимается сменой философии, желаний и взглядов таких больных, иначе бы не было рецидивов. А я учел при разработках и это. Тем более что молодежи, любящей такой балдеж, это необходимо в первую очередь. Ведь в диспансерах наблюдаются шестнадцатилетние пацаны, чья ежедневная порция растет, как на дрожжах! Пришлось учитывать опыт дореволюционных обществ трезвости и досуговых комплексов. Итак, принципы работы прибора установлены и рассчитаны. Оставалось собрать его и проверить в действии. Часть необходимых деталей я нашел на свалках, в гаражах у знакомых, что-то спаял сам из приобретенного в магазине. И вот теперь Вы присутствуете при историческом событии — испытании прибора. Ну, как результат?

— Ошеломляюще! — восхищенно заметил я. — И вы думаете, что это утвердят в инстанциях?! А то, действительно, замотало это безудержное пьянство,

— Нет! — ответил он. — Я уже был в отделах горздрава и облздрава, но не здесь. Сам-то я родился, жил и придумывал все это в другом городе. Там-то, собрав все необходимые материалы после предварительного испытания, и обращался в органы для утверждения и последующего применения моей разработки. Но мне отказали. «Не-специалист не может заниматься такими проблемами. У нас же есть наркологический диспансер, клиники, которые занимаются проблемами пьянства и алкоголизма», — сказали мне. Посмотрю еще немного здесь, а там решу, что делать...

...С той встречи прошло несколько месяцев. В один из дней я не увидел больше ни металлических штырьков, ни локатора, ни Сергея Александровича Меклушина. «Наверное, снова уехал куда-то», — подумал я тогда. Партия и правительство, как говорили в старые времена, знают что им нужно...

НАШИ СОСЕДИ

Олег Кочетков
(г. Коломна)



ПРИЧАСТНОСТЬ

Памяти отца

I

Шагая в колонне, он думал о ней,
О той, что родит ему сына,
А может, и дочку, а та — сыновей,
И вдруг, прямо под ноги — мина!
И — тьма, лишь задымленный вымах земли —
Все то, что друзья увидали.
Ветра в этот день в отчем крае, вдали,
Ей больно лицо целовали...

II

Ветер равниною мчался,
Ночью в окно постучался.
Замерло сердце в тревоге,
Встала на вдовьем пороге,
Знобкая вся и босая,
Ветер собой согревая.
Видел лишь месяц двурогий,
Как он ласкал ее ноги,
Грудь под смятением ситца,
Как тормошил ей ресницы.
Ветер на зорьке умчался,
Запах полынный остался,
Стойкий, волнующий, горький.
Ну, кто бы из нас не поклялся,
Что это был запах... махорки!

ПАМЯТЬ

Лежал в чистом поле, касаясь
Дыханием тяжким заката.
Стонал, что-то вспомнить пытаюсь...
Казалось ему, что когда-то
Он так же лежал, умирая,
В траве, на безлесой равнине,
И солнце пылало, сгорая.
И мысли о доме, о сыне
Вот так же под сердцем болели,
В предсмертную скорбь воплотившись.
И так же ромашки алели,
К дыханью его прислонившись...
И так же ресницы смежила
Тумана осклизлая стылость.
Лежал он, а в памяти живо
Вся жизнь перед ним пронеслась:
Как в поле ходил за сохой,
Как верил коню да булату.
Он слева пошарил рукою:
«Где — меч?» И нащупал... гранату!

ЛУННЫЙ СВЕТ

Подоила корову, посыпала курам
И опять за околицу, к дремному логу...
С отрешеньем глядит, с истомленным прищуром
На туманную даль, на пустую дорогу.

Долго-долго глядит и кусает травинку,
Задрожав, обмякает плечами крутыми,
И ладонью отряхивает слезинку,
И все шепчет одно позабытое имя!

И уходит,
почувствовав в горле першение...
Подолом прошуршав по репьям и осоту.
И кидается, зная одно лишь спасенье,
Головою и сердцем — в работу, в работу!

А в ночи налитым белым телом горячим
Согревает постель, и простынка льняная,
Ее груди тугие, как есть, обозначив,
Льнет к соскам ее горьким, их горечь смиряя...

И от женской огласки ее неизбытой —
Лунный свет изнывает и словно густеет...
Только лунному свету объятья открыты.
Только он лишь на свете обнять ее смеет!

Он целует все годы ее и жалеет.
И она с ним в обнимку стареет, стареет...

ГОСПИТАЛЬ, 1945

Наливается алым закат,
И роса умирляет траву.
На приступке — безногий солдат
Жадно воздух вдыхает: «Живу!»
А в халатике продувном
Чуть поодаль белеет сестра.
Все-то думы его об одном:
«Ну, зачем вы спасли, доктора?!»

Дух земли и хмельной, и густой
Колобродит в больничном саду,
А солдатик — совсем молодой,
И сестра молода на беду!
И халатик — слепящий до слез,
И колени — ознобно-круглы,
Под косынкою — тяжесть волос,
Влажны губы, и руки белы.

Мир на свете, и лето, и жизнь!
Зубы стисни, глаза отведи...
Эй, сестричка, к солдату склонись
И прижми к своей белой груди!

БАЛАЛАЙКА

Балалайку берет мой отец —
И по детству, по годам, по струнам!
(Не кончал музучилищ, но — спец!)
И далеким становится, юным.
И я, пряча неясный испуг,
Не свожу с него долгого взгляда.
Словно вот и откроется вдруг,
Что и видеть-то сыну не надо:
Как он шел, весь от жизни хмельной,
В кирзачах, в порыжевшей шинели,
С полустанка ночного домой.
И медали при шаге звенели.
С ветром в ногу шагал он легко.
С ясной думой, что выжил и молод,
Все гадая, кто встретит его.
А встречали — разруха и голод.
Как сидел он в родимом дому,
Наклонясь над победною чаркой,
Освещая сиротскую тьму
Фронтovou своею сигаркой.

А потом — появилась она...
Кареглазая девушка — мама!
Жизнестойкое слово — жена
В его сердце ударилось прямо!
И они вскоре стали — семья!
Когда «горько» на свадьбе кричали,
То меж ними витал уже я,
А они про меня и не знали!

У ВОКЗАЛА

Много было их, молодых,
У Голутвина тарахтевших
На подшипниках жутких своих,
Снизу вверх на прохожих глядевших.

Мы робели, но, помню, глупцы,
Удивлялись (как было нам просто!),
Что вот катятся чьи-то отцы,
А мы — дети, и выше их ростом!

Где нам было подумать о том,
Что не все они станут отцами,
Что вокзальная площадь — их дом.

Упираясь в асфальт кулаками,
Они странно смотрели нам вслед,
А в глазах столько боли сквозило...

Как давно их в Голутвине нет,
Будто горя не было...
Было!

ЖАЛОСТЬ

Он мучился в госпиталях,
Израненный и молодой.
Но выжил и на костылях,
С медалью вернулся домой.

А ей — показаться не мог.
Курил все и в поле смотрел...
И там, где был правый сапог,
Теперь — только ветер шумел.

Раз кто-то в плечо задышал,
Когда он вздремнул на крыльце.
Он, вздрогнув, сквозь сумрак узнал:
Она... тлеет жалость в лице.

И пальцы — сигарка прижгла,
Дремуче заныло в груди.
Во сне он заплакал: «Пришла...»
Но вслух ей ответил: «Уйди!»

Он люто вдруг вспомнил войну.
Поднялся привычным рывком,
Задев костылями луну, —
С крыльца
да о звезды —
виском!

ПАМЯТИ ОТЦА

Вот и кончился скорбный твой путь
На земле, золотой мой отец.
Дай глоток твоей славы хлебнуть,
Твой терновый примерить венец!

Разведрота твоя столько лет
Заждалась в занебесном краю.
Непосильно, что все — тебя нет.
Что один, пред собою стою!

Я — себя половина теперь,
А другая — тоскует в тебе.
Как жестоко захлопнулась дверь,
Отче мой, в нашей общей судьбе!
Ни полслова, и ни прости,
Ни прощенья, только — прощай!
Лишь свеча в онемевшей горсти
Точит слезы: «Христос — воскресай!»

От главного редактора: Я учился в Литературном институте вместе с Олегом Кочетковым. Уже тогда было ясно: это выдающийся поэт. Время подтвердило; сейчас Олег — один из значимых поэтов России. Настоящий цикл стихотворений есть перепечатка из газеты «День литературы». Надеюсь, что публикация его замечательных стихов будет продолжена в нашем журнале. Это — наши настоящие соседи.

ПОЭМА

Константин Струков



ОТЕЦ ТИХОН

*Святейший патриарх Тихон не опорочил
мучеников российских, а сам стал в сонм
их первым не по времени эпохи
гонений, а по силе страданий...*

Протоиерей М. Польский

1. Тревога

Раздумья теснили голову,
Тревога щемила грудь.
России неясен путь,
Бредет она нищенкой голою.

Безволье, неверье и грех
Ведут неизбежно к краху.
Россия без Патриарха...
Как душу ее согреть?

Не спал инок Тихон, думал,
Молился на образа.
Краснели от слез глаза,
И брови сдвигались угрюмо.

Нелегкие времена.
Нам столько придется вынести!
Но надо б сначала вымести
Весь сор, что скопился у нас.

И лишь через покаяние
Страна наша может спастись.
Прости, Боже Правый, прости
Нам нашу вражду и шатания.

Молись, православных страна,
Молись под угрозы и выстрелы,
Стремись к той единственной истине,
Что Богом России дана.

2.

Молитва из Акафиста «державной» иконе*

О, заступница, Мать всепетая,
Мы со страхом, с любовью к тебе,
Тебя молим, голодные, бедные:
Мы устали от бурь, и от бед,
Ведь без Бога живем — столько лет!

Умоли, упроси за нас Господа,
Чтобы выдержать нам этот смерч,
Дабы бремя разрухи и голода
Наш народ одолеть сумел
И подняли мы крест, но не меч.

Умоли Ты Христа, упроси Его,
Чтоб без войн обходилась страна,
Чтобы Церкви прибавил Он силы,
Чтобы стала оплотом она,
Чтоб проснулась от долгого сна.

Ты избавь всех мирян православных
От падений греховных и лжи,
Наговоров и дикой облавы.
Крепость духа в молитвы вложи,
Церковь нашу спаси, поддержи.

Ты даруй нам на сердце смирение,
Чистоту помышлений. И пусть
Наконец к нам приидет прозрение,
Что в плену мы обманчивых пут.
Укажи нам наш праведный путь.

3.

Война

Время смутное, тревожное, суровое.
Весь народ подняли воевать.
Грязь и скрип телег,
солдаты нездоровые —

* Акафист «державной» иконе составлен при участии о. Тихона

Но была команда — наступать.
Крики, ругань, стоны
и кнутов визжание.
Лошадь пала,
люто бьют ее.
Слышен стук копыт и жалобное ржанье.
Выстрел в голову,
последний стон — и все.
Волокут по грязи
пушки на колесах.
На обозах — провиант, тюки.
Вязнут в грязи сапоги,
многоголосо
По дорогам тащатся полки.
Дождь по спинам бьет,
шинели быстро моknут.
Мрачен этот медленный поток.
Ясно всем, что от войны
совсем нет прока,
И победой не прельщен никто.
Скоро все полки
вольются в наши части,
Что передний занимают фронт.
А война идет, и назревают страсти,
И несут войска большой урон.

* * *

Войны учат всех
жестокости и мести.
Все забудешь здесь и даже мать.
Кровь и стоны,
и бессмысленные смерти...
Но — любой ценою наступать!

Доходя до гроыхающего боя
Все обозы таяли во мгле.
Здесь кончалось
все движенье, все живое —
Отводилось место каждому
в земле.

Здесь в окопах ели, спали,
вшей давили.
Шла стрельба без передыху
днем.
Ночью же на горизонте
было видно:
Все вдали охвачено огнем.
Офицеры прибегали
с криком, бранью,
Выгоняли из окопов всех солдат.

Их, опухших, битых,
а, порою, раненых,
Обезумевших от страха —
в пекло, в ад.

И потом не помнили, что было
В этих вражеских окопах,
в блиндажах.
Просто от воспоминаний
кровь их стыла,
Подступал неодолимый страх.
И всегда в атаку
ненависть ходила,
Ненависть со страхом пополам.
Все в дыму,
вокруг печально и постыло.
Смерть брела
за ними по пятам.

* * *

Хаживал по фронту
Федор-крест, юродивый.
Крест увесистый
носил он, говорят.
Он известен, почитаем
был в народе,
Не брала его ни пуля, ни снаряд.

Его звали
то скитальцем, то блаженным
За хождения по селам и частям.
Он пророчил
то успех, то поражение,
Он всегда был среди страждущих в гостях.
Был он тощ,
нелеп и жалок,
весь в лохмотьях.
Многие боялись
слов его.
Говорил он:
— Что же вы друг друга бьете?
Жизни отдаете за кого?
Кровь ударила вам
в голову и в душу.
Убивая — губите себя.
Грязь, которая в душе,
вся вылезла наружу.
Мир, весь мир сейчас
огнем объят.

Бесы празднуют победу,
весеются,

Пляшут, и хохочут, и визжат.
В этой бесовской
неугомонной пляске
Души ваши
пламенем сгорят.

Маки красные
за вами вырастают,
Маки на крови
и на костях.
Вы несетесь по земле,
как волчья стая.
Кайтесь,
может
небеса простят.
К Богу обратите вы
свои стенанья,
Распахните к небу
вашу грудь.
Кайтесь,
может вас спасти лишь
покаянье!
Кайтесь,
к Богу свой направьте путь!

4. Жребий

На поместном соборе —
событие века:
Патриарха избрание — истины час.
Встал вопрос очень остро
и все ждали ответа:
Кто же станет
духовным вождем
у нас?

По-сиротски Россия,
без теплой надежды
Все последние годы
жила на авось.
Всюду грабили церкви.
Обнадежить, утешить
И Россию спасти —
никого не нашлось

Революций огонь.
Царь отрекся от трона.
Причитали крестьяне:
— Без власти нам крах...
И кому же достанется
власти корона?..

Ох, как нужен теперь нам
отец-патриарх!

На поместном соборе —
спасение веры.
Под густой канонадой
тяжелых боев
Собрались все епископы
для откровения.
Они выбрали
самых достойнейших —
трех.

Окончательный выбор
доверен был жребию.
В нем — провиденье Божие,
Божий завет.
Вышел старец сутулый,
с волнением и трепетом
Вынул он из ларца
долгожданный ответ.

Он читать начал сразу,
торжественно, тихо.
Но под сводами храма
голос силу набрал:
— Патриарх у нас есть!
Патриарх — отец Тихон.
На него выпал жребий,
так Господь пожелал!

5.

Слово Патриарха

Вы у России крадете веру,
Вы, что стоите теперь у руля.
Дров наломали сполна, изуверы,
Строить Россию хотите с нуля.

Шли мы всегда по пути
православия,
Всюду хранила нас
Божия Мать.
Да, наша церковь
была обезглавлена,
Стала недавно она
оживать.
Вы же глумитесь
над теми святынями,
Что на Руси почитались
всегда.
В тюрьмы вы прячете
наших святителей,

Рушите храмы...
Просто беда!

Видите, как тяжела
дорога:
Голод,
разруха,
бунты вокруг.
Все оттого,
что идете без Бога,
Русский
разрушить пытаетесь дух.
Нет и не может
быть оправдания
Этим расстрелам,
террору и лжи.
Рушите все вы
до основания.
Нам, православным,
негоже так жить!
Не загоняйте
допросами в угол,
Освобождайте
невинных людей.
Не клеветите вы
друг на друга
Из-за лукавых, порочных идей.

Не заставляйте
людей быть иудами!
Общество все — от вершины до дна —
Сетью доносов и кляуз опутано...
В чем
этих тысяч казненных
вина?

Бога побойтесь!
Он знает, Он судит.
Каждый,
кто мыслями
отягощен,
Кайся!
Быть может прощение будет.
Кайся!
Быть может не поздно еще.

6. Гонения

Прозвучало слово
горькой правды
И забрезжил
веры слабый свет.

Но гремели перлы пропаганды:
— Лишь марксизм дает на все ответ!
Вера — это опиум.
 Вы лучше
Верьте в нашу партию, в вождя...

Над Россией проносились тучи,
Тучи после долгого дождя.
Тучи шли.
 Когда же небо будет?
Только крест церковный высоко
Разгонял их понемногу.

Люди
Шли молиться
 робко, нелегко...
Проповедь звучала
 откровеньем:
— Вера — свет,
 что освещает путь,
Путь к любви,
 к святому возрождению.
Вера — всей духовной жизни суть.

...Слово прозвучало
 резко, смело:
— Снова пролилась невинных кровь!
Со своими близкими
 расстрелян
На Урале Николай Второй!

Тихона увещевали долго:
— Нет, пока нам злобу не унять...
Не уйти
 от пыток и острога...
Надо б скрыться Вам
 и переждать...

— Нет, не стоит.
 Тихон был спокоен.
— В трудный час
 все бросить — просто срам!
Бегство может
 привести к расколу
Церкви.
 Бегство — на руку врагам.
Вваливались в церковь
 в кожанках
 бугáи,
Сплеывали
 на пол, на иконостас.

Все вокруг
вытаптывали
грубо сапогами,
Громко исступленно матерясь.

...Не скрываясь,
дерзко покушались
На него...
Но пули мимо шли.
Лишь колени
старчески дрожали:
— Господи!..
Молитвы сберегли.
Сколько злобы!
С церковью сводить счета!
Зло вы победите
лишь добром!
Вы не верьте
силам злым природы.
Следуйте, прошу вас,
за Христом!

Голод по стране идет.
И вымирают
Целые губернии и весь народ.
Не судите веру,
Бога ради!
Может нас одно спасти —
добро!

Часто вызывали на допросы
Тихона.
Но был он тверд и смел.
По стране катились волны
грозных
Самобичеваний,
дутых дел.

Его взяли ночью незаметно,
Дело состояло
из доносов, лжи.
Вся вина,
что Тихон беззаветно
Богу
верой-правдою служил.

Ссылка
в монастырские застенки,
Снова заключение в тюрьму...
И опять
все те же нары, стены,
Тусклый луч,
спустившийся во тьму.

Новые допросы, обвиненья,
Камеры опять
 тяжелый свод...
Вдруг он различает — нет сомненья —
Мать Божья
 медленно идет.
— Пресвятая!
 Пал он ниц пред Нею:
Силы дай мне,
 укрепи мой дух!
В трудную минуту
 я в сомненье...
Кто мне враг сегодня,
 кто мне друг?
Вдруг
 Она ответила
 чуть слышно.
Свет над Ней сиял,
 глаза слепил:
— Знает про дела твои Всевышний.
Ждет тебя свобода,
 потерпи!

Век сулит
 большие перемены.
Надо
 не сломиться,
 устоять.
Все наносное
 отхлынет вместе с пеной,
Надо лишь лица не потерять!

Путь к спасенью православных
 выше!
Ты веди
 Россию за собой!
Знает про твои дела
 Всевышний.
Пусть царят
 надежда,
 вера
 и любовь!

7. Федор

На ярмарке московской
 людей — столпотворенье.
Под пестрыми навесами
 торговля бойко шла.
Картошкой и капустой,
 соленьями, вареньями.

А рядом зазывали
на стопочку вина.

Снежок несмело падал
и на прилавках таял.
Капустой пахло квашеной
и крепкою махрой.
А у торговцев семечками
вились птичьи стайки —
Следил за ними рыжий кот,
облезлый и хромой.

На тех рядах — куски
заморских тканей редких,
А здесь — торговля спичками,
и мылом, и пенькой.
И собралась ватага
у клеток с канарейками
Ребят разноголосых
и пришлых знатоков.

Гудела в полдень ярмарка,
как улей растревоженный...
На маленьком помосте —
петушиный жаркий бой.
Один драчун, хотя и важный, —
очень осторожный.
Другой — крикливый, яркий
и как дьявол злой.

Но вдруг толпа нахлынула:
бродячий цирк приехал!
Здесь клоуны, жонглеры
и наездник-акробат.
Подвыпившие парни
смеются: вот потеха!
И слышны свист,
и хохот,
и веселый мат.

* * *

Шагал усталый Федор:
котомка за плечами,
Ушанка нахлобучена,
шинель весит мешком.
Он только что
на исповеди был
и на причастии
В высоком светлом храме,
что здесь недалеко.

Его увидев, многие
вослед ему шептали:

— Смотри, блаженный!
Что-то
усталый он на вид!
Но у киосков ярмарочных
Федю поджидали —
Надеялись,
что успокоит, даст совет,
благословит.

Увидев петухов,
он вдруг остановился.
Глаза его сверкнули:
— Что за война теперь?
Кто тот храбрец, что ходит
кругами с важным видом?
Антанта, нам не ровня!
А тот — тевтонец, зверь.

Вы напустите лучше
на этого австрийца
Того, что покрупнее.
Он точно русский, свой! —
И помолчав, спросил:
— Где мне испить водицы?
А то все губы высохли
от болтовни такой.

В свой тесный круг торговцы
тотчас его позвали:
— Пей, Федя, угощайся!
Что будешь — битень, квас?
Он выпил кружку:
— Было весело мне с вами...
Вы сделали добро.
Бог не забудет вас!

Живите и торгуйте
без зависти, без злобы.
Не зарься на богатство,
а лишнее верни!
Подай копеечку калике сирому
и чтобы
Одну земную жизнь прожить —
сто раз не обмани!
— Пойду, уж люди ждут меня.

И слышно:
— Здравствуй, отче!
Попотчевай у нас,
к нам, Федя, заходи!..
— Здорово, горемычные!
Что, припекло вас нонче?

Живете днем одним.
Что ждет вас впереди?

Прошло уж четверть века,
бесстыжого, сумбурного.
Цветочки это.
Будут ягодки горьки.
Ораторы и белые,
и красные, и бурые
Грохочут от досады,
то ли от тоски...

Приспело время,
тишина нужна России.
Пора нам всем одуматься,
спасет нас тишина.
Идите в церкви,
боль и грусть с собой несите!
Очиститесь,
настанет скоро
Пасха и весна.

Так... Ты, товарищ-барин!
Что смотришь,
ждешь с мольбою?
Я вижу, ты, приятель,
не совсем здоров.
Так, так. Дай руку мне.
Ты со своею болью
Сегодня ж справишься,
не нужно докторов.

А ты, дочурка?
Маму недавно потеряла...
Не плач!
Ее ведь плачем не вернуть.
Иди, молись за мамку, дочка.
Церковь рядом.
И поминай почаще.
Ее другой ждет путь.

Ты, молодой, печалишься...
Душа твоя в дурмане.
О ком грустишь, тоскуешь?
Скажу тебе одно:
Беги, пока не поздно.
Беги, она обманет.
Скорее выведи с души смущенной
горькое пятно.
Вот ты, почтенный, выйди,
я знаю, чем ты болен.
Молись святому Трифону
и днем, и перед сном.

Попей святой водички,
попей ее поболее.
Но лишь не утешай себя
ни брагой, ни вином.

...Вдруг Федя замолчал.
Тень на лицо упала.
В скопление облаков
смотрел он долго вверх.
Как будто он просил
у неба снегопада...
Вдруг небо потемнело,
пошел лавиной снег.

Упал на землю Федор.
С седых волос свалилась
Ушанка старенькая, рваная его.
Душа его страдала,
душа его молила,
Была она полна
предчувствий и тревог.

Он встал с колен, смущенный:
— Да, семена упали!
Небесный наш Отец
их в душу заронил.
Идти мне предстоит...
И с миром вы ступайте!
За Тихона, прошу вас,
помолитесь в эти дни!

Я видел знак, я знаю —
наш пастырь крепко болен.
Услышать его исповедь
теперь придется мне.
Что ж, мне так мне,
на то его и Божья воля.
Видать, покой
найдет он скоро
в блаженной стороне.

8.

Последняя исповедь

Его привели
в монастырскую келью,
просторную, светлую, чистую.
Была она вся в иконах,
как маленький храм.
Раскрыта на тумбочке
старая Библия,
что множество раз перечитана.

А рядом, на одре широком
Святейший лежал.
Был он в забытии,
только слышались стоны,
дыхание было тяжелым.
И вдруг он очнулся,
открылись глаза широко:
— Скиталец! Пришел-таки?
Сядь, посиди!
Смотри же, каким стал я квелым!
Заканчивать путь свой,
поверь мне,
совсем нелегко.
Пока еще жив и рассудок, и голос,
хочу исповедаться полно.
Ты исповедь примешь,
ведь к Богу ты ближе многих отцов.
Я должен с сумятицей мыслей собраться
и вспомнить, покамест не поздно.
И он замолчал.
И задумчивым стало лицо.

Он долго молчал.
От свечей и лампадок
шел свет неустойчивый, слабый.
Вдруг голос раздался,
с трудом, с напряжением сил:
— Видать, я поднял непосильную ношу,
когда во главе православных
С гордынею встал,
во главе всей духовной Руси.

Она, эта ноша, меня раздавила.
И все же спасеньем мы стали,
Мы совестью стали народа
в бессовестный век.

А я..
Предавая анафеме власти,
я снова мирился с властями.
Казалось, что близок
конец туннеля и виден свет.

Но снова ломали звонницы,
крали иконы и рушили храмы.
Но снова судов и расстрелов шальная волна...
А это для наших церквей —
глубокие, кровоточащие раны.
Остались они без защиты —
и в этом моя вина.

Бессмысленных жертв не хотел допускать я,
а вот уступать приходилось,

Считая, что лучше синицу иметь,
 чем ловить журавля.
А может, я должен был смерть принять,
 чтоб в мире любовь возродилась,
Чтоб жертвой такой грехи искупила земля?..

Не лучше ли было на плаху ступить мне,
 ступить в назидание власти?
...Но ведь можно было террор
 на церковь навлечь...
Я церковь спасал, и в этом мое оправданье,
 от красной напасти.
Я шел на поклон, но церковь сумел уберечь —

...Одна за другой догорали свечи,
 последние дымки их таяли.
Устал отец Тихон,
 последнее слово слетело с уст.
Закрыл он глаза,
 дыхание стало спокойным.
 Все то, что угаивал —
Сомнений, ошибок давно тяготивший груз —

Все разом отдал он на суд
 самый праведный, божий,
И стало свободно.
 А Федя поднялся,
 тяжелым крестом осенил
Уснувшего Тихона.
 Спал патриарх успокоено и беззаботно,
Как будто небесный Судья
 услышал его и простил.

2001 г.

ПУБЛИЦИСТИКА

Владислав Аникеев



ИСКУПАТЬСЯ В ВОРОНКЕ

Памяти Александра Сергеевича Архипова и моих товарищей по газете «Советская Россия» Саши Пятунина и Володи Колобова.

1

«Едем купаться на Воронку, едем не дорогой, а лесной тропинкой. Мокрые от утренней росы ветки поминутно хлещут по лицу. Придерживаешь рукой шляпу и нагибаешься к челке лошади. У купальни привязываем лошадей к березкам, рысю бежим по мосткам и скорей, скорей раздеваемся. В купальне два отделения — один ящик маленький и мелкий для детей и большая купальня для взрослых. Прыгаешь прежде в ящик и окунаешься. Вода пахнет тем особенным речным запахом, которым пахнут реки только в России.

Папа уже плывет снаружи, к реке, Сережа тоже.

— Илюша, плыви сюда!

Собираешься с духом и выплываешь — скорей к берегу. Глаза выпучены от напряжения, вода лезет рот и нос. А все-таки доплыли, и теперь уже не так страшно плыть назад. Одеваемся. Папа подсаживает меня на лошадь, и мы галопом поднимаемся по горе».

Так вспоминает о своем яснополянском детстве сын Льва Николаевича Илья.

А вот что пишет родная сестра Софьи Андреевны Татьяна Кузминская урожденная Берс:

«В первые годы я помню, как мы ходили с ним ловить щук. Выбирали узкие места на Воронке, он вставлял сеть на палке, и мы с сестрою, и кто еще бывал, болтали воду, и таким образом рыба шла в сеть, которую он держал. И этим он увлекался».

Это река его детства. Здесь он научился плавать. Воды не боялся, как всю жизнь не боялся никого и ничего, кроме смерти. Бунтарская натура обозначилась рано. В противовес наставлениям взрослых мог выпрыгнуть из окна второго этажа. Мог сигануть в речку в одежде и даже в сапогах, которые, как гири, тянули на дно. И потом из последних сил грести к высокому берегу и пытаться ползком взобраться по крутому откосу. Маленького барина тащили со смехом бабы, косившие сено на Калино-

вом лугу. Здесь была запруда, сделавшая речку по-настоящему полноводной. Стояла мельница, где Толстые мололи муку для себя, и даже сдавали ее в аренду. Были мосты, по которым можно было проехать на старую дорогу, ведущую на Одоев и Крапивну. Сюда же бегал смотреть из засады на лосей, которые приходили лакомиться ивовыми ветками...

Свидетель Илья Репин в своих «показаниях» утверждал, что граф часто приглашал гостей Ясной Поляны сходить с ним искупаться на Воронку. Ходил он быстро. Художник с непривычки покрывался испариной и предлагал перед купанием посидеть минут пятнадцать и остыть. Толстой решительно браковал эту систему, считая это предрассудками. По его спине текли ручьи пота, но отважный Лев смело бросался в холодную воду, не боясь судорог, о которых тоже предупреждала народная мудрость. Столь же решительно пресекал он и попытки обтираться полотенцем: «Что вы делаете! Вы портите все купание. Надо обсушиться на солнце, на воздухе, а вы тряпкой обтираете все, что дала прелестная вода».

Но, не всегда презирал он материю, оставаясь безоговорочным идеалистом. Внимательно читая классика, обнаружил и я в нем противоречие. Не одному же Ленину дано видеть их.

«Иногда, довольно часто, я вставал рано... и живо одевался, брал под мышку полотенце...»

Ага! Было время, когда брал.

«...и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березняка, который был в полуверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловую в тени поверхность реки, начинающуюся колыхаться от утреннего ветра. На поле желтеющей ржи, на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающих белые стволы берез, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе»

Тут компьютер подчеркнул одно слово. Но я сказал японскому механизму: «Это же Толстой. А ты кто? Робот». Не правда ли, смачно изображено? Лирик-акварелист Константин Паустовский, возможно, придрался бы к слову — «промачивая». Но зато оно запоминается. Именно своей неординарностью. Максим Горький Федора Панферова тоже критиковал за глагол «скукожился». А прижилось. Употребляет народ. И очень часто. Даже применительно к СССР, чьи границы сократили наши заклятые друзья и закадычные враги.

2

Со времен основания вселенского грешного мира а может, чуть позже, ну, скажем, с давней эпохи Великого оледенения (кто знает точно, признавайтесь-колитесь, а лично я — нет), по этой территории Средне-Русской возвышенности текла-бежала речка Воронка.

Тупо ползущие по поверхности старушки-Земли, подобно угрюмым танкам Гудериана, каменные гряды проутюжили ей русло, заполнив водой тысяч родников. И с тех пор она речка с нами.

Какой она была, прекрасно описали Толстой и его современники.

Какой она стала сейчас, читайте в моем исполнении.

Когда-то Воронка была притоком, помогавшим Оке быть водной магистралью, глубокой и даже судоходной. Правый приток Волги был способен нести на своей

спине купеческие баржи с зерном. Перевозил на пассажирских пароходах с боковыми шлепающими плицами пассажиров. Навешивал на крючки страстотерпцев-рыбаков, готовых сутками философски смотреть в струящиеся воды, пескарей, карасей, язей, подлещиков и даже больших щук, похожих на маленькие подводные лодки.

Председатель Тульского областного суда Виктор Петрович Сергеев, сочно рассказывал, как в его пролетарском детстве, мальчишки, словно Тарзаны, отважно сигали с веток деревьев вглубь прозрачных вод, не боясь сломать шею, что часто бывает с ныряльщиками на мелководье. Чистых, несмотря на то, что по дореволюционному металлическому мосту грохотали поезда с гондолами подмосковного угля и, цепляясь высокой трубой за черный дым, как свирепые звери, мчались пылящие паровозы.

Я живо представил, как, мелькнув белыми попками, с брызгами ввинчивались в воду возможные кадры олимпийского резерва, которых могли бы увенчать золотыми, серебряными и бронзовыми медалями за высокие спортивные достижения. Их и увенчали. Только другими медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина». Пулеметчик Второй мировой Витек Сергеев, оставивший в госпитале ногу, отрезанную под самый пах, ногу, ностальгически вспоминал купание на Воронке.

3

Бывшая красавица бежит на север, как полонянка, удравшая из ханского гарема, кутаясь, как в одежды, в изумрудные береговые заросли ивняка, еще сохранившие лепоту в верхнем и срединном течении, но совсем утратившие товарный вид в низовьях.

Ее душат слева и справа чахлые ивы, сиротская ольха, неполноценные кустарники и гигантские бурьяны, словно удобренные радиацией.

Она продирается среди отвратительных свалок с банками-склянками, пластиковыми бутылками, хлорвиниловыми упаковками, молочными «пирамидками», раздуваемыми ветром прозрачными пакетами, брошенными газетами, которые нынче не берут даже в макулатуру, белых металлических туб от дезодорантов, дихлофоса, клопомора и прочих разрушителей озонного слоя над Землей.

Воронка протекает по всему Привокзальному району Тулы мимо скромной одноэтажной станции Лихвинской узкоколейки, которую уже закрыли.

Бежит транзитом вдоль корпусов процветающего завода «Желдормаш», вагонного и локомотивного депо, транспортной милиции, старинного Московского вокзала.

Нырять под ржавый пешеходный мосточек и, стараясь не читать двусмысленное название улицы — «Тупик реки Воронка», начертанное на трафаретах, прикрепленные на дома, и незаметно впадает рядом с железнодорожным мостом через Упу, в этот правый приток Оки. Исток ее, чистый и студеный, находится недалеко от деревни Грумант, откуда видна Ясная Поляна.

По родовому гнезду Льва Николаевича Толстого речка бежала еще довольно чистая, хотя выше по течению в нее сбрасывала жидкий навоз ферма крупного рогатого скота совхоза «Ясная Поляна». Еще работая в «Советской России», я возглавлял республиканский комитет по спасению музея-заповедника, и мне не доставило никакого труда остановить эти вредные сбросы. Пионерную статью в газете, ставящую проблемы защиты Ясной Поляны от комплекса вредных выбросов, самыми опасными из которых были выхлопы труб Щекинского химкомбината «Азот», подписали Абрамов, Астафьев, Бондарев, Распутин. Перед такими именем благоговели все нормальные люди. И в душах их прорастали семена жгучего стыда и активного желания исправить позорные дела малокультурных наших современников. А когда Совет Мини-

стров России принял постановление по защите жемчужины мировой культуры и из комбината вывели ряд особо вредных веществ, которые производились в цеха комбината, дышать стало вообще легко. Фактическим московским куратором нашей общественной работы был председатель Совета Министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломинцев. Практическую работу вела заместитель председателя облисполкома Зинаида Кирилловна Филиппова. Каждую неделю она собирала в местном Белом доме всех первых лиц, ответственных за осуществление разработанных конкретных мероприятия с датами, и спрашивала, спрашивала, спрашивала. Ослепительно красивая блондинка, скорее похожая на киноартистку Любовь Орлову, чем педантично-строгую чиновницу, жучила крутых мужиков с такой силой, что с них в три ручья истекал пот и ручьями устремлялся в мою любимую Воронку, осолоняя ее нечистые в пределах города воды.

Понятие «исполнительская дисциплина» было в те годы доведено до такого предела, что порой приходилось сдерживать рвение ответственных лиц и вызывать к их здравому смыслу. Например, когда был назначен срок закрытия фермы, отравлявшей Воронку навозом, скот стали переводить в лютый мороз, и я, который, казалось бы, обязан воспеть рвение животноводов, представив, как бредут по морозу чихающие и кашляющие буренки, вспомнил знаменитые крыловские слова «Услужливый дурак опаснее врага».

По весне в Ясную Поляну приезжали отовсюду общественно активные специалисты, входившие в наш комитет. Это были экологи химики, биологи, почвоведы, садоводы, мелиораторы, строители, агрономы, журналисты, писатели, поэты, художники, одним словом — общественность.

Заместитель директор музея-усадьбы, курирующая зеленые насаждения родового гнезда Льва Толстого. Юлия Клементьевна Федорова выводила нас на пленэр, и мы обходили под ее чутким руководством всю территории, бдительно всматриваясь по ее наводке в деревья с дуплами, пожелтевшую листву, ущербные ветки.

А потом мы собирались в Доме Волконского, садились за длинный стол и начинали решать вопросы. Директор Государственного заповедника Андрей Иванович Тяпкин, очень деятельный шеф, пришедший из отдела пропаганды и агитации обкома партии, где был инструктором, уступал мне свое кресло и мы начинали решать вопросы. Разные и злободневные.

Сознание того, что мы не дурака валяем, а выполняем высокую миссию быстро, почти мгновенно преображало нас, и мы становились лучше, чем были до того, как повенчались с Ясной Поляной — целеустремленнее, работоспособнее, непримиримее.

Дух Великого Льва, не выветрившийся из его родового прайда, который в год пропускал сто тысяч жаждущих прикоснуться к этой глыбе, этому матерому человеку, почти мистически входил в нас, побуждая не дремать, не сидеть сложа ручки, не ныть, не злословить, не завидовать, не изгаляться над тем, что сделали предшественники и, тем более, не рушить его, не идти на поводу у недостойных, не вышучивать робкие и неудачные попытки изменить ситуацию к лучшему, не отчаиваться, не спиваться, не трусить, не... не... не...

После таких мозговых атак в газете «Советская Россия» появлялись радикальные доказательные статьи, на которые реагировали самые высокие лица государства. Маяковский мечтал, чтоб о работе стихов на политбюро делал доклады Сталин. Но вожди, которым лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи помогал строить социализм, даже не удостоили его чести посетить его юбилейную выставку

А наши статьи, на которые ошестинивались даже родоначальники знаменитого Шекинского метода, который был вне критики, и к нему пресса относилась как к священной корове, рассматривались на бюро Тульского обкома партии, а Совет Министров РСФСР принял специальное Постановление в защиту Ясной Поляны, В нем

были четко обозначены границы заповедника, санитарной зоны и введен запрет на нерегулируемое хозяйственное строительство. Удалось добиться даже вообще фантастической цели. Химическому комбинату «Азот», учитывая его соседство с мировой жемчужиной, запретили производить серную кислоту, пойдя даже на удорожание конечной продукции и ряд других особо вредных веществ. Социализм мог позволить себе эту роскошь. А государство выступало в роли умного регулятора всех социально-экономических процессов. То, что сейчас называют лукавым словом «рынок», тогда осуждалось привычной формулировкой «пусть на самотек».

4

Оказавшись в «Гудке», я, естественно, стал искать возможности для реанимации яснополянской темы, которая до какой-то поры оставалась своего рода «интеллектуальной собственностью» и ноу-хау «Советской России».

Обратив внимание на густую концентрацию железнодорожных объектов, сквозь которую текла река, я стал думать, как бы приспособить к ее судьбе Московскую железную дорогу, руководители которой должны были, как я полагаю, волноваться не только о повышении пропускной способности магистрали, качестве обслуживания пассажиров, соблюдении графиков движения и борьбе с «зайцами».

Проще простого было написать критическую статью, о ее равнодушии к судьбе речки. Живописно описать отнюдь не живописную грязь на бывших живописных берегах. Назвать цифры сброса железнодорожными предприятиями в струящиеся воды Воронки неочищенных стоков с убийственными ПДК и ПДВ.

С принципиальной прямоотой и беспощадной суровостью врезать меж глаз хвальной больнице с улицы Дмитрия Ульянова, из трубы коей текла такая бяка, что было страшно за здоровье здоровых людей, имевших неосторожность приблизиться к реке. И в конце статьи, как можно было тогда, поставив вопросы типа «Доколе?» и «А куда смотрят руководители перечисленных предприятий и Привокзальный райком партии и исполком?»

И прошло бы. За милую душу. Со свистом. И меры бы были приняты. Действенные. Решительные. Время такое стояло на дворе. С обилием в управленческой стилистике слов и понятий «чувство высокой ответственности», «взаимная требовательность», «партийный подход», и на авторе не отыгрались бы руководители перечисленных выше предприятий, в которых я приобретал билеты, уезжая в командировку, лечил горло и зубы, покупал песок для разрыхления тяжелой почвы на огороде.

Ну, посудачили бы между собой: «Мы для него все... А он нам... Понимаешь... Такую свинью подложил... Вот гад...» Ну, стали больше, чем раньше заглядывать в глаза, демонстрируя внешнюю вежливость, в то же время отказав мне в былой доверительности.

Но я решил сделать иначе. По проверенному конструктивному варианту, который неоднократно применял на Дальнем Востоке. Например, такому. Шел в Чугуевском районе Приморья в тайгу. Искал вместе с женьшеньщиками в тайгу. Находили корень жизни и посылали его... на орбиту в космос, летавшим в то время на орбите космонавтам Попову и Рукавишникову. Чтоб хрустели там им, как морковкой. Еще посылали семена и годовалые всходы для высадки на корабельном «огородке». И тут же передавал в «Советскую Россию» оперативную информацию с золотым словом «Сегодня таежники с родины писателя Александра Фадеева...»

Не скрою, даже такая невинная режиссура влекла за собой неприятные последствия. Обижались тассовцы. Им сам Бог велел быть королями информации. А тут «проморгать» такое. С коллег выпускающие редакторы снимали стружку: «Что же вы ворон ловите. Опять «савраска» нас обогнала». Они перебрасывали камешек в мой

огород: «Старик, ты плохой товарищ. Не мог нам сказать». А в Москву своим сообщали: «Да это бандит. Он для заметки провокацию на советско-китайской границе готов организовать» Так было много раз, пока не привыкли.

Но ведь ничего в этом не было оригинального. Ключ всем журналистам дал Ленин в своем знаменитом постулате, который сейчас затоптали-заплевали, превратив информацию в ходовой товар или просто новость: «Газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор».

5

По дороге на Московский вокзал я всегда проходил мимо профессионально-технического училища № 8 имени дважды Героя Советского Союза Сафонова, на мемориальной доске которого всегда заставлял остановиться и задуматься чеканный профиль Бориса Феоктистовича.

А думал я вот о чем. Всего за восемь месяцев войны этот помощник машиниста из Тулы, уроженец Плавского района, который через 45 лет по несправедливому стечению обстоятельств станет наиболее пострадавшим районом области в результате последствий аварии на Чернобыльской АЭС этот ас, левша между прочим, сбил 29 самолетов. Если бы он довоевал до конца Великой Отечественной, он, продолжая работать с такой же скорострельностью, нарисовал бы на фюзеляже своей ленд-лизовской «Кобры», если бы, конечно, не заменил самолет на Ил или Як, он бы сбил 114 самолетов. Для сравнения напомним, что трижды героем Советского Союза Александр Покрышкин и Иван Кожедуб сбили соответственно 59 и 62 самолета Люфтваффе. А значит, он был бы, как минимум семижды или даже восьмижды (даже слов-то таких нет) Героем Советского Союза.

Согласитесь, что железнодорожное училище, давшее Родине

Я предположил, что училище, воспитавшее такого уникального машиниста, должно обладать особыми качествами: высшим понимаем чувства общественного долга, уважением к конкретному проявлению патриотизма, готовностью личным примером зажечь всех остальных на совершение конкретных поступков, мощной энергетикой.

Пришел к директору Александру Сергеевичу Архипову. Изложил идею Красивый, статный человек без руководящего животика и с серебряными прожилками седины, похожий на киноартиста, хорошо подобранного для съемок фильма о трудовом воспитании подрастающего поколения в ПТУ, закурил, задумался, оценивая дивиденды, которые принесет училищу и коллективу акция, не запланированная учебным процессом, и сказал:

— Хорошо. Только агитировать ребят будете вы сами. Пойдемте.

И он привел меня на урок литературы. Я сел на заднюю парту, чтобы не закрывать своей широкой спиной учительницу и классную доску и стал внимать. Проходили Есенина.

— А кто прочитает любимые стихи поэта? — спросила учительница.

Уловив легкое замешательство в рядах четырнадцатилетних ребяташек из деревень и небогатых городских семей — ремеслуха ведь — я поднял руку.

— А можно мне ответить, пока они думают?

Вышел к доске и стал не декламировать, а как бы убеждать их любимыми словами о волшебстве нашей русской природы, которая в ближайших окрестностях от училища просто чудовищно дисгармонировала с льющейся есенинской красотой. Можно не столбиком? Я ведь не со сцены читал. Я аргументы приводил по методу контраста.

Топа да болота. Синий плат небес. Хвойной позолотой взвенивает лес. Тенькают

синицы меж лесных кудрей. Темным елям снится гомон косарей. По лугу со скрипом тянется обоз. Суховатой липой пахнет от колес. Слушают синицы посвист ветряной. Край ты мой забытый, край ты мой родной.

Ребята молчали. А потом одна девочка попросила еще что-нибудь прочитать

Я это запомнил в восьмом классе. Есенин был тогда запрещенный. Мы передали толстую столбовую общую тетрадь, в которой была переписаны «Москва кабацкая». «Письмо матери», «Собаке Качалова» друг другу и переписывали. Для меня тогда чемпионом СССР по поэзии был Маяковский. И вдруг рядом с ним в сердце появился Есенин. Я испугался. Что же, я изменник? Тем более запрещенный поэт... и тут же. Чтобы выбить из души Есенина наизусть выучил всю поэму «Хорошо».

Я видел места, где инжир с айвой росли без труда у рта моего. К таким относишься иначе. Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплею льешься с массой. С такую землю пойдешь на жизнь, на труд, на праздник. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы. Но землю, с которой вдвоем голода, нельзя никогда забыть. Лишь лежа в такую вот гололедь, зубами вместе проляскав, поймешь нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс,— бросишь и мчишь, колеса. Но землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя.

Они до сих пор в моей душе рядом, оба этих поэта. Вот и весь мой урок.

В классе стало очень тихо, и я бросил на подготовленную двумя гениями агитсмена во спасение реки Воронки, в которой научился плавать мальчик Левушка, который впоследствии стал Львом Николаевичем Толстым.

6

На следующий день весь класс в полном составе вышел к Воронке возле моста на Красноармейском проспекте. Под руководством мастера Владимира Ивановича Антипова в мастерской училища были выкованы длинные толстые стальные крючья. Вооружившись ими, ребята, надев резиновые сапоги и рукавицы, стали шуровать ими по дну, вытаскивая на об берега железки, которые сегодня обогатили бы сборщиков металла, утащившие со всех дач алюминиевые миски — кастрюли и даже ложки, 150-граммовые панели управления с лифтов, крышки от технологических колодцев с проезжих частей улицы. Улов был многотонный — мотки проволоки, панцирные сетки, газовые плитки, трубы, колеса, шасси, моторы, велосипеды, начинка слдохших радиоприемников и телевизоров. Все, что цеплялось за крючья. Консервные банки специально не тащили. Ну, разве те, которые цеплялись сами. Казалось, что вот-вот из реки будет извлечен паровоз «ФД» и атомная подводная лодка.

Закончив работу, сели на красивом берегу, выложенному плиткой, который теперь не оскверняло позорное барахло, и я сделал снимок.

Материал «Тупик реки Воронка» я отправил с машинистом электровоза в «Гудок» и бессмертный сотрудник транспортной газеты Юра Верещегин, обладающий профессиональным нюхом поставил материал в воскресный номер.

Утром мне позвонил директор училища и поблагодарил за публикацию. Она пришлась очень кстати, реабилитируя репутацию училища. Дело в том, что незадолго до этой корреспонденции в московской газете сотрудница «Молодого коммунара» Татьяна Кошелькова в своем издании, очень любящем всех поучать и ставить на путь истинный провела показательную порку директору Архипову уж не знаю за что, уж так обидела человека, так его разделала.. И тут вдруг такая слава...

— А мы завтра снова выходим чистить,— обрадовал Архипов. Ждем вас.

— Обязательно приду. Только пусть ребята нарисуют плакаты. В комитете комсомола знают, как это делается.

Теперь их пришло гораздо больше. Над их головами колыхался плакат: «Спасем реку Воронку». Вытащенные на берег новенькие четырехметровые чугунные трубы диаметром 150 миллиметров могли бы осчастливить жителей большого многоэтажного дома, если бы находкой, извлеченной со дна реки, заменили порванный отрезок водопровода.

Второй материал в «Гудке» я назвал уж не помню как. И снова на странице улыбались прекрасные мордашки спасителей реки Толстого.

И снова позвонил Архипов и назвал день третьего десанта.

Я связался с редакцией и получил отказ на публикацию очередной репортажа: «Ты у нас не один. К тому же мы не «Родная природа».

Ну, что ж, поистине не «Гудком» единым жив человек.

7

Третью статью «Айда на Воронку» напечатала областная газета «Коммунар». Сотрудница редакции Людмила Носкова сказала, всматриваясь в лица ребят:

— Обрати внимание, какие они все красивые, вдохновенные, радостные. Как нравятся им это. А мы им все нотации читаем. Пилим, воспитываем, а им вот что надо.

На этой стадии акцию заметили в обкоме партии и пообещали о том, чтобы подумать о ее поддержке. Но думали так долго, что дождались ликвидации компартии вообще, а потом плавно перетекли в рыночные структуры, где Воронка может их интересовать только как товар, а не объект трудового и нравственного воспитания молодежи.

Четвертую корреспонденцию прямо на первой полосе тиснула та самая газета, которая недавно раздолбала училище и директора. Мой произнесенный вслух очень резкий заголовок, даже на мой «критиканский» взгляд, пригодный разве что для применения в непечатном виде был обнародован открытым текстом и бил по мозгам «Убитая нами река». Кстати, готовила его к печати Кошелькова, красивая, стройная, но уж больно злая.

Для описания пятого десанта в Туле уже не было газет — не знаю. Факт тот, что я помог уравновесить органу отношения с училищем.

Больше газет в Туле вообще не было никаких, кроме ведомственных многотиражных, и я переключился на Фотохронику ТАСС. На всю страну фототелеграф через сибирские пространства до Курил протиражировал изображения довольных своим участием в спасении толстовской речки мальчишек и девчонок. Ребятам понравилось мое условие; «Каждый, кто примет участие хоть в одном десанте на Воронку, будет запечатлен на снимке для истории». Обе стороны свято соблюдали джентльменское соглашение. И десант следовал за десантом. Их число превысило два десятка.

Фамилии ребят зазвучали в радиоэфире. О них тепло написал толстый журнал «Наше наследие» посвященный культуре.

Вспомнив известную самооценку великого поэта, закончившего «Бориса Годунова» и хлопнувшего себя по бедрам с криком «Ай да Пушкин, ай да сукин сын» (в школе нам последнее едва ли не матерное по тем пуританским временам заменяли словом «молодец»), плюнул на ложную скромность и написал письмо в США своему другу Джею Хиггинботтаму отчет о проделанной работе.

Вскоре лауреат нескольких премий по публицистике, автор книг «Осень в Петрищеве» о Зое Космодемьянской «Скорый поезд «Россия» с впечатлениями о путешествии по Транссибу и прислал из штата Алабама в Тулу ответный меморандум со словами гордости за юных железнодорожников. Была в нем прекрасная оценка сделанного, лаконичная, точная и предельно живая: «Лев Толстой был бы вами доволен».

Познакомил с посланием американца Тульский городской Совет народных депутатов на их сессии-форуме. Подчеркнул в подтексте: дескать, эх вы, мужики, Америка оценила, а вы чешетесь. Но они даже виду не подали. Изложил под их веселые аплодисменты перспективу приглашения на спасение речки Толстого в рамках развития побратимских отношений Тулы и города Олбани молодых американцев с тонким намеком янки позвать наших ребят на очистку Великих озер Гурон, Эри, Онтарио, Мичиган.

Возражений не последовало. Даже наметились признаки веселого оживления в зале.

Собственные корреспонденты газеты «Советская Россия» по Воронежской и Липецкой, Рязанской Тамбовской областям Александр Пятунин и Владимир Колобов, проводившие в течение нескольких лет массовую акцию «Малым рекам — большую жизнь», позвонили и сказали, что два десятка десантов тульских сафоновцев — это красиво, эффектно, но их акция эффективнее. В Туле сработали за весь свой город-герой на берегах Воронки полсотни мальчишек и девчонок. А мои коллеги организовали десятки сходов сотен жителей четырех этих областей, участники которых расчистили десятки родников на берегах малых речек и посадили тысячи деревьев и кустарников, укрепивших берега.

Оба моих друга, с которыми я принимал участие в природоохранной экспедиции по Оке от родника на Орловщине до впадения ее в Волгу в Нижнем Новгороде, уже давно ушли из жизни, как и Александр Сергеевич Архипов. В честь Саши Пятунина в Воронеже заложен парк его имени. И на фоне того, что уже было сделано, остановка работы, начатой в Туле, выглядит не просто обидной, но и, извините, кощунственной.

В нашем городе прямо-таки с умилением и придыханием склонны вспоминать акцию тульского учителя Ария Петровича Ротницкого, который привез в Ясную Поляну на экскурсию более шестисот тульских ребятишек. Об этом оставили в своих дневниках записи и Лев Николаевич и Софья Андреевна. Гостеприимная хозяйка Ясной Поляны напоила гостей чаем с сахаром и пряниками. А Лев Николаевич пошел с ними купаться на Воронку. Доброжелательный гуманист высоко оценил выдумку учителя гимназии, хотя отдуваться-то пришлось не ему: попробуй напои такую ораву. Но если бы сегодня кто-нибудь из тульских заслуженных учителей вздумал свозить к молодому графу Владимиру Ильичу Толстому 600 скаутов, кадетов и наших» с тем чтобы потом устроить купание в Воронке, ничего бы у них не получилось Чай пить — это, пожалуйста, а уж купаться — извините-подвиньтесь. Сразу за отстойником Косогорского металлургического завода в русло Воронки попадают цианиды.

Когда несколько лет назад один из румынских заводов спустил в Дунай подобную гадость, вся Европа стала на дыбы.

Когда Китай траванул свою Янцзы и наш Амур пресловутым бензольным пятном, месяц еле-еле только об этом и говорило, считая с какой скоростью зараза плывет вниз к Мировому океану и когда оно будет в Хабаровске.

А в городе-герое Туле царит возмутительное спокойствие по поводу состояния Упы, Тулицы и речки с символичным названием Воронка. Символичным потому, что в ее водоворот проблем оказались втянутыми и потонули надежды, обязательства, инициатива, бескорыстие, долг.

8

Зачем же тогда, вместо того, чтобы отдыхать и лечиться, сгорали в плотных слоях атмосферы сопротивления бюрократов доброму делу мои друзья-журналисты?

Зачем с яростью десанта Цезаря Куникова, сражавшегося на Малой Земле, прекрасные мальчишки-сафоновцы возвращали жизнь мертвой воде?

Зачем я с гневным напором известного римского оратора, атаковавшего в Сената Катилину, вопрошаю «Доколе»? столько усилий и все в гудок!

У меня есть все основания возмущаться ходом сегодняшнего состояния речки, вспоившей вместе с молоком матери великого писателя Льва Толстого и бить в набат по поводу готовящегося беспредела.

На Севере в Мурманской области расформирована воинская авиачасть, в которой служил питомец Тульского железнодорожного училища № 9 Борис Сафонов. Десятки лет между учебным заведением и боевым подразделением была прочная дружба. Ездили друг к другу. Сверяли трудовую учебу с боевой. Музей Сафонова, размещенный в стенах общежития, фактически был городским, народным.

И вот ржавым ножом политического преступления, вдохновленного нашими врагами (не дураками же) по рецепту Алена Даллеса была стерта из учебника литературы строка поэта-патриота «Во мгле и суете ревущей, дай Бог, чтоб в нас не прервалась минувших, нынешних, грядущих времен возвышенная связь».

И ведь прервали. На земле Льва Толстого и Бориса Сафонова.

И еще больше хотят прерывать и дальше. Стремительно выросший на площади Московского вокзала на месте футбольного поля погибшего стадиончика «Локомотив» огромный магазинище в духе западных супермаркетов продемонстрировал полное пренебрежение к судьбе толстовской речки, на берегу которой он обосновался.

Из-за нового порядка финансирования, когда Москва откажется подпитывать рублями-копейками училище № 9 с такими традициями и общественными заслугами. Оно просто перестанет существовать.

И не придут на железную дорогу новые машинисты и проводники. А зачем они? Поезда пойдут на автопилоте. А проводников наберем из гастарбайтеров.

Так что же теперь делать? Накапливая силы. Ищу союзников. Создаю под эгидой газеты «Куликовский набат» боевую дружину, которая вернет Льву Николаевичу Толстому речку его детства. Записываем всех, кто хочет. Вычистим. И тогда уж искупаемся.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КРИТИКА

Алексей Третьяков

Я ПОКА НЕ ОДИН...

(к выходу поэтической книги Петра Спасибова «Однажды читанная повесть...»)*

Стихотворение, название которого вынесено нами в заголовок настоящего очерка, помещено автором поэтического сборника в самом начале книги; во многом оно и задает лейтмотив:

*Я пока не один;
с одиночеством мы не знакомы.
Я пока не могу
ощущать приближенье весны.
Все пока хорошо:
много лиц симпатичных у дома,
И мне снятся,
не часто,
но даже хорошие сны.*

Число стихотворений в книге близко к двум сотням; и две поэмы: «Моисей» и «Бомж-виват». По образованию и профессии автор — архитектор, но вот пришла во взрослые уже года иная Муза и властно потребовала самовыразиться по ее ведомству. Это прерогатива творческого человека — выбирать форму откровения мысли и души.

Это все к тому, как архитектор становится поэтом. Но поэтам ведь равно становятся инженеры и военные, врачи и рабочие... даже персонажей нового времени, тех же банкиров и торговцев, может потянуть к высокому штилю. То есть дело не в профессии, хотя, конечно, профессия творческая — это только на пользу поэтическому самовыражению. Нет сомнения, что архитектура дисциплинирует поэта в выборе образных форм. Но все равно, дело не в профессии, дело в призвании. А когда оно-то, поэтическое позовет? — А это не важно, главное, чтобы позвало.

* Спасилов П. Однажды читанная повесть...: Стихотворения. Поэмы. 2003—2004.— Тула: Гриф и К, 2004.— 248 с., ил.

*Души лирический настрой
Надежды наши окрыляет.
В рутине будней не хватает
Глотка поэзии порой.*

Но лирический настрой у поэта взрослого мыслью все же побеждаем. В этом и состоит основное отличие взрывной, импульсивной поэзии юной души и лирико-философского настроения уже умудренного жизненным опытом поэта. Отнюдь и разница между юным Пушкиным и Пушкиным повзрослевшим; отсюда же и мудрая лирика Тютчева, Гете, Некрасова периода «Последних песен».

*Жаль, очень жаль, повымирали греки:
Мафусаилов век, он не для всех...
Античные, простые человеки,
Ушли... Но след каков от греков тех?!*

Мотивы античности, одновременно детства и изначальной философии человечества, пожалуй, доминирующие в книге Петра Спасибова. Поэтические герои и боги древности предстают в развертывающейся череде: Афродита и Тесея, герой Одиссей и злонаказанный богами царь Сизиф, опять же герой Геракл и трагический Эдип:

*Но взгляд невесел мудрого царя:
«Я победил. Но воронье летает
И надо мной...
Как, видимо, не зря?!»*

Пожалуй, никто из художников слова — и прозаического, и поэтического — любых времен, придерживающийся европейской традиции, не прошел мимо темы античности. Почти на генетическом уровне (с точки зрения науки биологии это, конечно, не так) мы впитали изначальную мудрость древних. Но это не логическая философия Гегеля и Канта; античная философия доходила «до ума через сердце», она была поэтической. В XIX—XX веках именно такая мудрость вселенского бытия была возрождена блестящей плеядой русских мыслителей-космистов: Н. Ф. Федоровым, С. Н. Булгаковым, П. А. Флоренским, К. Э. Циолковским, В. И. Вернадским.

...И почти не снижает впечатления нарочитая «заниженность» лексики:

*Не сиделось дома Одиссею,
Хитровану, Итаки царю.
Укорять за странствия не смею,
Но за блуд попутный укорю.*

А в предисловии к поэме-эссе «Бомж-виват» автор прямо указывает, чьей литературной традиции этой нарочитой заниженности он следует: А. К. Толстому, автору «Истории России от Гостомысла до наших дней» и соавтору, добавим, незабвенного Козьмы Прутков... Заметим, что традиция это всеевропейская, идущая от Франсуа Рабле и Лоренса Стерна.

*Российскую историю объял
До наших дней от старины седой
Российский граф «серебряный» — Толстой,
Зуд перышка гусиного уняв...*

*Я за компьютером такой же, ей-же-ей!
Талант, вот жаль, не графский —
поскромней...*

Основной лейтмотив поэмы: неординарный человек всегда отличается чем-то в обыденной жизни; для него, условно называемого бомжем, менее всего имеет значение то, что в обывательском понятии именуется «быть как все». Причем идет это не от показанного эпатажа, но просто следовать «внешним приличиям» для людей неординарных — лишняя маета и суета. Не до того им, отмеченным иным, высоким назначением. Таковы Диоген, Иисус Христос, Суворов, Пушкин, Лев Толстой, Ленин... — выдающиеся в отечественной и мировой истории личности — «бомжеватые» по мнению некоторых их современников:

*Поскольку царь не жаловал вождя,
Тот снял царя с учетом злобы дня;
Потом он мир лицом поворотил
К бомжам — и тем признание заслужил.*

На наш (субъективный) взгляд сомнительно включение в эту славную «бомжеватую плеяду» двух скандальных «нобелистов»: Бродского и Сахарова. Первый, как все наши диссиденты от пера, был слишком расчетлив; впрочем, сам автор с сомнением относит его к великим бомжам; даже и между строк не требуется читать. Ибо главный критерий для увековечивания «бомжей» — польза от их деяний для людей: в мировом или государственном ареале.

Несомненно, в первой половине своей жизни академик Сахаров принес много пользы своей стране, но затем он просто стал игрушкой в недобрых руках...

Но это к слову, опять же субъективному.

«...И сказал Бог, обращаясь к Моше: «Иди к фараону и скажи ему: так сказал Бог: отпусти народ мой, чтобы они служили мне! А если откажешься ты отпустить, то вот — я поражу всю область твою жабами. И воскишит Нил жабами...» И так далее. Это из священной для иудеев книги — Торы (раздел Шмот 7—8, Ваэра, стихи 26—28).

Моше — это пророк Моисей в христианской библейской традиции. Вторая из помещенных в книге Спасибова поэм и названа по его имени. Понятно, что сюжет ее — об исходе израильского народа во главе с Моисеем из четырехсотлетнего египетского пленения:

*Моисей — первопроходец,
Иудейский «Магеллан»,
Не спеша привел народец
Из Египта в Ханаан.*

И Тора, и Библия — те книги, в которых даже вовсе занятный сюжет есть все же литературная канва для глубокой и поучительной мысли — мудрости тысячелетий. Такая главная мысль истории сорокалетнего блуждания по пустыне — очищение от скверны рабства: изгнать из души своей раба — и только тогда народ может обрести обетованную землю:

*Заложил Моше основы
Почитания Творца...
И народец стал, как новый,—
От макушки до конца.*

Здесь, правда, в вольнолюбивом изложении автора поэмы речь идет об обрезании, но ведь и это в библейской традиции — акт очищения и единения народа...

А вот нас-то, горемычных в новейшей истории, куда уже полтора десятка лет ведут? Не обратной ли пути Моисееву дорогой — в рабство «египетское»? Задумываешься и об этом, читая поэму. Отсюда и вторая главная мысль ветхозаветного предания: только пророк, то есть человек, отмеченный божьей волей, может взять на себя ответственность за свой народ.

*О любви поученья бессмысленны,
Толку нет от брошюр и томов...
Импulsive и сухо-осмысленно —
Прихотливо играет любовь, —*

это уже стихи о любви, извечной темы поэзии. Понятно и самоочевидно, что «любви все возрасты покорны», но с возрастом человек все четче осознает: при всей естественной (и необходимой!) биологической первооснове любовь — это и феномен, как птица Феникс, постоянно возрождающийся при встрече душ, назначенных неведомыми силами друг для друга — только их, избранных.

*О любви человечество грезило
От туманно-младенческих дней.
Все за нею бегут,
серной резвою,
Как и прежде, мечтая о ней.*

...И завершим наше впечатление о книге многозначительной строфой из стихотворения «Детский мир»:

*У взрослых мир, возможно, был другой...
Я взрослым стал, но сразу не заметил,
Что мир вокруг не детский, не простой,
А свет, порой, совсем не так уж светел.*

Подумай, читатель, о содержании и смысле этой, простенькой на первый взгляд, строфы. Вспомни свое детство и проследи: как менялось твое мироощущение по мере взросления. Книга Петра Спасибова о взрослеющем поэте.

Владимир Сапожников



РОЖДЕНИЕ «СЫНА»

Книжные прилавки магазинов нашей Родины переполнены зачастую в настоящее время второсортными литературными поделками: неисчислимыми бездушно-тошнотворными детективами, полупорнографическими комиксами, «историческими опусами» людей которые, видимо, и школьную программу по истории России с трудом вытягивали на «троечку»... Издается и печатается сегодня любой, кому не лень — достаточно ощутить в себе писательский дар и, что еще более значимо — найти деньги на это дело... И появляются на свет божий бездарные толстые книги самолюбивых, непризнанных «гениев». Да, вот только читать их «шедевры» почему-то никому не хочется, даже из числа одураченной, зомбированной публики...

И на этом фоне — появление нового романа известной писательницы Натальи Деомидовны Парыгиной «Сын» — это несомненное обнадеживающее событие не только в тульской, но и вообще — в современной русской прозе.

Тематика произведения — наша действительность глазами не вороватого «олигарха», продажного чиновника, — а глазами простых русских людей-тружеников, миллионы которых пока к счастью составляют большинство в нашей планомерно разрушаемой, растаскиваемой стране. Тех граждан России, благодаря которым она пока не потеряла свое историческое название, благодаря труду которых она из последних сил сопротивляется ползучей экспансии наживательства любой ценой, бесчестности, навязыванию чуждого русскому народу, как сейчас принято говорить — менталитета. И, кстати, это одна из причин, что произведение Н. Д. Парыгиной просто обречено на успех у читателей.

Главная канва романа — эта борьба добра и зла, порядочности и бесчестия, человеческой воли и слабости, борьба истинных чувств, любви и того животного, безнравственного, что есть в каждом из нас.

Автор тонко показывает, как слабовольный, от природы добрый человек — Игорь Назаров сначала случайно, а потом все более закономерно скатывается до полного морального падения, оказывается на самом дне жизни — в колонии, потом в постели с нелюбимой женщиной, потом становится в погоне за легкими деньгами — наркодельцом...

Н. Д. Парыгина очень тщательно исследует и душевное состояние близких главному герою романа людей его родителей. Страдания его матери учительницы Марии Михайловны, которая до последнего не отворачивается от сына, поддерживает его в трудные минуты жизни, становится истинной заменой родной матери его ребенку.

Симпатию вызывает и образ отца Игоря — такого русского интеллигента Василия Ивановича. Отец прекрасно понимает, что, если сын не сумеет свернуть с дороги бесчестия, наживы, не проявит себя, как мужчина — то он обречен, может быть, на безбедную, но бессмысленную в моральном плане, в истинно русском понимании ее

сущности, жизнь. А следовательно, не состоится как мужчина, как отец своего ребенка, муж своей жены... Действительно, так и происходит с Игорем на страницах захватывающего и своим сюжетом романа Н. Д. Парыгиной.

Прозаическая вещь известнейшей тульской писательницы Натальи Деомидовны Парыгиной, тем не менее, завершается на оптимистической ноте. В финале появляется надежда, что благодаря усилиям и любви матери, светлой молодой женщины Веры, сумевшей безоглядно полюбить бывшего заключенного, бабы Шуры, которая просто по-русски, по-родственному всегда оказывает помощь Игорю, неизбежно наступит прозрение, духовное воскрешение оступившегося слабого человека...

Как хотелось бы верить, что подобное прозрение наступит с большинством наших соотечественников. Только это может спасти нашу Родину от деградации и нравственной, и державной, и экономической... Все эти острейшие проблемы современной русской жизни со всех сторон с использованием прекрасного художественного языка и авторского замысла схвачены Н. Д. Парыгиной. В том числе проблема наркомании и наркоторговли во всей их беспощадной наготе!

Нет сомнений, что читатели романа «Сын» испытают истинное наслаждение, прикоснувшись к этому произведению. И что, может быть, важнее кто-то из нас после его прочтения ощутит осознанную потребность стать чище и ответственнее в своих помыслах и делах.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Константин Кавелин

АВДОТЬЯ ПЕТРОВНА ЕЛАГИНА

10-го июня 1877 года в селе Петрищеве, Белевского уезда, предано земле тело Авдотьи Петровны Елагиной. Это имя, близкое и дорогое теперь немногим ее родным и почитателям, пережившим покойную, было в свое время очень известно в интеллигентных слоях русского общества, принимавших более или менее живое и деятельное участие в нашем литературном, научном и культурном развитии. В последние годы царствования Александра I и в продолжение всего царствования императора Николая, когда литературные кружки играли такую важную роль, салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно- и научно-образованного. За все это продолжительное время под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные направления, задумывались литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения за это время, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны. В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения.

Осыпанный покойной вниманием и ласками с молодых лет, безгранично обязанный на первой поре жизни многим ей лично, почтенному ее семейству и ее салону, связывая с дорогим мне семейством Елагиных лучшие воспоминания молодости, я считаю обязанностью сохранить для будущего времени то, что знаю сам и из рассказов родных об этой замечательной русской женщине.

Авдотья Петровна увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Юшковых, селе Петрищеве Белевского уезда Тульской губернии. Ее мать, Варвара Афанасьевна, рожденная Бунина, была очень образованная женщина и прекрасная музыкантша; отец, Петр Николаевич Юшков, занимал в царствование Екатерины видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии¹. Дядя его, женатый на графине Головкиной, был губернатором в Москве во время чумы².

Первоначальное воспитание Авдотьи Петровны было ведено очень тщательно.

Гувернантками при ней были эмигрантки из Франции времен революции, женщины, получившие по-тогдашнему большое образование. В особенности называют m-me Doger, отличавшуюся вполне аристократическим складом и характером. Это обстоятельство имело большое влияние на умственный и нравственный строй покойной, придало ей французскую аристократическую складку, общую всем лучшим людям той эпохи.

С немецким языком и литературой Авдотья Петровна познакомилась чрез учительниц, дававших ей уроки, и В.А. Жуковского, ее побочного дядю, который воспитывался с нею, был ее другом и, будучи старше ее семью годами, был вместе ее наставником и руководителем в занятиях³. Русскому языку учил ее Филат Гаврилович Покровский, человек очень знающий и написавший много статей о Белевском уезде, напечатанных в «Политическом Журнале»⁴.

Пяти лет от роду Авдотья Петровна лишилась матери, умершей в чахотке, и вместе с тремя своими сестрами, Анной (впоследствии известной писательницей Зонтаг⁵), Екатериной (Азбукиной) и Марьей (Офросимовой), поступила на воспитание к своей бабушке, Марье Григорьевне Буниной, рожденной Безобразовой, умершей в 1811 году, — женщине с большим характером. Она жила в селе Мишенском Белевского уезда, куда переселился и отец Авдотьи Петровны после смерти жены. Зимой это семейство проводило в Москве. Живо сохранился в памяти покойной Елагиной торжественный въезд и коронование императора Александра I⁶.

Авдотье Петровне еще не исполнилось 15-ти лет, когда за нее посватался у бабушки, не сказав ей самой ни слова, Василий Иванович Киреевский⁷, проживавший тоже в Москве. Ему было около тридцати лет; человек он был ученый, в совершенстве знал иностранные языки, но был своеобразен до странности. Брак совершился 16 января 1805 года и был из самых счастливых. Киреевский страстно любил свою жену и довершил ее образование, читая с нею серьезные книги, в особенности исторического содержания и Библию. Вероятно, в это время окончательно утвердилась в молодой тогда Авдотье Петровне глубокая религиозность, без сомнения и колебаний, которая сопровождала ее до могилы. Киреевский был религиозен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения. Вследствие ли влияния мужа, или начального воспитания, трудно сказать, но Авдотья Петровна всю свою жизнь не сочувствовала отрицательному направлению, когда оно выражалось резко и в крутых формах; оно было противно ее религиозному направлению, ее литературным и эстетическим вкусам и привычкам; но эта нелюбовь к отрицательному направлению была чужда всякой исключительности и фанатизма. Авдотья Петровна много читала и думала, часто слышала самые разнообразные суждения об одних и тех же предметах, и это сделало ее замечательно терпимой ко всякого рода взглядам, лишь бы они были искренни, правдивы и выражались не в грубых формах.

От брака с Киреевским Авдотья Петровна имела четверых детей. Из них зрелого возраста достигли: Иван Васильевич (род. 1806 года 22 марта), Петр Васильевич (1808 года 11 февраля) и Мария Васильевна (1811 года 8 августа)⁸. Счастливое супружество покойной с первым мужем продолжалось недолго. В 1812 году, осенью, В.И. Киреевский скончался в Орле, от горячки, которую схватил вследствие самоотверженного служения на общую пользу. Беспомощное состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в госпиталях возмущали его. Будучи честным человеком, он самопроизвольно, без всякого полномочия или приглашения от властей, принял в свое заведование госпиталь в Орле, привел его в порядок, заботился о пленных и раненых, обращал якобинцев и революционеров к религии, спокойно переносил оскорбления, которыми они его за то осыпали, и сделался жертвой госпитальной горячки⁹.

24-летняя вдова была в отчаянии, лишившись в лице любимого мужа наставника

и руководителя. «Делайте теперь со мной, что хотите», — сказала она своей тетке, Екатерине Афанасьевне Протасовой¹⁰. К этой тетке, овдовевшей еще в 1793 году, переселилась она с своими детьми из с. Долбила, Калужской губернии, Лихвинского уезда, старинного имения Киреевских, где жила с мужем, ненадолго приезжая с ним по зимам в Москву. Протасова жила в Орле и около Орла, в деревне Муратове¹¹, с двумя своими дочерьми. С этим семейством жил и Жуковский, которого нежная, глубокая, многолетняя привязанность к Марье Андреевне Протасовой известна из его биографии¹². Здесь Авдотья Петровна очутилась в образованном, веселом светском кружке, который составилась в селе Черни у Александра Алексеевича Плещеева. Плещеев был женат на Анне Ивановне Чернышевой, женщине очень образованной, имел свой домашний оркестр и был неподражаемый чтец и декламатор, вследствие чего поступил позднее лектором к императрице Марии Федоровне¹³. В кружке Плещеева, кроме его жены, Жуковского, дочерей Е.А. Протасовой и близких приятелей и знакомых: Д. Н. Блудова, Д. А. Кавелина¹⁴, Апухтина¹⁵ участвовали многие из образованных пленных французов, в том числе генерал Бонами¹⁶. Здесь проводили время очень весело, читали, разыгрывали французские пьесы, играли в распространенные тогда в избранных кружках *jeux d'esprit*¹⁷, исполняли музыкальные пьесы.

Через два года кружок этот расстроился. В 1814 году Александра Андреевна Протасова выдана замуж за А. Ф. Воейкова¹⁸, известного сатирического писателя, вскоре занявшего кафедру русской словесности в Дерптском университете. С ним перебралась в Дерпт и семейство Протасовых, а Авдотья Петровна поселилась с детьми снова в селе Долбине, вместе с Жуковским, возвратившимся в 1813 году из ополчения¹⁹. Уединенная жизнь ее в Долбине продолжалась целых семь лет. В продолжение этого времени в жизни ее совершились два важных события. В 1817 году, 4-го июля, Авдотья Петровна вступила во второй брак с Алексеем Андреевичем Елагиным²⁰, своим троюродным братом. Оба происходили из рода Буниных: Авдотья Петровна — от Афанасия Ивановича, а второй муж ее, Елагин — от родной сестры Бунина; Анны Ивановны Давыдовой, которой дочь, Елизавета Семеновна Елагина, была матерью Алексея Андреевича. Другим важным событием было вступление, в том же 1817 году, Марии Андреевны Протасовой в супружество с профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером.

Четыре года спустя, 4 июля 1821 года, Авдотья Петровна переехала из Долбина на житье в Москву и прожила здесь безвыездно 14 лет — до 1835 года. Этот продолжительный период времени был, как она сама говаривала, счастливейшей эпохой в ее жизни. С этого же времени она принимает живое и непосредственное участие в жизни литературных и ученых московских кружков. Еще в царствование Александра I образовался в Москве, около Николая Полевого, замечательный литературный кружок, к которому принадлежали Пушкин, князь Вяземский, Кюхельбекер и князь Одоевский (издававшие вместе «Мнемозину»), В. П. Титов, Шевырев, Погодин, Максимович, Кошелев, Росберг, Лихонин. В этом же кружке впервые выступила в свет Каролина Карловна Яниш, впоследствии известная писательница Павлова²¹. Одного перечня этих имен достаточно, чтобы показать, в каком замечательном обществе вращалась тогда Авдотья Петровна.

С 1826 года блестящий кружок Полевого сменился другим, не менее блестящим и талантливым, сгруппировавшимся около только что начинающего поэта Дмитрия Ивановича Веневитинова²². Зерно этого кружка составилось из молодых людей, служивших при архиве министерства иностранных дел и готовившихся, под названием «архивных юношей», к дипломатической карьере²³. Кроме Пушкина и князя Вяземского, принадлежавших и к кружку Полевого, мы встречаемся здесь с С. И. Мальцевым, сослуживцем Грибоедова по дипломатической миссии в Персии, Н. А. Мельгуновым, С. А. Соболевским, поэтом Баратынским, Д. Н. Свербеевым и другими²⁴. Но

душа и центр этого кружка, Веневитинов, умер весной 1827 года, едва начав свое блистательное литературное поприще, не достигнув и двадцатидвухлетнего возраста.

С 1828 года в московских литературных салонах появляются новые лица, ставшие потом видными деятелями в литературе и науке. В Москве поселился Н. М. Языков; сыновья Авдотьи Петровны, Иван и Петр Васильевичи Киреевские, поехавшие учиться за границу, возвратились в 1830 году в Москву, по случаю холеры²⁵. Тогда возникла в их кружке мысль об издании журнала «Европеец». План этого журнала обсуждался в 1831 году, при участии Жуковского, который нарочно для этого приехал из Петербурга. В 1832 году издание «Европейца» началось, но со второй же книжки журнал был запрещен.

К этому же времени относится знакомство с А. И. Тургеневым²⁶ и появление в кружке новых деятелей — П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова. Тогда же зарождается и так называемое славянофильство, развившееся потом в особую философско-историческую доктрину. Первым представителем этого направления был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии. Авдотья Петровна сочувствовала Петру Васильевичу не в отрицании петровской реформы, а в нелюбви к Петру за его жестокость и лютость. Воспоминания о них живо сохранялись в семейных преданиях Лопухиных, которые находились с Елагиной в каком-то далеком родстве или свойстве²⁷.

С тридцатых годов и до нового царствования дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных воззрений, до тех пор, пока литературные партии не разделились на два непримиримых лагеря — славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов. Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении, — именно, как школа для начинающих молодых людей: здесь они воспитывались и приготавливались к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев, юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным, и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком рано умерший для науки, А.Н. Попов, М.А. Стахович, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта, художник Мамонов и другие²⁸. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге, — Валуев даже жил в их доме — и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспоминаниями из того времени неразрывно

связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к нему и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием. Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске²⁹. Теперь не слышно более о таких салонах, и оттого теперь молодым людям гораздо труднее воспитываться к интеллигентной жизни, чем было нам, когда мы начинали жить. Разрозненность, одиночество, недостаток живого, материнского участия просвещенных женщин, недостаток непосредственного общения и связи между старым и новым мыслящими поколениями, быть может, более всего объясняют болезненность, раздражительность, сердечную отчужденность, составляющие обычные свойства и характерную черту выдающихся умов и талантов нового поколения, идущего на смену нашему. Бремя, которое взваливается на интеллигенцию всей обстановкой русской действительности, еще кое-как выносятся при соединении сил, но оно тяжело давит лучших людей поодиночке.

Возвратимся к нашему очерку. Кто не участвовал сам в московских кружках того времени, тот не может составить себе и понятия о том, как в них жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извне. В этих кружках жизнь была полным, радостным ключом. Лето проводилось где-нибудь за городом, зима в Москве. В 1831 и 1832 годах Елагины и Киреевские жили летом в Ильинском. Тут, между прочим, разыгрывалась шуточная комедия «Вавилонская принцесса», написанная в стихах Ив. Вас. Киреевским и Языковым, который в то время жил с Елагиными и Киреевскими. В 1833 году они поселились в селе Архангельском, подмосковном имении князя Юсупова. Пользуясь драгоценной картинной галереей, Авдотья Петровна много занималась в то лето живописью и сделала несколько прекрасных копий с картин юсуповской галереи³⁰. Она очень любила живопись и не оставляла ее даже в последний год своей жизни. Ослабление зрения ее особенно тревожило.

В 1834 году она опять провела лето в Ильинском, а в следующем году, рано весной, в марте, уехала впервые за границу, сперва в Карлсбад на воды, а потом в Дрезден. Пребывание в чужих краях продлилось до июля 1836 года. Во время этого путешествия она, чрез рекомендательные письма Жуковского, познакомилась с Тиком и Шеллингом³¹.

К этому времени стали подрастать и дети ее от второго брака: сыновья Василий (родился 1818 г. 13 июня), Николай (1822 г. 23 апреля), Андрей (1823 г. 18 сентября) и дочь Елизавета (в 1825 г.)³². Все они воспитывались дома, сыновья доканчивали свое образование в московском университете. Это обстоятельство и привычка жить в просвещенной, литературной и научной среде удерживали Авдотью Петровну постоянно в Москве, откуда она редко отлучалась. Так, в 1841 году она во второй и последний раз ездила за границу, чтобы познакомиться с невестой Жуковского.

С 1835 года в салоне Елагиных появились новые лица- некоторые из молодых профессоров московского университета, недавно возвратившихся из-за границы и вдохнувших в университет новую жизнь. То было время его процветания и небывалого блеска. В 1838 году с Елагиными познакомился Гоголь³³, а в сороковых годах салон Авдотьи Петровны стали посещать Герцен, Ю. Ф. Самарин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин³⁴. Не называем прежних постоянных посетителей и членов кружка, живших в Москве, и приезжих, русских и иностранцев.

В эту же эпоху радостными событиями в личной жизни Авдотьи Петровны и в семействе Киреевских и Елагиных были: переезд Екатерины Афанасьевны Протасовой, весной 1837 года, с семейством Мойера и дочерьми А. Ф. Воейкова из Дерпта на постоянное жительство в село Бунино, Орловской губернии, Волховского уезда; частые

приезды Жуковского и женитьба его (в 1841 году)³⁵; брак старшего из детей, прижитых в браке с Елагиным, Василья Алексеевича, с троюродной сестрой, Екатериной Ивановной Мойер³⁶ (1846 г. 14 января).

С половины сороковых годов звезда жизни и счастья А.П. начала меркнуть. Семейные горести и несчастья стали быстро следовать одни за другими. Печальный их ряд открылся смертью одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой (1844 г.)³⁷; позднее, в том же году, 27 декабря, умер сын ее, 21 года от роду, еще студентом, Андрей Алексеевич Елагин, подававший большие надежды; в декабре следующего 1845 года скончался Д. А. Валуев, ставший как бы членом семьи Елагиных; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна лишилась второго мужа, А. А. Елагина; год спустя — новые утраты: сперва скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова (12 февраля 1848 г.), а вслед за нею (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. Кругом становилось пусто. 1846 и 1847, позднее 1849 и 1850 годы проведены в деревне. Блестящее время московских кружков и салонов приходило к концу. Наступила другая эпоха.

Литература, наука отступали на второй план перед грозными политическими событиями, восточной войной и внутренними преобразованиями, которые наступили с новым царствованием³⁸. Близкие, друзья все еще по-прежнему собирались, но круг их из года в год редел: одни умерли, другие разъехались. В 1856 году над Авдотьей Петровной разразился новый удар: сыновья ее Киреевские, Иван и Петр Васильевичи, умерли вскоре один за другим (11 июля³⁹ и 25 октября), чрез два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 г.) скончалась дочь Елагиной, Марья Васильевна Киреевская.

Последние годы жизни Авдотья Петровна проводила в Москве, летом в деревне, иногда оставаясь тут круглый год, но большею частью возвращаясь на зиму в Москву. Жила она с своим сыном, Николаем Алексеевичем Елагиным, который остался неженатым, устроил для нее прекрасную усадьбу и дом в деревне Уткино⁴⁰, близ родимого ее пепелища, села Петрищева, и с трогательною нежностью заботился об угасавшей матери. Здесь доживала Авдотья Петровна свои дни, окруженная дорогими воспоминаниями прошлого, не переставая заниматься, читать, рисовать. С избранием сына, Николая Алексеевича, в 1873 году в предводители дворянства Белевского уезда она перестала ездить на зиму в Москву и проводила зимние месяцы в Белеве. Но недолго суждено ей было наслаждаться тихой, спокойной, радостной старостью: 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин, лелеявший ее последние годы, посвятивший ей свою жизнь. Из всего ее многочисленного семейства оставался теперь в живых только один сын, Василий Алексеевич Елагин. Но воспитание детей приковывало его к Дерпту. Сюда в семейство сына и переселилась Авдотья Петровна 11 мая того же года и здесь тихо скончалась 1 июня 1877 года, на 89 году от роду.

Нам остается добавить немного для характеристики покойной.

Авдотья Петровна не была писательницей, но участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более чем многие писатели и ученые по ремеслу. Она не единственный у нас пример в этом роде. Кто заподозрит громадную роль в нашем развитии Грановского, перебирая два тощих тома его статей,— или Николая Станкевича, который ничего после себя не оставил, кроме писем⁴¹? Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей — толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной. К сожалению, я не могу сказать, какие именно стихотворения Жуковского прошли чрез такую переделку и все ли ей подвергались.

Авдотья Петровна много переводила с иностранных языков, но значительная часть этих переводов, вследствие разных случайностей, не были напечатаны. В молодости, еще до замужества, она перевела, по заказу Жуковского, много романов и получала за них гонорар книгами⁴²; так переведен ею, между прочим, Дон Кихот Флориана⁴³. В «Европейце» напечатан сделанный ею перевод одной рыцарской повести из *Sagen der Vorzeit* [Предания старины — *нем.*] Фейт-Вебера⁴⁴, а в «Москвитянин» 1845 года отрывки, отмеченные Иваном Киреевским из мемуаров Стефенса⁴⁵. Наконец, много ее переводов напечатано в «Библиотеке для воспитания», издававшейся П. Г. Редкиным, между прочим, статья о Троянской войне и др.⁴⁶ Остались в рукописи, напечатанными: «Левана, или о воспоминании» Жан-Поль Рихтера; «Жизнь Гусса» Боншоза, в двух томах; «Тысяча одна ночь»; «Принцесса Брамбилла» Гофмана; многие проповеди Винэ (Vinet)⁴⁷.

Еще в самый год своей кончины Авдотья Петровна перевела одну из проповедей ревельского проповедника Гуна.

Основательно знакомя со всеми важнейшими европейскими литературами, не исключая новейших, за которыми следила до самой смерти, Авдотья Петровна особенно любила, однако, старинную французскую литературу. Любимыми ее писателями остались Расин, Жан-Жак Руссо, Бернард ен де Сен-Пьер, Массильон, Фенелон⁴⁸.

Покойная до самой кончины имела живой, ясный и веселый ум. Ее записки к знакомым и близким, писанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиля. Трогательно было видеть, как ветхая днями; Авдотья Петровна не переставала заниматься чтением, переводами, живописью, рукоделием. Бывало, в Уткине по поводу какого-нибудь разговора старушка тихими шагами отправлялась в свою комнату и выносила оттуда сделанный ею на клочке бумаги, иногда в тот же день, перевод какого-нибудь места из только что прочитанной книги, которое почему-то остановило на себе ее внимание. Родным и близким она дарила то нарисованный ею в тот же день акварелью цветок, то связанный ее руками за несколько времени перед тем кошелек. Покойная страшно любила цветы. Она сама, смеясь, рассказывала, как однажды в Уткине, сойдя в цветник полюбоваться ими и срезать розу, она упала и не могла подняться. Проходивший мимо мальчик, которого она позвала на помощь, испугался и убежал; в таком положении прождала она, пока домашние не спохватились и не начали ее искать,

Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Жизнь, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память — все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе незнакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные примеры этой черты ее характера рассказываются ее родными и близкими.

Покойная всю свою жизнь сохранила основные характерные черты того времени, когда воспитывалась и сложилась. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и литературно-эстетической стороной. Такова была складка того поколения, к которому принадлежала покойная Авдотья Петровна, и этому направлению она осталась верной до последних дней жизни.

Это поколение сошло теперь в могилу. Представителей его между нами можно пересчитать по пальцам, и все они уже древние люди. Мы, ближайшие свидетели

заката их деятельности, уже в молодости чувствовали и отчасти понимали их различие с нами, а нынешние люди отошли от них так далеко, что перестали их понимать, относятся к ним равнодушно, даже холодно. И в самом деле, между поколением Александровской эпохи, к которому принадлежала покойная Елагина, и теперешним лежит целая бездна. Не только нашим детям, но даже нам самим трудно теперь вдуматься в своеобразную жизнь наших ближайших предков. Лучшие из них представляли собой такую полноту и цельность личной, умственной и нравственной жизни, о какой мы едва имеем теперь понятие. Отдельно взятые, лучшие личности Александровского времени изумляют высоким просвещением и нравственным идеализмом не только на словах, но и на деле. Немногие личности Александровской эпохи, с которыми мы имели случай встречаться, всегда производили на нас, с этой стороны, обаятельное впечатление: в них, несмотря на все превратности судьбы, не было и тени той угловатости, односторонности, резкости, ни той нравственной надорванности, которые составляют обычные недостатки нашего поколения и еще более чем нас, удручают тех, которые следуют за нами.

Чем объяснить это различие, невольно бросающееся в глаза? Многие видят в нем доказательство вырождения поколений; другие, именно славянофилы, считали идеи, которыми жило прежнее поколение, чуждыми нам, неспособными привиться к русской почве; третьи уверены, что эти идеи не могли развиваться, потому что для них не были благоприятны политические условия. Но ни одно из этих предположений не решает вопроса. У нас между поколениями потому нет умственной и нравственной преемственности и связи, что нам пришлось в короткое время нагонять Европу и дело веков у нас скомкалось в несколько десятилетий, а такая скороспелая работа не могла не привести к разладу между поколениями и к крайнему умственному и душевному утомлению, которое мы, по ошибке, считаем за признак вырождения. Великодушные, гуманные идеи, которыми были проникнуты лучшие люди Александровской эпохи, могли быть слишком отвлечены, непрактичны, неосуществимы в тогдашней форме и в тогдашнем обществе, но чуждыми нам они не могли быть, и последующее время доказало, что они такими вовсе не были. Идеи XVIII века были результатом развития человеческого рода в течение веков. По своей всеобщности, своему общечеловеческому характеру, они близки и дороги всякому народу, всякому племени. Народ или государство, которым они чужды, подписывают тем свой смертный приговор, не могут деятельно участвовать в общем развитии и успехах, играть продолжительную роль и иметь важное значение во всемирной истории; они осуждены прозябать и рано или поздно входят в состав других, более талантливых и живучих народов. Не одни только национальные особенности, но и всеобщие идеи дают народам и государствам историческое, всемирное значение; национальность определяет только формы, в которых эти идеи производятся и осуществляются, никак не более. Наконец, политические и административные порядки выражают степень культуры и не определяют способности к ней. У нас, как и везде, эти порядки, по мере нашего развития, не ухудшались, а скорее, напротив, вырабатывались и смягчались, и если они оставляют желать многого, то причина опять-таки заключается в той же низкой степени культуры. Таким образом, причин упадка и исчезновения блестящего и просвещенного культурного слоя Александровского времени надо искать не в вырождении поколений, не в характере идей, которыми жил этот слой, и не в политических и социальных условиях России XIX века, а в чем-нибудь другом. Мы думаем, что эти причины лежат гораздо глубже — в уединенном и обособленном положении культурного слоя Александровской эпохи среди крайне невежественных низших и средних классов тогдашней России. В царствование Александра I образованные кружки резко выдавались вперед над остальной массой населения, не имели с нею почти ничего общего и жили своею особою жизнью, соприкасаясь с остальными

слоями и классами русского общества только внешним образом. Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не было также между ними никакого сближения и взаимодействия. Образованные кружки представляли у нас тогда посреди русского народа оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, — искусственные центры, с своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе заняли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях замечательные люди вращались только между собою и оставались без всякого непосредственного действия и влияния на все то, что находилось вне их тесного немногочисленного кружка. Упрекать их зато в аристократическом пренебрежении к другим, в недостатке патриотизма, в равнодушии к успехам и развитию отечества было бы непростительной ошибкой и вопиющей напраслиной. Эти люди, напротив, горячо любили свою родину, горячо желали для всех и каждого тех благ, которыми сами жили, в своих чаяниях и стремлениях. Занимались они не одной литературой и искусствами, как многие думали; между ними немало было и таких, которые имели большое политическое образование, были искренними поборниками свободных учреждений, мечтали для своего отечества об освобождении крепостных, о финансовой реформе, о коренном преобразовании школы, суда и администрации, о свободе веры, слова и печати. Успехами России в течение девятнадцатого века мы существенно обязаны этим людям. Но они проводили высокую культуру, которую несли с собою, не в будничной обстановке ежедневной жизни грубых масс, не лично и непосредственно, а в общих административных и законодательных мерах, или в литературных, художественных и научных произведениях. Существование этих людей и их кружков было плодотворно для России только в общем, отвлеченном смысле, но не отражалось в живых фактах на окружавшем их русском обществе. Эти изящные, развитые, просвещенные, гуманные люди жили полною жизнью в своих кружках, не внося своим существованием ничего в наш тогдашний печальный, полудиккий быт. Люди, глубоко понимавшие всю цену просвещения, не думали устраивать школ и обучать грамоте мужиков, посреди которых жили; к местной, губернской и уездной администрации, наполненной невеждами, земскими ерышками и подьячими старого закала, грабившей живых и мертвых, возмутительно притеснявшей простой народ, люди, проникнутые идеями правды и гуманности, относились с очень понятным омерзением и гадливостью; но они ничего не делали, чтобы поддержать лучших людей в этой печальной среде, чтобы помочь им выбраться из грязной действительности, чтобы пролить хоть какой-нибудь луч света в это царство мрака. Также чуждо было для них и все остальное — и сельское духовенство, и купечество, и мещанство. Из своего прекрасного далека они безучастно смотрели на то, что делалось в ежедневной жизни вокруг них, из боязни унизиться и испачкаться в нравственной и всяческой грязи соприкосновением с нею. Скажут: то была барская спесь. Совсем нет! Таланты, выходившие из народа, хотя бы из крепостных, даже люди, подававшие только надежду сделаться впоследствии литераторами, учеными, художниками, кто бы они ни были, принимались радушно и дружески вводились в кружки и семьи на равных правах со всеми⁴⁹. Это не была комедия, разыгранная перед посторонними, а сущая, искренняя правда — результат глубокого убеждения, перешедшего в привычки и нравы, что образование, знание, талант, ученые и литературные заслуги выше сословных привилегий, богатства и знатности. Но темное большинство, не способное, по крайнему невежеству и отсутствию культуры, понять и оценить те высшие интересы, которыми жили образованные кружки, не возбуждало в них деятельного участия; а большинство, в свою очередь, бессмысленно и равнодушно смотрело на непонятную для него жизнь, занятия, радости, печали, стремления и наслаждения просвещенных людей, как на барские

затеи и причуды. Обоим элементам этого странно раздвоенного и разобщенного общества, жившим рядом друг подле друга, и в мысль не приходило постараться сблизиться, понять друг друга, опираться друг на друга, работать дружно вместе. С этой точки зрения, между старыми и новыми поколениями лежит целая бездна. Теперь редкий из истинно просвещенных людей не ставит себе задачей популяризировать свои знания, по возможности поднимать до себя окружающих его необразованных людей, растолковывать им пользу науки и знания, сообщать знания и науку в доступных им формах и объеме. Ничего подобного прежде не было. Ключ ко всему, что думалось и делалось в избранных кружках, существовал только для них самих; для остальной России оно казалось непонятным чудачеством, диковинной штукой, которой себя только тешили господа и дворяне. Многие с досадой и злорадством напевают на неудачные, смешные, подчас очевидно ошибочные формы, в которых выражается современное стремление сделать всех причастными науке и знанию, связать в одно целое разрозненные общественные слои, наглядно и осязательно показать необразованной части русского населения пользу и необходимость того, чем заняты его образованные и просвещенные вершины. Но за подробностями, промахами и уклонами опускается из виду главная, существенная сторона в стремлениях нашего времени. Те, которые видят только смешное и вредное в том, что делается, не могут или не хотят понять, что наши блестящие кружки просвещенных людей первой половины XIX века замерли и постепенно исчезли именно вследствие того, что стояли одиноко, были разобщены с остальной русской жизнью. Воспитанные в этих кружках люди, несмотря на все свое обаяние, были тепличными растениями и не могли выдерживать обыкновенной температуры. Им предстояла задача акклиматизировать в России то, что они несли с собою; но это было невозможно, потому что почва далеко не была для того подготовлена. Непосредственная грубость и невосприимчивость этой почвы делала немислимой пересадку в нее прекрасных, но тонких и нежных растений, привыкших к искусственной теплоте и свету, и они завяли, не пустив корней. Поколение Александровской эпохи сыграло свою историческую роль и уступило место новым деятелям. Теперь, кажется, уже настала пора судить о нем с полным беспристрастием, не делая ему упреков, которых оно не заслуживает. Нельзя, не нарушая исторической правды, помянуть его иначе как добром. Оно всегда будет служить ярким образцом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных обстоятельствах. Обвинять его за то, что оно стояло особняком посреди русской жизни, было бы более чем странно. Такое положение создано ему всем ходом развития нашей культуры и ближайшими задачами его времени.

¹ *Варвара Афанасьевна Юшкова* (1768—1797) была известна как образованная и культурная женщина с большим музыкальным дарованием; хорошо рисовала. По просьбе тульского общественно театра помогла выбирать репертуар, руководила репетициями; осуществила постановку «Цинны» Корнеля, «Британики» Расина, «Магомета» Вольтера. Дом Юшковых являлся своеобразным музыкальнолитературным центром Тулы, где собиралась просвещенная городская и уездная публика. «В ней было много поэтического,— писал о ней ее сводный брат, знаменитый русский поэт В.А. Жуковский.— Все, выходящее из низшего порядка жизни, ее интересовало. В ней теплилось много неразвитых талантов».

Петр Николаевич Юшков (†1805) — полковник, тульский помещик, в начале 1790-х годов советник тульской казенной палаты, депутат уездного дворянского собрания от Белевского у. (1793—1795). Принадлежал к образованным кругам дворянства: знал языки, интересовался русской историей и философией, играл на фортепиано, имел хорошо подобранную библиотеку. В его московском доме (в одном из переулков возле Пречистенки) бывали известные деятели русской культуры Н. И. Новиков, М. М. Херасков, И. П. Тургенев.

² Имеется в виду *Иван Иванович Юшков* (†1781) — тайный советник, видный администратор второй половины XVIII в.; с 1753 г. — главный судья судебного приказа; с 1760 г. — прези-

дент камер-коллегии; с 1762 г. — генерал-полицеймейстер Петербурга; до 1773 г. — московский гражданский губернатор. Согласно родословным книгам, был женат на Анастасии Петровне Головиной (†1808), а не графине Головкиной, как сообщает Константин Дмитриевич Кавелин.

²...*во время чумы*. — Имеется в виду эпидемия чумы 1771 г., унесшая только в городе до 60 тыс. жизней (а с губернией — около 200 000) и послужившая одной из причин так называемого «чумного бунта».

³Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) был внебрачным сыном Афанасия Ивановича Бунина (†1791), отца В. А. Юшковой. Воспитывался в доме вместе с законнорожденными детьми А. И. Бунина. А. П. Елагина приходилась ему племянницей. Сохранилась обширная переписка В. А. Жуковского с А. П. Елагиной.

⁴*Феофилакт Гаврилович Покровский* (а не Филат, как у Кавелина) (1763 — ок. 1848) — писатель, автор ряда философских работ, опубликованных, под псевдонимом «философ горы Алаунской» и пользовавшихся некоторым успехом. В 1786 — 1817 гг. преподавал в Тульском главном народном училище. Автор подробного географического обзора Тульской губернии (1795), отправленного в Вольное экономическое общество.

«Политический журнал, с показанием ученых и других вещей» издавался с 1780 г. в Гамбурге, с 1790 г. — на русском языке в Москве при университете. Неоднократно менял название. В 1795—1807 гг. выходил под заголовком «Политический журнал». Печатал преимущественно материалы иностранной прессы. Был прекращен в 1830 г. Издатели — П. А. Сохацкий, М. Г. Гаврилов (профессора университета), М. М. Невзоров (публицист, поэт), А. М. Гаврилов (адъюнкт университета).

⁵*Анна Петровка Зонтаг* (1786—1864) — известная детская писательница, автор многих книг. Главные произведения: «Повести и сказки для детей» (1832); «Священная История для детей» (1837), выдержавшая 9 изданий; «Три комедии для детей» (1842); «Подарок детям» (1861); «Сочельник» (1864). Оставила воспоминания о В. А. Жуковском. Зонтаг — фамилия мужа, американца по происхождению, служившего начальником карантинной службы одесского порта.

⁶Коронация императора Александра I состоялась 15 сентября 1801 г.

⁷*Василий Иванович Киреевский* (†1812) принадлежал к старинному дворянскому роду. Служил ротмистром в Острогжском легкоконном полку, в 1795 г. вышел в отставку в чине секунд-майора. Владел пятью языками, много читал, собрал большую библиотеку; преимущественно занимался естественными науками, особенно медициной и химией, но не был чужд и литературным увлечениям — следил за литературными новинками, интересовался историей и философией. В его имени Долбино неоднократно бывал В. А. Жуковский. Согласно семейным преданиям, «был очень странен и даже неряшлив в своей наружности».

⁸От брака с В. И. Киреевским Авдотья Петровна имела четырех детей: Ивана (1806—1856), Петра (1808-1856), Марию (1811—1859) и Дарью, умершую в младенчестве.

⁹В сентябре 1812 г. в Орел была доставлена первая партия раненых пленных французских солдат и офицеров численностью 5 тыс. человек. 30 из них были размещены в доме Плещеевых (см. ниже, комм. 13), где с августа жили Киреевские. Василий Иванович много сделал для ухода за больными, истратив на их содержание почти все наличные средства семьи (по семейным преданиям, 40 тыс. руб.). 22 октября он заразился тифом и 1 ноября скончался. Авдотья Петровна перевезла его тело в с. Долбино и там похоронила.

¹⁰*Екатерина Афанасьевна Протасова*, урожденная Бунина (1770—1848) — родная сестра В. А. Юшковой, матери Авдотьи Петровны, и сводная сестра В. А. Жуковского. Ниже К. Д. Кавелин допускает неточность: Е. А. Протасова, выйдя замуж в 1792 г., овдовела в 1805 г.

¹¹Екатерина Афанасьевна Протасова до лета 1810 г. жила в Белеве (а не в Орле, как сообщает К. Д. Кавелин). Летом 1810 г. в связи с завершением строительства дома в Муратове переехала на постоянное жительство в эту деревню.

¹²Е. А. Протасова имела двух дочерей: Марию Андреевну (1793—1823), в которую был влюблен В. А. Жуковский, и Александру Андреевну (1795—1829), воспетую им же под именем Светланы в знаменитой поэме. К. Д. Кавелин неточно передает фактическую канву взаимоотношений В. А. Жуковского с Протасовыми. В. А. Жуковский в семье Е. А. Протасовой никогда не жил. В 1811 г. он купил в деревне Холх, расположенной в полуверсте от Муратова, землю, построил там дом и поселился в нем летом того же года. Он часто посещал Муратово, проводил с Протасовыми много времени, но исключительно на правах гостя, а никак не члена их семьи.

¹³ *Александр Алексеевич Плещеев* (1772—1862) принадлежал к старинному дворянскому роду; сын Алексея Александровича и Анастасии Ивановны Плещеевых; входивших в круг московских масонов, друзей Н. М. Карамзина, которым тот адресовал свои «Письма русского путешественника»; отец декабристов Алексея и Александра Плещеевых. Хорошо знал отечественную и зарубежную литературу, писал стихи, сочинял музыку. В своем имении Чернь (Волховского у. Орловской губ.) устраивал театральные представления, маскарады. В 1817 г., по предложению В. А. Жуковского, избран членом «Арзамаса», получил соответственно своей наружности прозвище «Черный Вран». В 1819—1820 гг. служил в петербургской театральной дирекции, затем был чтецом вдовствующей императрицы Марии Федоровны (1759—1828). В 1821 г., по ходатайству А. И. Тургенева, получил чин камергера. В 1824—1845 гг. — на государственной службе. Последние годы жизни провел в имении.

¹⁴ Кавелин имеет в виду Дмитрия Николаевича *Блудова* (см. о нем во вступительной статье) и своего отца Дмитрия Александровича *Кавелина* (1778—1851); последний, окончив Московский университет вместе с В. А. Жуковским, Д. Н. Блудовым, братьями Тургеневыми, служил впоследствии секретарем правителя Ерузии и в Министерстве внутренних дел. В 1816—1818 гг. — директор Елавно педагогического института, в 1819—1823 гг. — ректор Петербургского университета. В 1816 г. принят в «Арзамас» под именем «Пустынник». «Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишним», — писал Ф. Ф. Вигель. Находился под сильным идейным влиянием Л. Ф. Магницкого и Д. П. Рунича, принимал участие в гонениях на передовую профессию, особенно во время «профессорского процесса», проведенного в 1821 г. Д. П. Руничем. А. С. Пушкин презрительно назвал его «Кавелин — дурачок, креститель Галича, Магницкого дьячок» («Второе послание цензору», 1824). В 1823 г. переведен в Рязань, в 1829 г. — в Москву, где и умер.

¹⁵ Вероятно, Андрей (по другим сведениям — Алексей) Петрович Апухтин, сосед Протасовых и Плещеевых по имениям.

¹⁶ Шарль-Август *Бонами* (†1830) — французский бригадный генерал; в Бородинском сражении командовал бригадой, входившей в состав дивизии Морана. Его бригада овладела батареей Раевского, но, контратакованная русскими частями под предводительством А. П. Ермолова и А. И. Кутайсова, была почти полностью уничтожена. Во время этого боя Бонами получил несколько штыковых ран и попал в плен. В сентябре 1812 г. среди других раненых французских офицеров привезен в Орел и помещен в доме Плещеевых, превращенном в госпиталь. Здесь он познакомился с А. А. Плещеевым, В. А. Жуковским, Киреевскими, Протасовыми. Когда в конце того же года пришел приказ об отправлении его в числе прочих в Казань, В. А. Жуковский через А. И. Тургенева добился для него разрешения остаться в Орле. Впоследствии вернулся во Францию.

¹⁷ Jeux d'esprit — дословно «игра ума», здесь в значении «замысловатые игры» (шарады, анаграммы и пр.). На вечерах А. А. Плещеева популярностью пользовалась игра под названием «секретарь». Играли в нее так: каждый участник записывал на отдельном листе название двух предметов или явлений; записки складывали в коробку, тщательно перемешивали и тащили по жребию. Нужно было указать сходство и различия между понятиями, написанными на доставшемся игроку листе. Тот, кто придумывал самый остроумный ответ, избирался «королем секретарей» и распоряжался вечером. Игра проходила весело, сопровождалась шутками и смехом. Особенно увлекался ею В. А. Жуковский.

¹⁸ *Александр Федорович Воейков* (1779—1839) — поэт, журналист, автор сатирического памфлета «Дом сумасшедших», член «Арзамаса» под именем «Дымная печурка», ординарный профессор русского языка и литературы в Дерптском университете (1815—1820). Современники единодушны в его оценке: плохо воспитанный, желчный и раздражительный человек, беспринципный литератор. Свадьба с А. А. Протасовой состоялась 14 июля 1814 г. В январе 1815 г. они вместе с Е. А. и М. А. Протасовыми выехали из Муратова в Дерпт.

¹⁹ Из слов К. Д. Кавелина следует, что Авдотья Петровна в конце 1812 г. переехала в имение Е. А. Протасовой и оставалась там до отъезда Воейковых и Протасовых в Дерпт. Подобное утверждение неверно. Тяжело переживая кончину В. И. Киреевского, Авдотья Петровна конец 1812 г. действительно провела в Муратове, однако накануне нового — 1813 г. — вернулась в Долбино, где в 1813—1814 гг. у своей «милой долбинской сестры» часто бывал и подолгу гостил В. А. Жуковский.

²⁰ Об обстоятельствах жизни Алексея Андреевича Елагина (†1846) известно немного. Представитель аристократического рода, богатый помещик, хлебосол, вполне благонамеренный человек, участник кампаний 1812—1814 гг. и друг декабриста Г. С. Батенькова — таковы

отрывочные сведения, донесенные до нас современниками. Сообщая Ю. Ф. Самарину о его смерти, А. С. Хомяков писал: «В этом человеке, по-видимому, грубом и неотесанном, много было теплоты чувства и ума». Похоронен в ограде церкви села Петрищева, рядом — могила Г. С. Батенькова.

²¹ К. Д. Кавелин отождествил различные явления общественной жизни России 1820-х годов: философскую школу русского просветительского идеализма, внимание которой именно тогда было сосредоточено на изучении философии духа (философии истории, этики, эстетики); кружок дворянской молодежи в Москве, известный под именем «Общества любомудров», и литературно-философский кружок, сложившийся вокруг Д. В. Веневитинова. В «Общество любомудров», существовавшее на протяжении 1824—1825 гг., входили В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Н. М. Рожалин, П. Д. Черкасский, А. С. Норов. «Любомудры» имели определенную связь с декабристскими организациями, совместно с В. К. Кюхельбекером принимали участие в издании альманаха «Мнемозина», были осведомлены об их политической программе и планах, однако сами не шли дальше умеренного либерализма. Членами кружка Д. В. Веневитинова, любомудрами по духу, идейной направленности, кругу политических и литературно-философских интересов, являлись С. П. Шевырев, М. П. Погодин, В. П. Титов, П. В. Киреевский, Ф. И. Тютчев, Н. В. Пютята. А. С. Пушкин никак не мог примыкать к «обществу любомудров», ибо с 1820 по 1826 г. находился в ссылке (Кишинев, Одесса, Михайловское) и только с сентября 1826 г., по возвращении в Москву, стал посещать собрания кружка Д. В. Веневитинова. П. А. Вяземский и Н. А. Полевой хотя и были знакомы со многими из входивших в эти общества лицами, но сами к ним не принадлежали. Последнего К. Д. Кавелин ошибочно полагает центром названного «замечательного литературного кружка». Скорее всего, он имеет в виду «Московский Телеграф», к изданию которого Н. А. Полевой приступил в 1825 г. и вокруг которого поздней сосредоточились лучшие литературные силы Москвы. В эти же годы Н. А. Полевой становится известным своими работами по эстетике. К кружку Д. В. Веневитинова тяготели М. Н. Лихонин, М. П. Розенберг, М. А. Максимович, К. К. Павлова.

²² К. Д. Кавелин неточен: никакого другого кружка во главе с Д. В. (Владимировичем, а не Ивановичем, как у Кавелина) Веневитиновым, тем более сменившего кружок Н. А. Полевого, в 1826 г. не возникло. После того как «Общество любомудров» в декабре 1825 г. самораспустилось, бывшие его члены фактически влились в уже существовавший литературно-философский кружок Д. В. Веневитинова. Кружок не распался и после смерти Д. В. Веневитинова в марте 1827 г.

²³ К числу «архивных юношей» относились видные представители молодой дворянской интеллигенции: А. В. и Д. В. Веневитиновы, И. В. и П. В. Киреевские, В. П. Титов, Н. А. Мельгунов, В. Ф. Одоевский, А. И. Кошелев, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, С. А. Соболевский, И. С. Мальцов, Н. М. Рожалин и др. Звание «архивного юноши» считалось почетным. Это о них А. С. Пушкин писал в VII главе «Евгения Онегина»:

*Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагодарно говорят.*

Само название — «архивные юноши», по свидетельству А. С. Пушкина, принадлежит не ему, а С. А. Соболевскому.

²⁴ Иван Сергеевич *Мальцов* (Мальцев) (1807—1880) — литератор и дипломат, действительный тайный советник. К. Д. Кавелин неверно указал его инициалы, вероятно, спутав с другим Мальцевым — Сергеем Ивановичем, известным во второй половине XIX в. предпринимателем, приходившимся Ивану Сергеевичу двоюродным братом. Первоначально служил в московском архиве Министерства иностранных дел, сотрудничал в «Московском вестнике», «Северной пчеле». В 1827 г. переведен в Петербург и назначен первым секретарем русской миссии в Тегеране. Впоследствии С. А. Соболевский рассказывал, что именно он посоветовал А. С. Грибоедову взять И. С. Мальцова, «им обоим хорошо известного за умного, ловкого, веселого и практического человека». Случайно уцелел во время разгрома миссии в 1829 г., оказался единственным свидетелем гибели А. С. Грибоедова. С 1830 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1843 г. возведен в должность неперменного члена совета министерства, в 1855, 1857 и 1864 гг. временно управлял министерством. Умер в Ницце.

Николай Александрович *Мельгунов* (1804—1867) — публицист, критик, один из ярких представителей российского либерализма. В начале 1840-х сотрудничал с «Москвитяниным»

М. П. Погодина и С. П. Шевырева, затем сближается с «Отечественными записками» и «Современником». В 1850-х годах — деятельный корреспондент А. И. Герцена.

Сергей Александрович *Соболевский* (1803—1870) — известный библиограф и библиофил, друг А. С. Пушкина, А. Мицкевича, В. Ф. Одоевского. В конце 1830-х годов вместе с И. С. Мальцевым основал бумагопрядильную фабрику (Сампсониевскую мануфактуру) в Петербурге. С 1852 г. жил в Москве. Оставил большое литературное наследство.

Евгений Абрамович *Баратынский* (1800—1844) — знаменитый русский поэт.

Дмитрий Николаевич *Свербеев* (1799—1876) в 1813 г. посещал пансион профессора Л. Ф. Мерзлякова, позже слушал лекции в Московском университете. Одно время находился на государственной службе (был правителем комиссии печатания государственных грамот и договоров при московском главном архиве Министерства иностранных дел), но после женитьбы в 1827 г. на княжне Екатерине Александровне Щербатовой (1808—1892) вышел в отставку. Его дом являлся одним из центров культурной и общественной жизни Москвы 1840-х годов. Приходился свойственником Елагиным и Киреевским, троюродным братом Н. М. Языкову и дядей Д. А. Валугеву. Оставил «Записки», которые были изданы в 1899 г.

²⁵ П. В. Киреевский выехал в Германию, в Мюнхен, для завершения образования, в июле 1829 г. И. В. Киреевский в январе 1830 г. отправился в Берлин, потом в Дрезден и Мюнхен, где встретился с братом. Осенью того же года, встревоженные известиями о холере в России и беспокоясь за родных, вернулись в Москву.

²⁶ Александр Иванович *Тургенев* (1784—1845) — общественный деятель, публицист, брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Н. М. Карамзина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, член «Арзамаса» под именем «Эолова арфа». Представитель умеренного либерализма. В 1810—1824 гг. — директор департамента духовных дел Министерства духовных дел и народного просвещения.

²⁷ Речь идет о роде Лопухиных, к которому принадлежала Евдокия Федоровна, первая жена Петра I. Воспоминания, сохранившиеся в семейных преданиях рода, относятся, по-видимому, к ее трагической судьбе. Согласно родословным книгам, свойство А. П. Елагиной с Лопухиной прослеживается по линии Юшковых и Головиных.

²⁸ Дмитрий Александрович *Валуев* (1820—1845) — историк, общественный деятель, представитель раннего славянофильства, издатель «Библиотеки для воспитания» (1843—1844), двух сборников материалов по русской истории. Племянник А. С. Хомякова и Д. Н. Свербеева, двоюродный брат Н. М. Языкова. Скончался от чахотки.

Александр Николаевич *Попов* (1820—1877) — русский историк. Написал ряд работ по истории русской внешней политики и Отечественной войны 1812 г. Во второй половине 1830-х годов был близок славянофильскому кружку.

Михаил Александрович *Стаховым* (1819—1858) — русский писатель, переводчик, фольклорист. По убеждениям принадлежал к так называемой «молодой редакции» «Москвитянина». Трагически погиб.

...трое *Бакуниных, братья эмигранта...* — К. Д. Кавелин имеет в виду Павла (1820—1900), Александра (1821—1908) и Алексея (1824—1889) Александровичей Бакуниных, братьев Михаила Александровича Бакунина (1814—1876), известного русского революционера, одного из идеологов анархизма и народничества. Во второй половине 1830-х — начале 1840-х годов они учились в Московском университете; Павел примыкал к кружку Станкевича.

Эммануил Александрович *Дмитриев-Мамонов* — старший сын масона и основателя Петербургского общества поощрения художеств А. И. Дмитриева-Мамонова. По словам А. С. Хомякова, «художник и мыслитель замечательный, но, к сожалению, почти ничего не произведший». Вместе с Н. А. и Ан. А. Елагиными учился в Московском университете, близкий друг семьи, особенно В. А. и Е. И. Елагиных. Сохранился ряд его эскизов, рисунков и портретов, преимущественно посетителей салона Авдотьи Петровны. Некоторые его работы находятся в семейном архиве Елагиных. Впоследствии долго жил за границей.

²⁹ Известный литературный салон Д. Н. и Е. А. Свербеевых в Москве посещался как славянофилами — А. С. Хомяковым, Д. А. Валугевым, Н. М. Языковым, И. В. Киреевским и другими, так и их противниками — Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным, П. Я. Чаадаевым, А. И. Тургеневым, А. И. Герценом и др. По словам А. И. Герцена, «сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделеет и как отделеет его самого...» Е. А. Свербеева состояла в переписке с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, хорошо знала А. С. Пушкина. Свидетельством того значения, которое придавали салону Свербеевых совре-

менники, является шуточное прозвище, данное А.И. Тургеневым хозяйке салона — Рекамье-Свербеева.

³⁰ В Архангельском (получившем название по церкви), владельцем которого с 1810 г. стал князь Н. Б. Юсупов (1750—1831), его усилиями был создан великолепный дворцово-парковый ансамбль и собраны исключительные по своей художественной ценности коллекции картин, мрамора, фарфора, хрусталя, драгоценной мебели, произведений прикладного искусства.

³¹ Людвиг Иоганн *Тик* (1773—1853) — немецкий писатель и переводчик. Наиболее известны его философские романы «Вильям Ловель» (1796) и «Странствование Франца Штернбальда» (1798).

³² От брака с А. А. Елагиным Авдотья Петровна имела семерых детей: Василия (1818—1879), Николая (1822—1876), Андрея (1823—1844), Елизавету (1825—1848), а также Елизавету, Рафаила и Гавриила, умерших в младенчестве.

Василий Алексеевич — историк. «Это был человек обширных сведений, дарований, и мысли всегда самобытной», — писал о нем А. С. Хомяков. Он был «отличный знаток средневековой истории». Его перу принадлежит небольшой, но серьезный труд «Об Истории Чехии Франца Палацкога». Николай Алексеевич — писатель и земский деятель. Служил в Министерстве иностранных дел. Являлся членом тульского губернского комитета по составлению проекта Положения о крестьянах от Белевского у. Позже — мировой посредник (вместе с К. Д. Кавелиным) первого созыва в том же уезде. Написал «Материалы для биографии И.В. Киреевского», опубликованные как вступительная статья к собраниям сочинений И. В. Киреевского в изданиях 1860 и 1911 гг.

³³ Знакомство Н. В. Гоголя с А. П. Елагиной относится к началу 1840 г., но никак не к 1838 г., так как с июня 1836 по сентябрь 1839 г. Н. В. Гоголь находился за границей.

³⁴ Юрий Федорович *Самарин* (1819—1876) — русский общественный деятель, историк и публицист, «неисправимый славянофил»; как он сам себя называл.

Николай Михайлович *Сатин* (1814—1873) — русский поэт и переводчик; оставил значительное поэтическое наследие, но больше известен переводами Байрона («Буря») и Шекспира («Сон в летнюю ночь»). Участник студенческого кружка А. И. Герцена.

³⁵ Свадьба В. А. Жуковского с Е. А. Рейтерн (1821—1856), дочерью немецкого художника Г. Рейтерна, состоялась 21 марта 1841 г.

³⁶ *Екатерина Ивановна Мопер* (1820—1890) — дочь Марии Андреевны и Ивана Филипповича Мойер.

³⁷ *Екатерина Александровна Воейкова* (1815—1844) — дочь Александры Андреевны и Александра Федоровича Воейковых, крестница В.А. Жуковского; скоропостижно скончалась 28 января в Москве.

³⁸ ...с новым царствованием. — В 1855 г. скончался Николай I и на престол вступил Александр II. К. Д. Кавелин имеет в виду Крымскую войну 1853—1856 гг. и после следовавшие за нею буржуазные реформы 1860—1870-х годов.

³⁹ И. В. Киреевский умер 11 июня 1856 г.

⁴⁰ Село Уткино (Белевского у. Тульской губ.) — имение Елагиных.

⁴¹ К. Д. Кавелин имеет в виду два тома сочинений Т. Н. Грановского, опубликованных усилиями С. М. Соловьева и П. И. Кудрявцева в 1856 г. и переизданных в 1866 г., а также книгу «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография» (М., 1857), подготовленную П. В. Анненковым.

⁴² В XVIII в. основной формой вознаграждения труда переводчиков и литераторов была оплата книгами как собственного сочинения, так и иных авторов. Именно в такой форме получали гонорар В. К. Тредиаковский, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин и многие другие российские писатели. Традиция платить за книги книгами же распространилась и на начало XIX в.

⁴³ Жан-Пьер Клар де *Флориан* (1755—1794) — французский писатель, поэт, член академии. Известен переводами Сервантеса, по которым в первой половине XIX в. Европа знакомилась с творчеством великого испанца. Первые переводы «Дон Кихота» на русский язык относятся ко второй половине XVIII в. (1769, 1791). В начале XIX в. издал свой перевод «с французского Флорианова перевода» В. А. Жуковский (М., 1804—1806. Т. 1—6). Утверждение К. Д. Кавелина, что этот перевод был осуществлен Авдотьей Петровной по заказу В.А. Жуковского, представляется ошибочным.

⁴⁴ Личность *Фейт-Вебера* установить не удалось. Предположительно — немецкий писатель Карл Юлий Вебер (1767—1832), перу которого принадлежат «Die Moncherei oder

geschichtliche Darstellung der Klosterwelt und ihres Geistes» («Монашество, или Историческое изображение монастырской жизни и ее духа», 1818-1820) и «Das Ritterwesen» («Рыцарство», 1822—1824). Обе работы представляют собою не столько исторические труды, сколько расположенные в хронологической последовательности подготовительные материалы для написания истории монашества и рыцарства. При этом автору свойственно романтическое отношение к средневековой литературе, церкви, образу жизни и морали рыцарства и т. д. Возможно, А. П. Елагина обращалась именно к этим книгам. Достоверно же можно утверждать лишь то, что в № 1 «Европейца» за январь 1832 г. опубликована романтическая рыцарская повесть «Чернец», перевод с немецкого, причем автор и переводчик неизвестны.

⁴⁵ Генрих *Стеффенс* (1773—1845) — философ, естествоиспытатель и беллетрист; уроженец Норвегии, живший преимущественно в Германии. Главное сочинение — «Антропология» (1824). В 1—3 книгах за 1845 г. ежемесячного журнала «Москвитянин», выходявшего в 1841—1856 гг. под редакцией М. П. Погодина, действительно опубликованы отрывки из автобиографии Стеффенса «Was ich erlebe» («Что я пережил», 1840—1844), однако имя переводчика не указано. Во вступительной статье, написанной, видимо, И. В. Киреевским, сочинение получило высокую оценку и охарактеризовано как «окно во внутреннее развитие философа».

⁴⁶ Петр Григорьевич *Редкин* (1808—1891) — известный юрист, общественный деятель, профессор Московского (1835—1848) и Петербургского (1863—1878) университетов, ректор Петербургского университета (1873—1876). В 1840-х годах играл видную роль в среде западников. В 1847—1849 гг. издавал в Москве ежемесячный журнал «Новая библиотека для воспитания». Всего вышло 10 книг: 9-я — в 1847 г. и 10-я — в 1849 г. К. Д. Кавелин ошибся в названии журнала: «Библиотека для воспитания» издавалась Д. А. Валуевым в 1843—1844 гг. при участии П. Г. Редкина. В «Новой библиотеке...» отсутствуют материалы за подписью А. П. Елагиной, а также статья, непосредственно посвященная Троянской войне. В то же время в ней содержится публикация, представляющая собой литературный пересказ «Одиссеи» Гомера — «Странствования Одиссея» (кн. 2—4). Возможно, К. Д. Кавелин имел в виду именно эту публикацию. Подписана она инициалами В. К., но, являлись ли они псевдонимом Авдотьи Петровны, установить не удалось. Теми же инициалами подписана еще одна публикация — «Геродот и его повествования», помещенная в кн. 6, 7, 10.

⁴⁷ *Жан-Поль* (Иоганн Пауль Фридрих) Рихтер (1763—1825) — немецкий писатель, автор многочисленных романов, пользовавшихся большой популярностью в России в 1840-е годы. К этому времени относятся и все переводы его на русский язык. К. Д. Кавелин имеет в виду трактат «Левана, или Учение о воспитании» (1806).

Франсуа Поль Эмиль де *Боншоз* (1801—1875) — французский историк и писатель, автор многих исторических сочинений. Специального труда, посвященного собственно жизни и деятельности Яна Гуса, у него нет. К. Д. Кавелин имеет в виду его работу «Les reformateurs avant la reforme du XV siecle» («Реформаторы накануне реформы XV в.». Париж, 1845. Т. 1—2), в которой рассматривается история гуситского движения в Чехии.

Эрнст Теодор Амадей *Гофман* (1776—1822) — известный немецкий писатель и композитор.

Александр Родольф *Винз* (1797—1847) — швейцарский богослов и историк литературы, профессор Базельского университета и Лозанской академии.

⁴⁸ Жан *Расин* (1639-1699) — французский поэт, драматург.

Жак-Анри *Бернарден де Сен-Пьер* (1737—1814) — французский писатель, автор популярного романа «Поль и Виргиния».

Жан-Баптист *Массиллион* (1663—1743) — французский проповедник, архиепископ. Сохранилось около 100 его произведений. На русском языке изданы «Избранные слова Массильона, епископа Клермонского» (пер. Ястребова; вышло три издания, последнее — Спб., 1845).

Франсуа *Фенелон* Солиньяк де Ла Мот (1651—1715) — французский писатель и религиозный деятель, архиепископ. Автор нескольких богословских трактатов, а также философско-утопического романа «Приключения Телемака», которому обязан своей литературной известностью и отлучением от церкви. Известно несколько русских переводов, в том числе стихотворный, — В. К. Третьяковского.

⁴⁹ Примером может служить судьба Александра Васильевича Никитенко (1804—1877), историка русской литературы, профессора Петербургского университета, академика, цензора, бывшего крепостного крестьянина графа Шереметева, получившего вольную благодаря хлопотам К. Ф. Рыльева, сумевшего привлечь себе в помощь общественное мнение. Из крепостных вышли Михаил Петрович Погодин, Орест Адамович Кипренский и др.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Марина Костюкова



* * *

Прощу и отпущу,
Как в небо птицу,
О сером журавле грущу,
Держа в руках синицу.
 Прощу. Сегодня. В этот час
 Скажу тебе: «Прощаю».
 А слезы из зеленых глаз —
 Их тоже отпускаю.
Чтоб в сердце сохранить зарю,
Чтобы дышалось легче,
Прощения тебе дарю
Сегодня и навечно.
 И вот прощания мои
 Благополучно сбились в стаю,
 И, как в моря шлют корабли,
 Я стаю отпускаю.

2004 г.

* * *

Моя душа заледенела.
Твоя ответила ей: «Нет».
Кому теперь какое дело,
Коль даже сердцу дела нет?
Весны холодное начало.
Унынье сердца моего.
Я улететь в небо мечтала —
Крылья иметь мне не дано.
Очарование сменилось

Разочарованием в тебе.
И сердце надвое разбилось,
Повиновалось судьбе.
И я забыла все упреки,
Все крики раненой души,
Хотя вдвоем, но одиноки,
Хоть и близки, но далеки.
Как, повинясь зову света,
Порхает мотылек к окну,
Так я, разбивши сердце это,
Опять скажу: «Люблю. Люблю».

2005

* * *

Время расставит все по местам,
Каждый получит по каждой заслуге,
Думаю я, кому сердце отдам,
Если оно не выносит разлуки.
Время расставит все по местам,
Время залечит все мои раны.
Если не высказан чей-то обман,
Значит, однажды, сказал кто-то правду.
Кто недодал, и кому не отдали,
Кто предавал, и кого предают,
Где-то на небе все это считают,
Где-то на небе меня еще ждут.
Время расставит все по местам,
Время жестоко, но справедливо.
Время раскроет каждый обман.
Каждый уйдет, но не каждый красиво.

2005 г.

* * *

Прости. Прощай. Не верь. Забудь.
Закрой глаза и сердце на замок.
Люби! Дыши, живи и будь!
Прочтешь ты правду между строк.
Лети! Сумей добраться до небес!
Упав, сумей подняться сразу!
И даже если свет уже исчез,
Умей найти его во тьме без страха.
Прости. Прощай. Забудь — без силы.
И жить, назад не оглянувшись,
Любить, но чтобы сердце не разбила.
А под ударом хитро увернуться.
Прощай, усталой рифмы хоровод.
Прости за слезы и упреки.
И в моей жизни близится восход,
От солнца затлевают строки.
Прощай! Не знаю ли, навек?
Прости. Забудь. Не стоит горевать.

И, может быть, какой-то человек,
Откроет мою желтую тетрадь.

2005 г.

НАТАЛИ

Шептали волны: «Натали»,
Шептали волны о любви.
Играли волны в глубине:
«А ты, ты помнишь обо мне?»
С причала облака видны,
А с радуги дожди слышны,
Играет солнце на воде:
«А ты, ты помнишь обо мне?»
Шептали волны: «Натали»,—
И исчезал туман вдали.
Спрошу поутру у реки,
Забыла ль ты мои стихи?
Ты уходила, как рассвет
Уходит в вереницу лет,
Но прошумят волны вдали:
«Куда, куда ты, Натали?»

2004 г.

Дмитрий Ткачев



ДЕТИ ВОЙНЫ

Мишка

В одной из деревень Белоруссии жил мальчонка по имени Мишка. Это был очень веселый и подвижный человек. С тех пор, как он себя помнил, нужно было куда-то бежать. Часто его будили среди ночи, когда сон, особенно крепок и одеяло так ласково обволакивало теплом его тельце, он знал твердо: надо тот час соскакать с кровати и бежать. Бежать по холодной, мокрой от росы траве в лес, через болота, где были вырыты землянки. Страх он не испытывал. Или потому, что плохо понимал происходящее, или считал, что так и должно быть.

Обычно к ночи, когда стихали гул машин и треск автоматов, они с матерью возвращались домой. Мать становилась перед иконами на колени, заставляла то же делать маленького Мишку, и они молились. Мать просила Бога, чтобы он сохранил жизнь отца Мишки — Михася.

Михась однажды утром появился в доме, в пропахшей потом и пылью гимнастерке, с винтовкой через плечо. Радости не было границ. Михась подбрасывал сына под самый потолок. Мишке было и страшно, и радостно. Он громко и счастливо смеялся. У матери глаза сияли так, что, казалось, освещали углы темной комнаты. Вечером Михась ушел и больше Мишка его не видел. Глаза матери потускнели. Вскоре она получила какое-то письмо. Она не плакала, а накинула на густые темные волосы черный платок, и с тех пор они с Мишкой не стояли перед иконами и ни о чем не просили Бога.

Помнит Мишка и темный сарай, забитый людьми так, что трудно было дышать, а шум и вой такой, что ушам больно. Только мать молчала и крепко-крепко прижимала его к своей груди. Дым начал заползать в сарай, но неожиданно двери распахнулись и толпа хлынула на улицу. Потом мать рассказывала, что партизаны их освободили, а то бы все сгорело заживо, как в Хатыни.

Однажды Мишка убежал в соседний двор и заигрался с девчушкой меньше его по возрасту. Вдруг раздался треск мотоциклов, выстрелы. Через некоторое время все стихло. Взявшись за руки, дети вышли на улицу. Первое, что они увидели — труп старика в луже крови. Деревня была пуста. Дети знали, что все убежали в лес, в землянки. Снова послышался гул машин. Мишка, крепко сжав руку девочки, забежал в первый попавшийся дом. Взобрался на русскую печь и затащил туда девчушку. Забившись за выступ трубы, они затаились. В избу зашли два человека. Штыками проткнули перины, прошлись очередью из автомата под печью и вышли. Затем один из них вернулся, заглянул к детям на печь и на ломаном русском языке сказал, чтобы они не выходили, пока все не стихнет. Став взрослым, Мишка, вспоминая этот эпизод, не мог понять, как их не забрали? Тогда забирали и увозили в Германию даже грудных детей.

К вечеру стали возвращаться в деревню жители. Мишка увидел своего старого деда из соседней деревни. Он плакал: «Сказывают, убили твою мамку, Мишка. Будешь жить теперь у меня». Мишке было жаль деда, и он стал его утешать: «Не плачь, дед. Она оживет». Неожиданно глаза деда расширились: «Минька, посмотри, у тебя глаза зорче. Уж не мать ли твоя там идет?» Мишка оглянулся и увидел выходящую из леса мать. Он узнал бы ее хоть за тысячу верст. «Я же тебе говорил, говорил, что она оживет!» — крикнул он деду и опрометью кинулся навстречу матери.

У матери были огромные глаза с синевой, казалось, в них отражалось небо. Но они уже никогда не светились тем изумительным блеском, как в тот день, когда приходил отец. Те лучистые материнские глаза Мишка потом всю жизнь будет вспоминать.

Помнит Мишка и еще один эпизод. Лежат они с мамкой в жаркий день в густой ржи. Солнце палит невероятно. Страшно хочется пить. Мишка пытается поднять голову и посмотреть, что творится вокруг. Слышны крики, какой-то скрежет. Но мать прижимает к земле его вихрастую голову: «Лежи, сынок, лежи!» Раздается на немецком языке команда: «Steht auf!» Мать что-то шепчет и еще сильнее прижимает горячей влажной ладонью голову Мишки. Позже он узнает, что команду «Встать!» мать считала обращенной к ней, но не могла подняться, не слушались ноги. Потом раздались выстрелы. Это расстреляли одного из задержавшегося в деревне односельчанина.

Вот так и рос мальчонка, привыкший быть начеку при гуле моторов, слыша плач и крики односельчан, видя лужи крови, трупы людей и животных.

Зато в редкие тихие дни Мишка любовался облаками, родной природой. Деревья были такие высокие и красивые, а трава такая мягкая и в ней удивительно сладкая и сытная ягода — черника. Насытившись ягодой, Мишка начинал петь. Его чистый голосок поднимался, казалось, к самому небу. У него была отличная память. Он пел наизусть незатейливые тексты деревенских песен, тоскливых и длинных. Он пел самозабвенно, не обращая внимания на то, что вокруг него собиралась толпа взрослых, и суровые, изможденные лица начинали теплиться улыбками. Стоило Мишке замолчать, как раздавались голоса: «Мишка, спой еще!». И Мишка пел снова и снова.

Кончилась война. Было всеобщее ликование. Помнит Мишка, что всю ночь играла музыка, пелись песни. Его просили петь, и он пел, просили плясать, и он плясал. В этот день ему подарили немецкую губную гармошку. Без особого труда быстро выучился он вдвухать и выдвухать мелодии деревенских плясок и песен. С тех пор он стал «первым парнем на деревне». Его, мальчонку, приглашали каждый вечер на посиделки. И он с удовольствием наигрывал для девок и вдов нехитрые мотивы. Нипочем, что царил голод и холод. Деревня была почти вся разрушена. Питались капустой и картошкой, да «хлебом», если можно было назвать так изделия, изобретенные женщинами.

Подрос Мишка. За несколько километров приходилось ходить в школу. Но столько радости доставлял сам этот путь, часто по бездорожью, в пургу и снегопад. Терял дорогу и приходил в школу, когда уже заканчивалась учеба первой смены. Но детство есть детство. В нем всегда есть место радости и вере в прекрасное далеко.

Таня

Далеко от Москвы, где летом разливаются реки, в небольшом военном городке жила девочка Таня. Она жила с мамой и бабушкой. Мама работала, и Таня виделась с ней редко. Мама уходила на работу, когда Таня еще спала и возвращалась, когда Таня уже спала. У Тани была привычка по утрам делать «обход». Все военные ее встречали доброй улыбкой. Она наблюдала, как с утра они занимаются зарядкой: крутятся в колесе, на железных качелях делают полные обороты, отжимаются. Затем шли завтракать. Длинные столы стояли прямо на улице. На завтрак была обязательно гречневая каша. Таню приглашали к столу, и она с удовольствием ела кашу, которой ка-

залось, нет на свете вкуснее. Затем военные куда-то исчезали на целый день, а вечером возвращались. По соседству в комнате жили два летчика. Обоих звали Василиями. Таня знала, что ее папу тоже звали Василием, да вот видела она его только на фотографии. Знала, что он воюет на фронте, где-то далеко, и что от него изредка приходят письма. Она любила его, хотя и не помнила. Она любила и этих двух Василиев, и ждала их возвращения. Они возвращались и обязательно угощали ее шоколадом. А вот шоколад Таня не любила, потому что он был горький, но подарок брала, чтобы не обидеть летчиков. Потом она готовила им «сюрприз». Это повторялось всегда, когда они приезжали, и Таня искренне удивлялась тому, что они забывают про него. «Наверное, из-за трудной работы»,— думала она. А «сюрприз» ее состоял в том, что она надевала имеющийся в каждой семье противогаз на голову, заходила в комнату летчиков и изменившимся голосом выкрикивала:

*Внимание, внимание!
Говорит Германия!
Сегодня утром под мостом
Поймали Гитлера с хвостом!*

При виде такого «страшного чуда» летчики так «пугались», что вскакивали как можно выше. Один на стол, другой на кровать. Таня снимала с головы противогаз и говорила: «Да это же я!» Летчики, еле отдышавшись от «испуга», спускались вниз, и все трое весело смеялись. В следующий приезд все повторялось. А в промежутках противогаз у Тани превращался в «теленочка». Она приносила ему траву, «поила» водой и ждала возвращения летчиков. Но они почему-то долго не возвращались. Таня приставала с расспросами к маме и бабушке. Те отвечали, что Василий скоро вернется, но Таня заметила, что по щекам мамы и бабушки катились слезы. Летчики так и не вернулись. Так и не дождалась Таня этих двух своих замечательных друзей.

Жила Таня, окруженная любовью взрослых, красотой Дальневосточного края. Но знала, что где-то далеко идет война. Она представлялась ей чем-то черным и страшным. Все ждали конца войны. Ждала его и Таня, ей так хотелось увидеть папу. Во дворе собирались такие же ребяташки, как и она, и во весь голос распевали придуманную кем-то песню:

*Синее море, красный пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток.
На Дальнем Востоке пушки гремят,
Военные солдатiki под кустиком лежат.
Мама будет плакать, слезки проливать,
А папа поедет на фронт воевать.
Брошу я подушку, брошу я кровать,
Сяду на лягушку, поеду воевать.*

Распевали так воинственно, не понимая, что сами живут на Дальнем Востоке, а война там, на Западе.

Но как-то городок опустел. Военные исчезли. Тане было скучно и страшно. Мама даже по ночам не приходила с работы. Она работала в госпитале, и бабушка говорила, что у нее напряженные дни. Вскоре вернулись военные, и появилось много военнопленных японцев. Тане было их очень жаль. Это были люди небольшого роста, закутанные в какие-то башлыки, худые и жалкие. Тане казалось, что они голодны. Она тайком брала хлеб из дома и приносила японцам. Конвоиры брали хлеб и отдавали пленным.

Однажды Таня застала бабушку и маму в слезах. Мама держала в руках какую-то бумагу. Это было известие о гибели Таниного отца. Таня поняла, что она так и не увидит долгожданного папу и горько заплакала.

Закончилась война и воинская часть эвакуировалась на остров Сахалин. Мама не захотела ехать туда без Таниного папы и вернулась в город Новосибирск, где до войны жил папа и его родственники. Таня хорошо запомнила путь до Новосибирска. Ехали очень долго. На остановках, когда мама выходила с чайником за кипятком, сердце Тани сжималось от страха. Она боялась, что мама отстанет от поезда. Несколько раз она сваливалась прямо на стол с верхней полки, потому что поезд так дергалось, когда он трогался, что невозможно было удержаться. Помнила и многочисленные туннели, и огромное озеро Байкал.

Новосибирск встретил их суровыми морозами. Жили у родственников в многодетной семье. Мама много работала и стала такой худой и бледной, что бабушка, вздыхая, говорила: «Остались кожа да кости». Через год они переехали к бабушкиным родственникам, в жаркий Семипалатинск.

Эпилог

Мишка вырос. По комсомольской путевке укатил на целину в далекие казахстанские степи. Оттуда ушел служить в армию, в Морфлот. После службы предлагали работу за границей. Отказался. Потянуло его почему-то снова в Казахстан. Приехал в студенческий город Семипалатинск.

Это уже был красивый молодой человек, спортивного телосложения и, как сейчас принято говорить, с «голливудской улыбкой». Однажды он ехал в переполненном автобусе и увидел девушку. Через плотную толпу пассажиров пробрался к тому месту, где она сидела. «Наконец-то я Вас нашел», — были его искренние слова. Девушка не удивилась, так как перед этим видела во сне парня точно похожего на этого незнакомца. Так свела судьба двух молодых людей — Михаила и Таню. У них появилось трое прекрасных детей. Жили по советским меркам в достатке: имели любимую работу, квартиру, машину, садово-огородный участок. Дети закончили мединститут.

Но случилась перестройка. Сначала думали, все наладится. Ан, нет... Пришлось покинуть все нажитое, так как начался массовый выезд русских и немцев из Казахстана. В то время сын, военнослужащий, жил в Туле. Поехали к нему. Тяжело пережил Михаил переезд. Все надо было начинать сначала, с нуля. Но подвело здоровье — инсульт. Радует только то, что дети рядом да пятеро любимых внуков. Тула стала уже родным городом. Здесь похоронили Танину маму, здесь родились четверо внуков — туляков. Михаил мало двигается. Вся отрада — телевизор. Но после просмотра его старческие щеки краснеют от досады, и он время от времени повторяет: «Эх, Россия...»

Тане приходится нелегко, но она не жалуется, говорит: «Мне нельзя болеть и унывать нельзя. Я за всех в ответе». Успокаивает Михаила, говорит, что все наладится, все будет отлично. Но отвернется, и глаза ее закружат. Тихонько почему-то прошепчет, когда никто не слышит: «Жаль только жить в эту пору прекрасную...»

Я очень люблю их: и Михаила, и Таню, потому что это мои дедушка и бабушка. Каждый раз пристаю к ним с расспросами об их детстве, хотя все уже давно знаю наизусть.

ЮБИЛЕЙ

Сергей Галкин



ОН ПИШЕТ ЖИЗНЬ

В одном из августовских номеров областной газеты «Коммунар», тираж которой в то время переваливал за сто сорок тысяч экземпляров, появился рассказ «Сохатый». Пронзительный по свежести красок, захватывающий по сюжету, яркий и сочный по художественному языку, он и сейчас у меня в памяти. Таким же увидел его и Александр Григорьевич Лаврик, тогдашний ответственный секретарь Тульской писательской организации. Он и стал звонить в редакцию, узнавать: что это за автор такой — Александр Харчиков? Откуда он?

— А это,— отвечали,— бригадир дежурных электриков доменного цеха Косогорского металлургического завода.

— Пожилой, небось? Как его по отчеству-то?

— Ну что вы? Совсем молодой человек. Лет двадцать с небольшим. Мы и сами отчество не успели спросить. Саша да Саша...

Пригласил автора к себе Александр Григорьевич, поговорил приветливо... Ну да сейчас разговор не об этом. Хотя, может, с того самого обнародованного на всю область рассказа, с того самого доброго внимания руководителя писательской организации и началась настоящая творческая биография Александра Тихоновича Харчикова, чьи стихи до того уже появлялись в газетах.

Сегодня можно говорить о пятидесятилетии творческой работы прозаика и поэта Александра Харчикова. Половина века напряженной и полнокровной работы в литературе. Уже то, что одна из его повестей — «Перед дальней дорогой» впервые увидела свет во всесоюзном литературно-художественном журнале «Новый мир», издававшемся тогда почти миллионным тиражом, то, что его роман «Среди людей» был издан в журнале «Октябрь», имевшим еще больший тираж, говорит само за себя.

У Александра Харчикова множество публикаций в разных газетах и сборниках. Им изданы отдельными книгами романы и повести «Лицом к огню», «Среди людей», «Время моей любви», «Свет осенних дней», «Перед дальней дорогой», «Тот берег... Он рядом», «Стеша» и другие. Как поэт он проявился в сборниках «Под стон людской» и «Тень крыла». Значительные подборки его стихов только в минувшем году были, в частности, опубликованы в «Новом журнале» в Америке и в популярнейшей «Литературной газете»...

Впрочем, перечисление публикаций заняло бы много места. Но даже в этой мимолетной оглядке на сделанное можно представить, какая громадная творческая дорога за плечами писателя, живущего в Туле, рядом с нами. Между тем как-то при упоминании о Харчикове довелось услышать:

— А кто это?

Сегодня меня этот вопрос не удивляет. Уже почти не помнят Солоухина, Тендрякова, Можяева, Белова, Богомолова, Быкова... Да простят они мне, первыми пришедшие на память.

Список имен прекрасных русских писателей, и ушедших уже и ныне живущих, можно долго продолжать. Не в упрек им за то, что полузабыты, что имена их зарастают травой забвения. Уж на что замечателен Алексей Толстой с его «Петром Первым» или «Хождением по мукам» и то попадались молодые, берущиеся за перо, пытающиеся сами творить, спрашивали:

— А кто это?

Уж не говорю о поэтических именах XX века. И процесс беспамятства, по моим наблюдениям, расширяется. Не случайно отношение к писательскому цеху в лучшем случае снисходительное. Эдакое «ну что, брат, Пушкин?».

Сегодня читатель реагирует, к сожалению, на яркие, красочные обложки, как когда-то индейцы на красные ленточки. Книги же Александра Харчикова, насколько помню, ни разу не выходили в столь обворожительном оформлении, а одна из самых, пожалуй, значительных, появившихся в начале 90-х годов, вообще в мягкой обложке. Для тогдашних издателей «не тем» оказался Харчиков по характеру: резковат, прямоват. Мнение, какое имеет, не станет подальше в карман прятать. «Горяч дюжа».

Да! Любят у нас дипломатов. Слаб человек...

Как-то давным-давно в беседе о творчестве Александр Тихонович пошутил:

— Знаешь, я вот в романе создавал образ положительного директора завода. И знаешь почему? Думал, прочтут, все директора хорошими будут...

Мысль, разумеется, наивная. Харчиков сам улыбался, вспоминая о чистоте тогдашних юношеских надежд и помыслов. Но есть даже за этой наивностью, если можно так выразиться, творческое направление сердца. Не славы добиться, не материальных благ, не поразить любимую общественность умом и талантом, а сделать так, чтобы руководители стали порядочнее. А от этого трудовому человеку, семье, детям нашим жить станет легче. Совестьливость. Вот что, мне кажется, лежит в основе всего изданного писателем. Чувство совестьливости, думается, объединяло не только всю русскую, но и всю истинную мировую литературу. И если сегодня мы почему-то начинаем забывать о том, что делает человека человеком, грош цена и писательству, но это особая тема разговора.

Так откуда же он, писатель Александр Харчиков? Родился в деревне Харчиково Дросковского района Орловской области. Отца своего Тихона Трофимовича помнит с довоенного времени могучим человеком в багровом дыму, красных искрах, в копти... С сестренкой носил ему обед в колхозную кузню, где тот работал молотобойцем. Мать до войны была ударницей в колхозе.

Вечно в работе утром, днем, вечером... Из детских воспоминаний самое страшное — голод, когда нигде, ни у кого нет ни крошки хлеба в округе. Только промерзший крахмал прошлогодней картошки случайно оставшейся в огороде Вернувшийся в сорок пятом с войны израненный отец как слег, так больше и не поднялся. Долго болела мать... Еще мальчиком будущий писатель пахал и боронил колхозные поля, сеял из лукошка вместе со стариками, косил, убирал хлеба... Может, поэтому в шестнадцать лет уже чувствовал себя зрелым человеком и после окончания средней школы стал работать председателем районного комитета физкультуры. Был избран членом бюро Дросковского райкома комсомола. А когда учился в Новомосковском хи-

мико-механическом техникуме, избирался заместителем секретаря комитета комсомола учебного заведения.

С 1958 года он — на Косогорском металлургическом. Там избирался заводской молодежью секретарем комитета комсомола всего завода. С комсомольской работы вернулся в доменный цех, стал одним из первых ударников коммунистического труда на предприятии. За производственные показатели его имя внесено в заводскую Книгу почета. Это сегодня какой-нибудь хитроватый невежда ехидно улыбнется, мол, знаем мы эти Книги почета. Нет, тогда не все знали, а сейчас и подавно. И вытаскиваю эти штрихи из биографии писателя специально: с каким бедным жизненным багажом приходят сегодня в литературу сытые молодые авторы... Им не о чем писать, не за кого и не за что болеть.

Александр Харчиков закончил Литературный институт им. А. М. Горького, в 1971 году стал членом Союза писателей, работал в редакциях «Молодого коммунара», «Коммунара», «Тулы вечерней», в «Тульских известиях». Журналистская и редакторская работа, кто вкусил ее, знает — не сахаром посыпана. Но, успевая заниматься литературным трудом, не уходил Харчиков и от общественной деятельности, являясь заместителем ответственного секретаря областной писательской организации, а одно время и секретарем партийной. Много выступал со своим творчеством, вызывая огромный интерес у слушателей.

Нет, не собой был занят писатель. Свидетельством тому, в частности, объемная книга, составленная Харчиковым в конце восьмидесятых годов, вышедшая пятидесяти тысячным тиражом в Москве в издательстве «Современник». Называется она «Овеянная славой». Это о тульской земле. О ее всемирной славе, о ее талантах и мастерах, о людях, благодаря которым мы все можем с уважением относиться к себе, когда произносим слово — туляк. А, согласитесь, это немало стоит. Вот только мы, туляки, как-то не успели еще отметить труд писателя за пятьдесят лет его творческой деятельности. Медаль «Ветеран труда» и только. Хотя, известно, не в званиях, не в медалях дело. Высшей наградой для писателя всегда оставались его произведения. Вот и у Харчикова — кроме изданного сегодня лежат в столе завершёнными три повести, два романа, книга публицистики. Это новый Харчиков. Сегодняшний. А вот увидит ли их читатель? Хорошо бы увидел. И поскорее.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАМЯТЬ

Николай Полетаев



Полетаев Николай Гаврилович (1889—1935) родился в г. Одоеве Тульской губернии. Детство поэта было тяжелым, семья жила в крайней бедности, в ней часто были разлады. Мать с малолетним сыном ушла из дома. Сначала мальчику пришлось жить у чужих людей в Одоеве, затем с матерью — в Москве. Мать работала в больнице сиделкой. Многие дни проводил там и Коля, где выздоравливающие больные научили его читать и писать.

Девяти лет был отдан в начальное училище. Учитель, заметив способности мальчика, определил его на собственные средства в торговую школу. По окончании школы 25 лет проработал на железной дороге маркировщиком, кабельщиком, весовщиком, конторщиком.

Писать стихи начал в школе, а серьезно — с 1918 года, с момента поступления в литературную студию Московского пролеткульта. Там учились поэты В. Александровский, В. Казин, С. Обрадович. Но серьезной школой поэтического мастерства Н. Полетаев был обязан С. Есенину, Б. Пастернаку, Н. Асееву, А. Белому.

Несмотря на разнородные влияния, он сохранил свою поэтическую индивидуальность... «Я не поддавался никому совсем и принимал от них только то, что мне было необходимо», — писал Н. Полетаев в своей автобиографии. А стихи нашего земляка, простые и доходчивые по форме, полны глубокой искренности и правдивости. Они говорят о незаурядном таланте поэта.

Сломленный тяжелой болезнью, он умер в 1935 году.

* * *

Чадило чертово кадило
И едкий, смрадный, черный дым
С усмешкой злобной возносило
К набухшим облакам седым.

В удушливом густом тумане
Фабричных труб горелый лес,

Колдуя в дьявольском дурмане,
Вздыхался властно до небес.

Порой из труб, в дыму сверкая,
Сноп искр кроваво-золотой
Взлетал и, тяжело задыхаясь,
Вдруг угасал, объятый мглой.

И, рассыпаясь, искры тухли
В туманной и дождливой мгле,
А облака все шире пухли,
Все ближе виснули к земле.

Была сначала непонятна
Мне жизнь туманная столиц,
Где призрачно мелькали пятна
Зеленовато-бледных лиц.

Но постепенно околдован
Смертельно-призрачной красой,
Я навсегда теперь прикован
К тебе, туманный город мой.

Осенняя прозрачность сада,
И молодые зеленыя,
И вихри красок листопада
Чужими стали для меня.

1918 г.

* * *

Разлохматились, взвились метели
На родимой моей стороне,
Заревели, заныли, запели,
Заметались в синем огне.

И слетелись в костер необъятный,
Пламенеющий снегом костер,
Он горящие синие пятна
В беспредельный бросает простор.

Вихри, вихри, носитесь, крутитесь!
Ледените, палите меня,
Синим пламенем мир охватите,
В беспредельности снегом звеня.

Сквозь огонь синезвонных метелей
Вижу: крест мой зареет с горы.
Звонче, звонче звените, метели,—
Вдалеке загорелись миры.

1918 г.

* * *

Перевешу сапоги на плечи,
Положу в котомку сухарей
И пойду от раскаленной печи
В беспредельную тоску полей.

Синева и зелень не задушат
Задымленного в огне печей,
Я иду не бор зеленый слушать,
Не звенящий в сумраке ручей.

Я пойду в невытую деревню,
Я пойду к забытому отцу
Не скулить, не каяться плачевно,
Не кадить корявому лицу.

Я грозой спалю мою деревню,
Я дождем смету тоску с полей,
Чтоб победней, веселей, напевней
Засверкал и зазвенел ручей.

Чтоб в глаза покорные коровьи
Бросил он серебряную дрожь,
Чтоб пожаром вспыхнула на нови
Золотом бушующая рожь.

Чтоб на месте земляных конурок
Солнечные вздыбились дома,
Чтобы, сбросив бабий плат понурый,
Солнцем захлебнулась синева.

1919 г.

ОДОЕВСКИЕ РОЗЫ

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм.
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.

В этом городе с главной площади
Кругом поле, воля и сушь,
Там не бродит сырыми рощами
Водяная русалочья чушь.

За кривыми гнилыми заборами
В этом городе гряда роз.
Я дышал там ими всеми порами,
Я любил там, и креп, и рос.

Этот город не дам никому я,
Станет стражей любовь и рожь,—

Из-за Раина поцелуя,
За любимую Раину брошь.

Стихнет день там с обозами,
Соловей — во всю мочь,
И прохладными розами
Орошается ночь.

Только мрак и зевота,
Только храп лошадей,
Да висит позолота
Почерневших церквей.

Это в сумраке душном
Разметалась земля,
Это, значит, так нужно,
Это спят тополя.

Покосившийся набок,
Будто слушает дом
Соловьиный припадок,
Соловьиный содом.

И до самой до серой
Петушиной зари
Буду я кавалером,
Кавалером де Гри.

Буду верен приказу
Моей нежной Мамон,
Пока двери лабазов
Пьют зарю, как вино.

Этот город мучных лабазов
Был театр моих розовых драм,
Полон он пахучих рассказов,
Отдан он полевым ветрам.

1923 г.

РАДОСТЬ

Трепала жизнь, рвала волосья,
Дубьем долбила по горбу.
А и сейчас горят колосья
В моем расцвеченном гробу.

А и сейчас весенней грязи,
Весенней бестолочи ряд.
Из будней делаю я праздник,
Силен, и весел, и богат.

Я рад тому, что светит солнце,
Я рад тому, что сам пою.
Я рад случайно об оконце
Ударившемуся воробью.

1924 г.

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не от нежной пудреной головки
Эта запоздалая гроза.
Полюбил я крепкий стан свердловки
И ее прозрачные глаза.

Полюбил темнеющую бурей
Прядь волос, нависшую на лбу,
Словно под сверкающей лазурью
Дым, огонь, смятенье и пальбу.

И чудно, что звать ее Людмила,
Что любовный ненасытный хмель
И в ее каморке милой
Разметал убогую постель.

1923 г.

Николай Любин
(1923—1988)



Прозаик Николай Антонович Любин родился в деревне Даргомыжка Арсеньевского района Тульской области в крестьянской семье.

Родители Николая Любина стремились дать образование детям, поощряли приобретение книг, так что в доме собралась порядочная по тем временам библиотека. Это способствовало раннему приобщению будущего писателя к книге. Приобщение началось еще до того, как он сам научился читать. Николай Антонович окончил строительный техникум. С первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт и служил в саперных войсках.

С фронта Н. А. Любин возвращается в родной Арсеньевский район и принимает активное участие в работе, которая в то время называлась «залечиванием ран, нанесенных войной». Н. Любину вместе с другими товарищами пришлось заниматься организацией строительства жилых домов колхозникам, пострадавшим от немецкой оккупации.

Долгие бессонные ночи были отданы Н. Любиным для написания повести «Марфа Подаркина». Эта первая повесть писателя была опубликована в альманахе «Литературная Тула» (№ №7—8) в 1953 году.

В этом и в последующих произведениях Любина сливаются две главные темы: деревни и Великой Отечественной войны. В работе над книгами большую роль сыграли личные впечатления автора.

Произведения Николая Любина согреты любовью и уважением к человеку труда, человеку честному и сильному.

Писатель глубоко изучал жизнь и создавал запоминающиеся образы. Его Марфа Подаркина, Мария; Николаева и ряд других героев живут полнокровной жизнью, борются за светлые идеалы.

В 1967 году Н. А. Любин поступает на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького, которые заканчивает в 1970 году. Членом Союза писателей СССР стал в 1967 году. Награжден медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.

ГЛУХИЕ ЗАВАЛЫ (отрывок из повести)

В то время, когда Никита Дубов рушил свое хозяйство, а его дочь выпрашивала у Никандрова столбы, Михаил Михайлович Лытаев пребывал в превосходнейшем настроении. Он только что оставил гостеприимную квартиру своего друга на главной улице областного центра и теперь, сидя в машине, предавался приятным воспоминаниям, машинально насвистывая разные легкомысленные мелодии.

Две-три ночи поспит еще Лытаев в прежнем качестве, а потом на него свалится множество забот и приятных обязанностей, от которых не так-то просто уснуть. Быть первым лицом в районе и почетно, и нелегко. Но уж коли на него надеются, коли ему доверяют, Михаил Михайлович не пожалеет сил своих, чтобы оправдать высокое доверие. Не бахвалясь, он вчера вечером убеждал своего друга, что выведет район через год-два в передовые. По его мнению, для этого достаточно поднять ответственность руководителей хозяйств за выполнение планов. Будет строжайшая ответственность и дисциплина у руководителей — и район в гору пойдет.

Его друг — сотрудник орготдела обкома, чокаясь с ним тонконогой изящной рюмочкой, говорил о полной своей солидарности с Михаилом Михайловичем и рисовал заманчивые картины перемен, которые произойдут скоро в Михайловском районе. На досуге они прикинули уже, кому из районных работников следует свернуть шею, кого поставить на место, кого призвать к порядку, — чтобы люди сразу же почувствовали, что кончилась пора гнилого либерализма, что начинается большая работа по ликвидации отставания и выведению района на правый фланг.

Одно беспокоило Лытаева: почему его друг и вчера, и сегодня, на прощание, просил его не предпринимать никаких шагов впредь до особого от него звонка? Почему он упор в разговоре делал на предстоящую встречу Климова с первым секретарем обкома? Тут ведь, кажется, дело совершенно ясное. Лытаев не натаскивал на Климова ничего лишнего, он доложил в обком факт: в колхозе «Победа» игнорировали указание партии о внедрении высокоценной культуры — кукурузы, и виновники этого преступления остались безнаказанными. В чем тут можно еще сомневаться? Факт есть факт. Но как бы ни убеждал себя Лытаев, маленький червячок сомнения разрастался в нем, и чувство удовлетворенности постепенно уступало место необъяснимому страху. Если дело вдруг повернется не так, как он до мелочи представлял себе, то... Впрочем, надо ли об этом думать?

— Василий! — окликнул Лытаев шофера.

— Слушаю вас, Михаил Михалыч.

— В Ломовку заверни, позавтракаем.

— Есть.

После завтрака всякие сомнения оставили Лытаева. Осталась лишь горделивая удовлетворенность собой и радость от предстоящего свидания с той вершиной его служебной лестницы, к которой он так самоотверженно стремился. Он даже запел от избытка чувств:

*...Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.*

Пропев, хлопнул шофера по плечу:

— Васек, ты дальше слов не знаешь?

— Не, — простодушно ответил Васек.

— Трам-та-та, трам-та-та, трам-та-та, — беззаботно напевал Лытаев.

Таким его шоферу видеть еще не приходилось, даже когда Лытаев был изрядно выпивши. Сейчас же он — ни в одном глазу, а веселья через край... Лытаев пришел в норму, лишь когда дорога пошла по земле Михайловского района.

— В «Победу» давай, — коротко приказал он. Шофер недовольно поморщился. — Ты что?

— Да больно уж там председательница неприветлива. Давайте, Михаил Михайлович, лучше в «Родину» или «Прогресс» махнем.

— Неприветлива, говоришь? — глаза Лытаева сузились в недобром прищуре.

— Ну да.

— Погоди, Васек. Этот у нас председатель будет самый приветливый из всех. Поворачивай!

Дубову они в колхозе не застали. Счетовод, оставшийся пока за Шишкина, сказал им, что Нина Никитична уехала в «Восход» и туда же пошли подводы с лесом.

— Давай в «Восход», — упрямо сказал Лытаев.

Тут и состоялась встреча, о которой Лытаев с удовольствием бы забыл навсегда, если бы можно было. Нину они нашли возле склада строительных материалов, где грузились на подводы бревна.

— Окулачиваетесь, Нина Никитична? — добродушно приветствовал ее Лытаев.

— Где там окулачиваемся, Михаил Михайлович. Побираемся, — отвечая на его крепкое рукопожатие, пошутила Нина.

— Ну, ну, не прибедняйтесь! Электростанцию пустите — все богачи вам завидовать будут... Кстати, вы все здесь оформили?

— Осталось погрузить бревна, и поедем.

— Вот что, Нина Никитична, — Лытаев деловито наморщил лоб. — Я хотел бы осмотреть участки, бывшие под кукурузой в вашем колхозе.

— Чего же там смотреть? Все давно вспахано.

— Вот это мне как раз и нужно.

— Не понимаю, — Нина удивленно пожала плечами. — Вчера только их смотрел Николай Петрович. Сегодня вызов на бюро по этому же самому вопросу получила. Не понимаю.

— Нина Никитична, — с обидой в голосе проговорил Лытаев. — Я, кажется, вполне определенно сказал — необходимо!

— Ну, что ж, — согласилась Нина и повернулась к Силину. — Матвей Сергеевич, сложите бревна возле своего дома.

Лытаев проворно подошел к машине.

— Ты вот что, — торопливо сказал он шоферу, — отдохни пока тут, а я через час приеду. Лытаев сел за руль, любезно открыл дверцу перед Ниной. — Садитесь, пожалуйста!

Когда машина пересекла Михайловский большак, Нина указала на свеженаезженную ровную дорогу.

— Вот сюда.

Лытаев, будто не слыша ее, повернул вправо, по дороге, ведущей к лесу.

— Куда вы едете? — удивилась Нина.

Лытаев нервно засмеялся в ответ:

— Я тут дороги лучше вас знаю.

— Послушайте, у меня нет времени кататься.

— Ничего, Нина Никитична, ничего, успокойтесь, — прибавив скорость и не поворачивая к ней головы, твердил Лытаев.

Машина с ходу перескочила через неглубокую канаву на опушке леса и уперлась радиатором в густой куст орешника.

— Для чего вы меня звали? — с возмущением спросила Нина.

— Я... я... — замялся Лытаев и вдруг обхватил ее плечи. — Нина!

— Пустите! Вы с ума сошли! — вырываясь, закричала Нина.

Лытаев, жарко дыша ей в лицо, быстро заговорил:

— Успокойся! Прощу тебя!.. Одно слово... Звонкая пощечина заставила его отпрянуть.

Нина рванула дверцу, выскочила из машины:

— Вы... вы... Как вы смели?!

Лытаев уперся взглядом в землю, упавшим голосом сказал:

— Напрасно вы так, Нина Никитична.

— Напрасно?! Я думала, вы действительно... Лытаев повернул к ней багровое от стыда лицо.

— Нина Никитична, простите, я не хотел... Я готов просить у вас прощения...

— Ничего мне от вас не надо.

— Нина Никитична, вы еще всего не знаете...

— И знать не хочу.

— Хорошо,— Лытаев вылез из машины и подошел к Нине.— Я вам скажу. Я вам все скажу.

— Не хочу слушать. Отвезите меня назад.

— Хорошо, сейчас. Только, пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Я, конечно, допустил бестактность. Но я вам скажу... Вы поймете...

— Ничего мне не надо. Отвезите меня,— отстраняя Лытаева, повторила Нина.

— Прошу вас, одну минуту,— Лытаев умоляюще скрестил руки на груди и жалобно смотрел на нее.— Мне, Нина Никитична, доверяют высокий пост первого секретаря.

— И вы подумали, что вам теперь все можно? — с презрением спросила Нина.

— Совсем не так, совсем не так,— заторопился Лытаев.— У меня с первой встречи явилось желание сблизиться с вами, я такую девушку никогда не встречал на своем пути... Вы какая-то особенная...

— Хватит! — перебила его Нина.— Оставайтесь при своем желании, а меня немедленно отвезите.

— Скажите, могу ли я надеяться?

— Везите меня!

Лытаев сделал отчаянный жест:

— По крайней мере, не презирайте меня. Я надеюсь, со временем...

— Прошу вас, отвезите меня, или я уйду.

— Хорошо, хорошо.

Нина села на заднее сиденье и с отвращением смотрела на его трясущиеся руки. И этому человеку вверяются судьбы района? Где же правда? Где справедливость? Обоз с лесом они встретили на выезде из деревни. Нина взяла свою лошадь, которая была привязана к задней подводе, и, наметом обогнав растянувшийся обоз, выехала на дорогу.

Тоска охватила ее.

— Зачем, зачем я приехала? — вслух сказала Нина, и слезы помимо ее воли брызнули из глаз.

Этот хам и карьерист будет оказывать ей знаки внимания. Зачем? Не было бы ее здесь, и отец бы был на месте, и народ бы прожил без нее... Отец, отец... Он, наверное, уже собрался в дорогу, ждет, чтобы дочь пришла проводить. И твердое решение не ходить, не унижаться, постепенно стало уступать место жалости к заблудившемуся родителю. Он ведь все-таки вырастил ее. После войны рук не покладал, работал, кормил ее и братишку...

Каблуки сами собою ударяют в лошадиные бока. Конь, встряхнув головой, прибавляет ходу. Вот он вышел на большак и размашистой рысью пошел к чуть видимым из-за перевала верхушкам лип, что растут в Глухих Завалах на садовой канаве. «А что я ему скажу сейчас? — мучительно пытается себя Нина и не находит ответа. Конь споро отмеряет дорогу. Вот и последняя лощина, а там с пригорка виден их дом. Но что же она ему скажет? В лощине Нина решительно натягивает поводья. Надо решить, с чем она переступит порог родительского дома. Нина закрыла глаза. В ушах однообразный комариный звон. Но что это? Сквозь этот звон она услышала неясный крик о помощи. Встрепенулась, открыла глаза. Теперь уже отчетливо уловила отчаянный и, как ей показалось, знакомый-голос.

— Караул! — хрипел этот голос за извилиной лощины.— Помогите!

Она проскакала по краю крутой промоины на дне лощины, вылетела наверх, и глазам ее предстала необычайная картина. У самой верхушки телеграфного столба, накрепко обняв его, висел человек, а внизу буйствовал их колхозный бык-производитель, которого Катя Модецкая давно уже требовала сдать на мясозаготовку, потому что он начал шалить. Разъяренный, в диком стремлении сокрушить вставшую перед ним преграду и достать человека, бык упирался широким лбом в столб, напрягал свои могучие ноги и медленно, будто под непосильной тяжестью, опускался на колени. Столб кренился на сторону, а с его вершины раздавался полный отчаяния крик. Бык вставал. Хлестая себя по бокам хвостом, роя копытом землю, отступал назад и со страшным придушенным ревом вновь начинал атаку.

Отцепив от луки седла плеть, Нина изо всей силы хлестнула лошадь, направляя ее к столбу. Первый удар плетью пришелся быку по лоснящейся бугристой шее. Он грозно взревел, но все-таки попятился перед вставшей на дыбы лошадью. Нина хлестнула его еще и еще. Продолжая реветь, бык медленно попятился, потом неуклюже повернулся и вразвалку пошел по полю, время от времени угрожающе кося на всадницу страшным, налитым кровью глазом.

Теперь только Нина узнала человека, попавшего в беду. Узнала и ахнула: на вершине столба висел Николай Вуколович Прахов. Как он туда забрался — невозможно представить. Она соскочила с лошади и, подбежав к столбу, подняла вверх руки, будто собиралась, на случай если Прахов будет падать, подхватить его на лету.

— Николай Вуколыч, что случилось?

— Укатали сивку крутые горки,— глухо ответил Прахов и спохватился: — Нина Никитична, товарищ Дубова,— запричитал он.— Великое вам спасибо! От смерти отняли.

— Слезайте, Николай Вуколыч,— позвала Нина.

— Постойте! Немножко опомнюсь. Руки свело, не разожму.

Нина растерянно переступала с ноги на ногу, не зная, что делать.

Наконец Прахов, видимо, решился. Испуганными глазами он поглядел вниз и почему-то шепотом спросил:

— Ушел, паразит?

— Ушел, Николай Вуколыч, сходите.

Прахов плюхнулся на взрыхленную копытами быка землю. Нина подбежала помочь ему встать на ноги.

— Не надо,— отстранил ее Николай Вуколович.— Я сам.

Он тяжело поднялся и, опершись плечом о столб, долго стоял молча, низко опустив обнаженную голову. Нина подняла растоптанный быком картуз, подала его Прахову.

— Спасибо, Нина Никитична,— с трудом проговорил Прахов и вдруг заплакал.

— Ну что вы,— приблизилась к нему вплотную Нина.— Николай Вуколыч!

Прахов стоял перед ней с полуоткрытым ртом и глядел ей в глаза. Наконец он перевел дух.

— Не за картуз, дочка милая, я тебе спасибо говорю, а за то, что человек ты есть, самый настоящий человек.

— Ну, ладно. Успокойтесь, все обошлось,— уговаривала его Нина.

— Нет. Меня не успокаивать надо, а бить, бить седую балду!

— Не надо,— попросила Нина и смущенно опустила голову.

— Надо,— твердо возразил Прахов.— Я ведь на тебя, Нина Никитична, со своей дурной головой жаловаться нынче пошел. Хотел прямо в область, в обком ехать, а потом хотел до Центрального Комитета дойти. Вот она куда, дурь-то, может завести,— Прахов отчаянно стучал себя кулаком по голове.— Бабка меня не пускала-

совестила, а я все-таки попер. И напоролся. Это же судьба! Только вот сюда подошел, вижу, он в лощине ходит. Думал, пройду, ничего, а он за мной,— тяжело дыша, но уже заметно успокоившись, рассказывал Прахов. А Нина придумывала, как бы избежать этой исповеди.

— Я, значит, вот сю...— проговорил Прахов и вдруг заорал дурным голосом: — Нина Никитична! Опять! — руки его сами собой взметнулись и мертвой хваткой вцепились в столб.

Нина испуганно обернулась: будто не торопясь, но ходко к ним на рысях шел бык. Нина проворно вскочила в седло и тронула лошадь ему навстречу. На этот раз он отступил, не сближаясь.

В критический момент Прахов вновь сделал попытку забраться на столб, но силы изменили ему. Едва преодолев метровый подъем, он отчаянно подумал, что конец все-таки настал. И эта мысль будто пригвоздила к столбу. Когда же опасность миновала, он сошмыгнул со столба, еще раз поблагодарил свою спасительницу и засемянил в лощину.

Чтобы избавить Прахова от страха, Нина проводила быка до лесной опушки и повернула вдоль леса на большак. И тут увидела, что из «Восхода» навстречу ей идет легковая машина.

— Лытаев, наверное,— сквозь зубы проговорила она.— Подлец!

Нина повернула лошадь в кусты и остановилась, прислушиваясь к шуму мотора. Вот машина вышла на большак, остановилась, послышался гомон озабоченных голосов. Вслед за этим мотор снова заурчал, а потом стал затихать, удаляясь в сторону районного центра.

— Какая жалость! — вырвалось у Нины. Она теперь только сообразила, что это Степан Рязанов с Аркадием направились на бюро райкома. Так договаривались: если она не вернется к пяти часам, значит, поедет одна, сразу из «Восхода». Теперь нечего было и думать о встрече с отцом. Времени в обрез. И Нина, вздернув поводья, пустила лошадь рысью. Вскоре она миновала опушку и повернула на Михайловский большак. А куда она, собственно, спешит? Одно уже то, что вновь предстояла встреча с Лытаевым, вызывало в ней чувство омерзения... Она выехала на пригорок и обернулась. От Глухих Завалов, похожая на большого серого жука, на большак выбиралась груженная подвода.

Отец! Нина остановила лошадь. Серый жук еле-еле копошился на пыльной дороге. Уехать от него, убежать, не видеть... Но она не в силах пошевелиться. Обильные слезы текут по щекам... Даль, освещенная косыми лучами солнца, засверкала, подвода на какое-то время растаяла в этом сиянии.

— А, все равно! — крикнула Нина, резко повернула лошадь и галопом понеслась туда, где исчезла подвода, быть может, навсегда увозившая от нее человека, Давшего ей жизнь.

...Но это был не он. Наверное, она выглядела необычно, коли Васька Шумов, устроившийся на самой верхотуре на пустых ящиках из-под водки, не поздоровавшись, поспешил пояснить:

— Вас, Нина Никитична, по всему колхозу искали. Степан Рязанов спрашивал, потом Аркадий на машине...

— Отец уехал, не знаешь? — спросила Нина.

— Только что,— простодушно ответил Васька.— Я лошадь запрягал, а они на двух пароконных фурах поехали,

— Ты куда? — спросила Нина и, не дожидаясь ответа, поскакала в Глухие Завалы.

С юго-запада, из-под солнца, вставала иссиня-черная туча с косыми белесыми прижилками. Притихший ветерок ждал грозу.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Редколлегия журнала «Приокские зори» поздравляет своего главного редактора Яшина Алексея Афанасьевича, ставшего в 2005 году лауреатом литературной премии им. Л. Н. Толстого за роман «Историк и его история» и лауреатом литературного агентства «Московский Парнас» за рассказ «Такси до станции Астапово» и другие произведения, опубликованные в выпусках альманаха «Московский Парнас».

Поздравляем нашего постоянного автора Сапожникова Владимира Григорьевича — лауреата премии им. Л. Н. Толстого за 2005 год за поэтический сборник «Я не крашу свою седину».

Поздравляем членов редколлегии Пахомова Виктора Федоровича, Савостьянова Валерия Николаевича, Яшина Алексея Афанасьевича, а также постоянного автора журнала Парыгину Наталию Диомидовну, награжденных в 2005 году юбилейной медалью ЦК КПРФ «Сто лет со дня рождения М. А. Шолохова» за произведения патриотической направленности.